След в Истории

# ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ

ПИРЛИНГ

СЕРИЯ «СЛЕД В ИСТОРИИ»

Пирлинг

# ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
«ФЕНИКС»
1998

ББК 63.3(03)
П 33

Перевод с французского
*В.П. Потемкина*

**Пирлинг**

**П 33** **Дмитрий Самозванец.** Серия «След в истории». Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998. – 480 с.

В книге ученого патера Пирлинга «Дмитрий самозванец» освещается критический период русской истории, от исчезновения династии царей, прямых потомков Рюрика и Владимира Святого, до раннего периода смутного времени. Автор рисует личность Лжедмитрия I на широком историческом фоне, используя данные русских и западно-европейских исторических документов. Автора прежде всего интересовали отношения России с Римской католической церковью в этот период времени. Многие положения Пирлинга и его взгляд на Лжедмитрия представляют исключительный интерес.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся русской историей.

ISBN 5-85880-378-4 ББК 63.3(03)

© 1998, оформление: Изд-во «Феникс»

## ОГЛАВЛЕНИЕ

*Книга первая*

**Легенда об императоре**

Глава I Конец одной династии ..... 7

Глава II Таинственный призрак
1601–1604 гг. ..... 48

Глава III Отречение от веры
1601 г. ..... 77

Глава IV Дипломатия и политика
1604–1605 гг. ..... 105

*Книга вторая*

**Поход на Москву**

Глава I Победа и поражение
1604–1605 гг. ..... 131

Глава II Победоносное шествие к Москве
1605 г. ..... 169

*Книга третья*

**Апогей**

Глава I Венчание Дмитрия на царство
1605 г., 31 июля ..... 203

Глава II Дмитрий и папы
1604–1606 гг. ..... 236

Глава III Дмитрий и Польша
1605–1606 гг. ..... 273

*Книга четвертая*

**Развязка**

Глава I Венчание Марины на царство
1606 г., 18 мая ..... 303

Глава II Катастрофа
1606 г., 27 мая ..... 337

*Книга пятая*

**Поляки в Кремле**

Глава I Война с Россией
1609–1618 гг. ..... 395

Глава II Немного критики ..... 438

# КНИГА ПЕРВАЯ

# ЛЕГЕНДА ОБ ИМПЕРАТОРЕ

# Глава I

# КОНЕЦ ОДНОЙ ДИНАСТИИ

## I

Иван Грозный оставил после своей смерти чрезвычайно тяжелое наследство. Конечно, не хилому Федору было справиться с такой ношей. Молодой царь не имел ничего общего с мрачным гением своего отца. Ряса инока была ему больше к лицу, чем роль свирепого и коварного деспота. Честолюбивый выскочка, от надменности переходивший к грубости, сам Борис Годунов не мог, в конце концов, остаться господином положения. В сетях злого обмана и всеобщего предательства, в руках грабителей и хищников всякого рода, во власти чужеземных врагов Русское государство восстало против самого себя. Казалось, ему грозило окончательное крушение. Избегнуть этой участи ему помогло лишь стихийное и грозное пробуждение национального чувства.

Исследуя происхождение смуты и ее скрытые причины, историк восходит к мрачной поре опричнины и углубляется еще дальше в прошлое. Уже давно великий князь московский превратился в византийского базилевса. Уже давно потомки удельных князей стали его слугами, а новая знать, возвеличенная милостями государя, начала вытеснять собой старых бояр-князей. Все подвергалось нивелировке вокруг московского

трона, и этот процесс, естественно, отразился на строе тогдашнего землевладения. Здесь, за счет прежних хозяев земли, правительство стало обогащать новых своих слуг, наделяя их земельными участками. Иван IV возвел в политическую систему массовое переселение — «переборку» — подозрительных элементов: на их место он сажал служилых людей, несущих на себе податное тягло. За исключением незначительной группы привилегированных лиц, гнет этого режима почувствовало все общество, от знатных людей до самых худородных. Права всех были нарушены; интересы грубо попирались; завязалась жестокая борьба; начались репрессии; возникла крамола. Назревал страшный социальный кризис; он приближался медленно, но верно. Гроза разразилась тогда, когда династия могучих людей, создавших величие Москвы, стала вырождаться, а затем и вовсе сошла со сцены.

Казалось, что плодовитое дерево дома Рюриков смело устоит перед веками: не даром этой династии было тесно в границах Древней Руси. Желая наделить каждого из многочисленных детей своих землей, великий князь Владимир не остановился перед раздроблением своего государства. Прежнее единство Руси более или менее воссоздано было вновь при Ярославе Мудром. Но тотчас за ним наследники опять поделили между собой национальную территорию: каждый из них стремился к возможно большей самостоятельности.

Анархия, порожденная княжескими усобицами, продолжалась до самого конца XV века. Бывала ли Русь вполне независима или же тяготело над ней иго монголов — все равно со смертью каждого князя она распадалась все больше и больше. Порой, при благоприятных обстоятельствах, эти осколки государства вновь собирались воедино, но лишь затем, чтобы опять раз-

дробиться еще мельче. При таких условиях, естественно, возникали родовые распри; происходили вражеские набеги; население подвергалось военным репрессиям; страну раздирали внутренние смуты. Честолюбивые или непокорные князья платились жизнью среди непрерывной борьбы; мстителями за них немедленно являлись более или менее близкие родственники. Воинственный и предприимчивый дух людей той эпохи плохо мирился с требованиями мальтузианской теории. Правда, периодический передел земель представлял собой крупные неудобства. Но численность участников этого дележа, естественно, вызывала стремление расширить границы государства; с другой стороны, кровная связь князей этой многоветвистой династии содействовала укреплению и развитию национального единства в государстве, находившемся в процессе образования и заселявшем все новые и новые области. Вот почему русские князья всегда стремились оставить при себе возможно большее потомство; вот почему в шутливом прозвище «Большое Гнездо», данном одному из них, они не видели ничего обидного.

Однако уже в первой половине XVI века жизненные силы московской династии начали иссякать. В эту пору великим князем был Василий III. В жилах его текла кровь византийских императоров: как известно, он был сыном Софии Палеолог. В браке его с Соломанидой Сабуровой эта кровь слилась с чисто русской кровью. Но подобный союз не оправдал и самых скромных надежд. Миновало двадцать лет брачной жизни Василия с супругой; однако дом его все еще оставался бездетным. Неужели скипетр великого князя должен был перейти к братьям Василия? Последний считал их не способными к правлению, и тут ему было нечем похвалиться. Нет, такой исход отнюдь не мог удовлетворить Василия. Политический расчет и непосредственное

чувство внушали ему убеждение, что единственно достойным преемником его может быть только сын. Эта мысль сделалась у него своего рода манией; совершенно естественно, что он решил, наконец, принять практические меры, чтобы осуществить свои желания и стать отцом. Сначала было назначено официальное следствие, которое должно было выяснить причины бесплодия злополучной великой княгини. Разумеется, все это кончилось ничем. Только один вывод напрашивался сам собой: всякому было очевидно, насколько бессильны те зелья и колдовства, которые считались в Москве наилучшим средством против всякой напасти. Легко можно было предвидеть, что дело Сабуровой разрешится самым грубым насилием. В позднейших летописях, сообщающих об этих событиях, мы находим, несомненно, тенденциозные вставки: во всяком случае, они тщетно пытаются набросить на всю эту историю покров поэтического вымысла. По их свидетельству, великий князь изливал свою скорбь в трогательных жалобах; с завистью смотрел он на птиц, сидящих на своих гнездах, и на рыб, стаями гуляющих в глубине вод. Он говорил, что чует вокруг себя трепетание жизни: все волнуется, все поет, все расцветает... За что же он один лишен радостей отца? То был лукавый вопрос, и придворные Василия, не слишком озабоченные соблюдением его супружеских клятв, принялись нашептывать ему желанные советы. Они напоминали ему о бесплодной смоковнице, которая иссекается; они говорили о необходимости заменить ее другой, способной цвести и приносить плод... Как легко было угадать истинный смысл этих внушений! Во всяком случае, если Василий действительно слушал этих мудрых «садоводов», он, очевидно, понял прекрасно их уроки. Дальнейший ход событий всем известен. Великий князь развелся с Соломонидой Сабуровой; несчастная была насильно за-

точена в монастырь. Затем, вопреки правилам Церкви, Василий сочетался браком с княжной Еленой Глинской. На этот раз судьба исполнила желания князя-двоеженца. В 1530 году он стал отцом Ивана IV[1].

Оставляя в стороне всякие юридические формальности, нужно было признать, что новый «порфирородный», в сущности, не является ни законным наследником трона, ни подлинным потомком Рюрика. Плод прелюбодейного союза, Иван рожден был еще при жизни первой супруги великого князя. Таким образом, на нем лежала двойная печать греха и отвержения. Ввиду этого отец его постарался, насколько возможно, прикрыть вопиющее нарушение закона. На помощь себе он призвал авторитет высшего духовенства и все обаяние церковного обряда. К великому негодованию неподкупного Вассиана и Максима Грека, митрополит Даниил пошел навстречу настоятельным желаниям князя: он признал законным развод Василия с Соломонидой и торжественно благословил его клятвопреступный союз с Еленой Глинской. Этого было совершенно достаточно в глазах массы, которая не слишком вникала в дело. Впрочем, и сами бояре не устояли перед соблазном и признали совершившийся факт. Таким образом, главные возражения были устранены, и детище Василия могло спокойно пользоваться правами и почестями, приличествующими великокняжескому сыну. При этих условиях московской династии уже не грозила опасность вырождения.

Нет нужды воспроизводить здесь всю историю Ивана IV и его отношений с Римом. Читатели помнят о тех злополучных войнах, которые вел Грозный с польским королем Стефаном Баторием; они не забыли, вероятно,

[1] Второй сын Василия был слабоумен, о нем мы не будем упоминать, так как он не играл в истории никакой роли.

как заискивал московский царь перед папой Григорием XIII. Как известно, эта политика завершилась вмешательством римской курии в дело борющихся сторон, затем последовал богословский турнир Ивана с Посевином. Теперь Грозный должен быть обрисован нами с иной стороны. Он истреблял своих ближайших родственников, кровожадные инстинкты его ускорили гибель московской династии. Попытаемся же изобразить здесь губительную работу этого венценосного палача в кругу своего собственного дома.

Мучимый боязнью потерять скипетр, Иван повсюду видел соперников и предателей. В мрачную пору опричнины эта подозрительность Грозного еще усилилась. Тогда он вступил на путь кровавых казней. Более всего сомнений возбуждал в нем его двоюродный брат Владимир, сын Андрея Ивановича. Долгое время Иван не решался открыто поднять на него руку. Но наконец его колебания прекратились. На голову князя Владимира и обрушился первый удар.

В правление матери Ивана, Елены Глинской, у князя Андрея были какие-то нелады с нею. Правительница заподозрила его в честолюбивых замыслах, и ему пришлось поплатиться за это тюремным заключением. Эту участь разделил с ним и его сын Владимир. Впрочем, пробыть в тюрьме обоим пришлось недолго. За них вступились бояре и высшее духовенство, и на Рождество 1541 года узники были освобождены. Над всем этим неприятным происшествием, казалось, был поставлен крест. В свое время Владимир унаследовал права отца и получил в удел Старицу. В довершение всего, он принял участие в завоевании Казани — этом великом деле царя Ивана.

Раскинувшись по берегам Волги и Камы, татарское царство препятствовало внешнему росту Московской державы и преграждало ей путь в Азию. Московское

правительство поклялось сокрушить эту твердыню мусульманства: в 1552 году его мечта наконец осуществилась. Татары оборонялись с решимостью отчаяния: город удалось взять приступом лишь после продолжительной осады; разумеется, штурм сопровождался ужасной резней. Во всяком случае, победа царя над «басурманами» громким эхом прокатилась по русской земле. Падение Казани стало излюбленным предметом народного творчества; конечно, это событие было богато изукрашено поэтическим вымыслом. А между тем князь Владимир был одним из главных героев войны с Казанью. Имя его гремело по рядам московской рати; его подвиги, естественно, привлекали к нему сердце народа. Все это не могло не возбудить ревнивых и завистливых чувств в душе Ивана, и без того склонного к болезненной подозрительности. На следующий год отношения царя к князю Владимиру приняли еще более натянутый характер. Дело в том, что в критический момент национальный герой превратился в явного соперника своего государя.

Несколько месяцев спустя после своего блестящего похода на Казань царь Иван был внезапно постигнут какой-то ужасной болезнью: перед подобными недугами терялась медицинская наука XVI века. В тогдашнем обиходе эту болезнь называли не очень точным именем «огневица»: быть может, то была форма злокачественной лихорадки, которая принимала тем более жестокий характер, чем сильнее был организм больного. Так или иначе, положение Ивана очень скоро стало в высшей степени серьезным. Появились тревожные симптомы, предвещавшие близость рокового конца... Тогда-то, невзирая на предсмертные муки царя, не дожидаясь, пока корона сама спадет с его головы, приближенные Грозного начали жестокую борьбу из-за власти у самого его ложа.

Создалось крайне затруднительное положение. У царя не было сына, который мог бы немедленно принять бразды правления. Наследником Грозного был грудной младенец, а между тем именно ему желал умирающий государь передать свою власть[1]. Но люди, пережившие регентство Елены Глинской, со страхом думали о таком исходе. Они слишком хорошо помнили смуты и насилия этого времени; они боялись, как бы при малолетнем царе им не пришлось поступаться своим достоинством. Матерью наследника была Анастасия Романова; к ней, естественно, переходила и власть правительницы: было очевидно, что всему ее роду будущее сулит господствующую роль в жизни государства. Правда, Романовы принадлежали к лучшим людям тогдашнего общества; у них были блестящие родственные связи; они всегда отличались умом и энергией, почему им и поручались самые ответственные должности. Но они не принадлежали к избранному кругу древней знати: они представляли собой, скорее, новую аристократию, возвеличенную милостями государей и собственными заслугами. Гордым Рюриковичам не хотелось подчиниться потомству каких-то Кошкиных и Кобылиных, а вместе с ними признать над собой олигархию новых бояр. В сущности, на помощь этой гордой знати приходило и обычное право древности: оно отдавало предпочтение дядьям перед племянниками, так что законным наследником признавался не ближайший прямой потомок, а старший представитель рода в боковой восходящей линии. На стороне князя Владимира было именно это юридическое преимущество. Таким образом, самими обстоятельствами ему создавалась роль естественного вождя оппозиционной партии.

[1] Этот сын, носивший имя Дмитрия, утонул в том же году в Белоозере. Его имя было дано затем сыну, о котором — ниже.

Как сказано, борьба из-за наследства Грозного завязалась тотчас же, как обнаружилась опасность, угрожающая жизни государя. Но крайней своей силы она достигла тогда, когда Иван потребовал от приближенных, чтобы они принесли его младенцу сыну присягу в верности. К этому требованию бояре отнеслись самым серьезным образом. Одни подчинились ему добровольно; но нашлись и такие, которые отказались выполнить волю царя; при этом они и не думали скрывать свои истинные побуждения. Конечно, прославленная добродетель царицы Анастасии устраняла всякие сомнения во всем, что касалось ее одной; но, по заявлению непослушных бояр, они не желали служить Романовым. Во всяком случае, говорили они, лучше иметь государем взрослого человека, нежели ребенка. Поведение самого князя Владимира придавало особую силу этим намскам. Предприимчивый соискатель престола не дремал, он совещался с матерью, старался привлечь на свою сторону возможно больше людей и, кажется, не жалел для этого денег.

Два дня продолжалась эта борьба. Как только к умирающему царю возвращались силы, он заклинал верных бояр хранить его малолетнего сына и не давать никому лишить его престола, даже если бы это угрожало им изгнанием. Против непокорных бояр он был пока беспомощен: он только грозил им судом Божьим. Однако, по-видимому, начались какие-то переговоры у ложа умирающего царя. Закулисной стороны их мы, к сожалению, не знаем. Во всяком случае, оппозиция пошла на уступки и, в конце концов, целовала крест царевичу. Пришлось подчиниться и Владимиру. Сперва, правда, он явно уклонялся от непосредственного участия в деле; но волей-неволей и он принужден был подписать тягостное обязательство.

И вдруг умирающий воскрес. По-видимому, реакция его могучего организма была тем энергичнее, чем сильнее была болезнь. Напрасно торопились бояре строить свои расчеты на смерти Ивана: перед ними восстал беспощадный мститель. Его сына хотели лишить престола; его собственной гибели добивались злые люди!.. Грозный никогда не позабудет этого. Конечно, он примет свои меры против виновных.

На первых порах он потребовал от Владимира Андреевича, чтобы тот искупил свою вину, выдав царю грамоту с изъявлением полной покорности и за надлежащей подписью и печатью.

В 1554 году у Ивана родился второй сын; тогда он удвоил свою бдительность. Пришлось Владимиру Андреевичу выдать новое письменное обязательство — не выезжать из Москвы; одновременно он принужден был сократить число своих слуг и обещать царю неукоснительно доносить ему о всякой измене — если бы даже замыслила ее собственная мать его, Евфросинья. После нескольких лет затишья произошло новое событие. Оно явно было подготовлено заранее и вызвало со стороны царя целый ряд строгих мер. Владимир Андреевич посадил в тюрьму одного из своих слуг. Тот обратился с жалобой к царю, обещая разоблачить ему все злые дела своего господина. В Москве подобные доносы были обычным явлением; сам Грозный умел, как никто, инсценировать их и пользоваться этим для своих целей. Началось следствие; стали производить розыск: в конце концов открыли все, что было нужно. Князь Владимир Андреевич был объявлен виновным. Царь созвал высшее духовенство и изложил ему все свои жалобы и обиды. Его речь была полна угроз, но потом он как-будто поддался увещаниям и оставил намерение наказать преступника самым жестоким образом. Тем не менее он окружил Владимира

Андреевича новыми слугами. В сущности, то были шпионы, которые не покидали несчастного ни на шаг. Грозный на этом не остановился. Он отнял у Владимира Андреевича наследственные владения и поселил его в Кремль, чтобы не упускать его из виду. Все это произошло в 1563 году. Окончательная развязка последовала лишь шесть лет спустя.

В ту пору царила опричнина. Москва была охвачена ужасом. Кровь текла ручьями. Казни обрушивались на самых именитых людей. Неумолимый и бесстрастный, Грозный творил самые ужасные злодеяния. Очевидно, убийства не только оправдывались политическими расчетами царя, но и тешили его дикие инстинкты. Князь Владимир был слишком заметен, слишком близок к трону, слишком знаменит своими заслугами. Мог ли он избегнуть удара? Гибель его ускорил восторженный прием, оказанный князю костромичами. Дело в том, что на границе государства показались татары. Владимир уже собирался стать во главе войска, чтобы отразить набег степных кочевников. Население Костромы горячо приветствовало того, кто мог предотвратить великую беду. Грозный тотчас же воспользовался этим. Представители Костромы были вызваны в Москву: здесь, без суда, их предали казни. Что касается самого Владимира, то царь милостиво пригласил его приехать со своей семьей в Александровскую слободу. Здесь, в этом мрачном притоне убийств и оргий, несчастного князя ожидала коварная ловушка. Впрочем, с этого момента традиционная передача событий окрашивается оттенком легенды. Одни свидетели утверждают, что Владимир Андреевич сам сделал первый шаг к своей гибели: он подкупил царского повара и тайком вручил ему яд. По другим показаниям, все это было гнусным вымыслом самого Ивана, который, очевидно, стремился найти предлог для того

чтобы подвергнуть своего двоюродного брата заранее придуманной казни. Таким образом, Владимиру, его жене и обоим сыновьям пришлось выпить яд, предназначавшийся будто бы для государя. Во всяком случае, достоверно одно: все четверо погибли насильственной смертью. Уцелели только две малолетние дочери несчастного князя.

Пролитая кровь опьянила Грозного. Тотчас после казни Владимира Андреевича с семьей ненасытная месть Ивана обрушилась на мать князя Старицкого. Некогда княгиня Евфросинья была действительно заодно с сыном; поэтому она и делила с ним его горькую судьбу. Но после того она удалилась от мира и уже давно замкнулась в монастырь. Однако стены обители не защитили ее от подозрительности Грозного. Не избежала жестокой смерти престарелая Евфросинья! Иван не слишком заботился о том, виновата она или нет: по его приказанию, несчастную утопили в Шексне. Река поглотила труп княгини, единственным преступлением которой было то, что она родила на свет ненавистного Ивану человека.

Так, в самый короткий срок, сошла с исторической сцены целая линия древнего дома Рюриков. И кто же обрек ее на столь жестокое истребление? Отпрыск того же самого могучего корня... Что же побудило его к этому злодейству? Был ли это кровожадный каприз тиранической натуры? Был ли неумолимый расчет холодного политика? Мы знаем, что царь Иван IV был глубоко проникнут династической идеей. Он постоянно хвалился своим знатным происхождением: по-видимому, совершенно серьезно он считал своим предком самого кесаря Августа... Вспомним, с каким великолепным презрением относился он к таким выскочкам, как, например, Стефан Баторий. Но Грозный был убежден, что власть дана ему Божьим позволением, а

не мятежным желанием людей. Передать этот священный дар он мог, по его мнению, только прямому своему наследнику. Всякий другой соискатель царства — будь он такой же Рюрикович — являлся в его глазах не более как самозванцем. Вот почему, не колеблясь, он и обрекал его в жертву своей себялюбивой политики.

Несомненно, Иван был проникнут заботой о будущем и вместе с тем самым ревнивым образом охранял свое царственное величие. Однако им владели дикие страсти. Поэтому порой он терял самообладание; кровь бросалась ему в голову. Тогда Грозный забывал и о своем достоинстве государя, и об интересах своей династии. В 1581 году, в припадке гнева, он занес свой страшный посох на собственного сына, царевич замертво упал к ногам отца. Как известно, вскоре затем в Москву прибыл Поссевин; от него мы узнаем страшные подробности этого события. А между тем и по своему уму, и по годам старший сын Ивана был единственным лицом, которое могло бы принять наследие Грозного. После его гибели преемниками царя оставались двое других сыновей. Один из них был слабоумный; другой находился еще в младенческом возрасте. По праву старшинства, на трон вступил «скорбный главой» царевич Федор.

## II

Отныне судьба Московского государства была вверена жалкому выродку. Царь Федор Иванович был не более как видимостью царя на престоле Грозного. В сущности, он являлся только манекеном: всю полноту власти он передал шурину своему, Борису Годунову. Это был один из старейших опричников; он едва умел

читать и писать. Но в лице его своеобразно сочетались способности государственного человека с влечениями азиата-татарина. Возведенный в звание ближнего боярина при царе Федоре, Годунов ревниво сторожил московский престол. В решительный момент, после смерти Федора Ивановича, ему оставалось только протянуть руку к царскому венцу, который, казалось, был предназначен для головы этого смелого игрока. И, однако, тот же самый Годунов, мечтавший завещать престол своему сыну, собственными руками подготавливал победу нежданному сопернику. Мы сейчас убедимся в этом воочию, для этого нужно лишь напомнить о тех коварствах и борьбе, которыми полно было царствование Бориса.

Впрочем, Московский Кремль XVI века похоронил в своих стенах тайну всех этих мрачных драм. В недрах его кипели яростные битвы, об этом мы знаем по пролитой крови; однако чаще всего подробности этих событий ускользают от нашего глаза. Стремясь сохранить свое положение, Годунов роковой силой обстоятельств вынужден был следовать по пути Грозного; он отступал от него только тогда, когда страшная колея слишком явно увлекала его в область кровавого безумия. Представитель королевы Елизаветы, Флетчер, справедливо заметил, что ярость Ивана IV направлялась главным образом против высшей знати, другими словами, против потомства прежних князей. В этой среде хранились свободолюбивые предания; здесь жили притязания, с которыми волей-неволей приходилось считаться московским государям. Иван стремился преодолеть, точнее говоря, сокрушить эту упорную силу прошлого; он понимал, что утвердить самодержавие можно лишь тогда, когда оно вознесется на недосягаемую для всех других высоту. Во имя этого он и погубил своего двоюродного брата, князя Владимира Анд-

реевича. Борис Годунов отождествлял себя с личностью царя Федора. Он чуял врагов в старом, родовитом боярстве; он знал, что, уцелев от бурь эпохи Грозного, оно все еще живет преданиями своего блестящего прошлого и помнит о своих правах. Борьба продолжалась; но характер ее изменился. На Федора не посягал никто; вся злоба, вся ненависть направлялись против того, кто фактически царствовал в Москве. Дело шло о господстве Годунова; конечно, он готов был на все, чтобы победить.

Одной из первых жертв нового порядка явился старый князь Иван Мстиславский. Это был представитель древнего рода, прославившийся на службе государству, где ему всегда принадлежало наиболее почетное место; он пользовался всеобщим уважением, в котором не отказывал ему даже Иван IV. Опала князя Мстиславского была только первым предостережением. Гораздо серьезнее оказалось громкое дело Шуйских.

Борьба Годунова с Шуйскими происходила на очень скользкой почве. Дело в том, что, независимо от своих личных качеств, Борис был в значительной мере обязан своим возвышением сестре Ирине, супруге царя Федора. Была ли она влиятельна во дворце или нет — не так важно; достаточно того, что сердце государя принадлежало ей; и, конечно, Годунов умел извлечь свою выгоду из этой привязанности. Только одно омрачало тихое счастье царственной четы: у Ирины не было детей. Однако надежда на потомство не оставляла супругов. Они ждали его терпеливо; королева Елизавета прислала им из Лондона врача и бабку... Но враги Бориса не дремали. Они замыслили развести царя с женой и сочетать Федора новым браком; согласно обычаю Ирина должна была уйти в монастырь. Для осуществления задуманного плана они рассчитывали привлечь на свою сторону народ; затем, вместе с ним, они

намеревались ударить царю челом и просить его пожертвовать во имя государства своим семейным счастьем. Разве дед его, Василий, не развелся с первой женой? Разве не вступил он в новый брак? Почему же Федору не последовать его примеру? Ведь все будущее Русской державы висит на волоске. Нетрудно угадать, каковы были истинные расчеты этих людей. Конечно, удаление Ирины повлекло за собой падение Бориса; таким образом, одним и тем же ударом достигались сразу две цели: династия была бы спасена от гибели, а ненавистный временщик был бы устранен с дороги [1].

Душой заговора были, по-видимому, князья Шуйские, Рюриковичи по крови. Владевшие некогда Суздалем, они, конечно, затмевали Годунова блеском своего происхождения. Наследственные права дома Шуйских были известны даже за пределами Руси; мы знаем, например, что великий канцлер Польши не задумался признать их публично. «За отсутствием прямых наследников престола, — заявил Замойский на сейме 1605 года, — наибольшие права на трон московский принадлежат князьям Шуйским». К знатному происхождению этой семьи присоединились заслуги ее перед отечеством, и все это озарялось блеском несметного богатства, заключавшегося не только в движимости, но и в обширных земельных владениях. Конечно, у Шуйских были могущественные связи: сторонников этого княжеского рода можно было найти во всех слоях тогдашнего общества, начиная с высшей знати и кончая простыми людьми. Таким образом, в заговоре против Бориса принимали участие самые разнообразные слои

[1] Здесь приходится коснуться чрезвычайно темного сообщения летописи. Несомненно, против Бориса был составлен заговор; однако был ли развод его поводом — сказать трудно.

населения. Здесь были и представители духовенства, и бояре, и купцы, и черный городской люд; словом, в рядах оппозиции представлены были все группы московского населения. Движение усиливалось с каждым днем; к нему присоединялись все новые и новые участники... Наконец, удар разразился. Однако его постигла самая плачевная неудача. Раздалось слово — «государственная измена»; правда, оно еще не имело тогда страшного теперешнего смысла. Тем не менее началось следствие, которое правительство повело с величайшей строгостью.

Вся тяжесть обвинения обрушилась на Шуйских. Вместе со всей родней, слугами и друзьями они подверглись неумолимому гонению. Уголовное законодательство этой эпохи отличалось крайней суровостью; судьи могли свирепствовать как им угодно. Однако и здесь сказалось уважение к принципу иерархии: бояре избегли пыток; их не коснулись ни огонь, ни железо; все это досталось на долю подсудимых менее знатного происхождения. Только одно правило проводилось без всяких изъятий: тайна покрывала судебное следствие, допрос, все показания; она облекала все непроницаемой завесой. Вообще темницы Кремля умели хранить молчание не хуже, нежели страшные казематы Венеции. Тем неожиданнее разразился обвинительный приговор; тем сильнее было произведенное им впечатление. Кара обрушилась прежде всего на Шуйских; ее не избежал и герой псковской обороны, счастливый противник Батория, непобедимый князь Иван Петрович: пришлось и ему удалиться в ссылку. Участь его разделил князь Андрей Иванович. Достоверны или нет показания летописи, но она сообщает нам, что, немедленно, по прибытии на место, оба князя были убиты. Другие члены рода Шуйских, вместе со своими сообщниками-боярами, также были высланы из

Москвы: имущество их было конфисковано. Правительство не пощадило самого митрополита Дионисия, который, очевидно, лучше знал грамматику, нежели умел вести политическую игру: местом заточения для него был назначен отдаленный монастырь. Согласно обычаю самые жестокие кары постигли менее виновных и менее знатных участников заговора: то были подлинные жертвы общественного неравенства. Шесть или семь человек поплатились головой; значительно большее число было посажено в тюрьмы. Так была рассеяна и сокрушена партия Шуйских, отныне ей трудно было возродиться. Однако Годунов со страхом думал о последствиях своих жестоких мер; он боялся, как бы они не повредили славе Федора. Ему не хотелось, чтобы кто-либо вообразил, будто на троне восседает новый Грозный. В это время в Польшу отправлялось из Москвы посольство. Желая рассеять тяжелое впечатление своих репрессий, Годунов дал послам тонко обдуманные инструкции. Пусть они превозносят царя Федора и его милосердие; пусть, напротив, всячески чернят Шуйских; пусть говорят, что князья задумали изменить государю, объединившись с "мужиками". Таким образом, всякому будет ясно, что виновные вполне заслужили ссылку и смерть.

Все это происходило в 1587 году. Поглощенный борьбой не на жизнь, а на смерть со своими врагами, Годунов, однако, не удовлетворился своим торжеством над ними. В ту пору в Рижском заливе, забытая всеми, жила молодая вдова. Казалось, никому она не внушала ни участия, ни подозрений. Однако она была связана кровными узами с домом Рюрика; честолюбцы могли легко воспользоваться именем, этого было достаточно, чтобы привлечь к ней внимание Бориса. Молодая женщина была одной из дочерей князя Владимира, подвергшегося столь жестокой казни в Алек-

сандровской слободе. Капризом судьбы она была брошена на берега Двины. Иван IV внезапно вспомнил о ней, чтобы провозгласить ее королевой придуманного Ливонского государства. Последнее создано было якобы для Магнуса, но в действительности должно было служить целям московской политики. Чтобы обеспечить союз Магнуса с Грозным, будущего короля заставили вступить в брак с русской княжной: таким образом, Мария Владимировна и стала его супругой. Бедной девочке едва минуло 13 лет, но это не помешало осуществлению плана: Стоглавый собор допускал брак и с двенадцатилетними невестами. Однако датский герцог был протестантом. Желая избегнуть скандала, благочестивый Иван придумал особую форму бракосочетания Магнуса с Марией. Перед алтарем обряд совершал православный священник; протестантский пастор делал свое дело в дверях церкви... Таким образом, молодые венчались, стоя врозь друг от друга, зато святыня храма не была осквернена еретиками. Вся дальнейшая жизнь Марии была сплошным рядом жестоких испытаний. Первое разочарование постигло ее уже при получении приданого. Царь обещал Магнусу дать за невестой кучи серебра; вместо этого он прислал лишь рухлядь и платья. В довершение всего, Магнусу так и не удалось поцарствовать нигде. Одни не соглашались признать его королем; другие оказывали ему слишком слабую поддержку; большинство вело против него тайную или явную борьбу. В конце концов, потеряв все, злополучный «король» умер с горя в 1583 году, когда Ливония, ограбленная и разоряемая со всех сторон, стала добычей поляков. Стефан Баторий назначил вдове Магнуса скромную пожизненную пенсию: она едва спасала ее от нищеты.

При таких условиях не было никакого труда представить для Марии возвращение на родину в самом

заманчивом свете. Честь удачного выполнения этого плана приписывает себе английский дипломат при московском дворе Горсей. Мы знаем, что он пользовался большим доверием московского правительства; однако в свой рассказ он вносит слишком явный элемент романического вымысла. По его словам, сам Годунов возложил на него поручение склонить Марию вернуться на родину. Горсею, будто бы, скоро удалось вкрасться в душу молодой вдовы: своими речами он довел ее до слез, хотя одновременно и сыпал золотом направо и налево... Затем он так сумел организовать отъезд Марии, что всякое преследование ее было невозможно. Обращаясь к официальным данным, мы не находим там ничего подобного этим пикантным подробностям. Содержание их сухо и просто, как сама действительность. По свидетельству этих документов, в феврале 1586 года царь Федор сообщил кардиналу Радзивиллу, временному правителю Ливонии, что Мария желала бы вернуться в свое отечество. Этим высоким посредничеством дело было решено, и вдова Магнуса беспрепятственно уехала в Москву. Надо думать, однако, что между заинтересованными лицами уже раньше состоялось тайное соглашение по этому поводу. Очевидно, кое-кому не хотелось отпускать дочь князя Владимира с глаз; вероятно, ее заманили обратно всяческими обещаниями, и бедная вдова поддалась на эту уловку. Но скоро ее постигло горькое разочарование. Она попала лишь из одной тюрьмы в другую, и остаток дней своих провела в печальном уединении далекого монастыря. В 1587 году судьба отняла у нее последнее утешение: она потеряла единственную дочь.

Ближайшие годы были ознаменованы гибелью новых и новых жертв. Ряды членов царствующего дома становились все реже и реже. Смерть делала свое дело. Она косила одного за другим точно по намеченному

плану, причем порой эта страшная работа окутывалась непроницаемым покровом тайны. В 1591 году сошел со сцены последний представитель дома Рюрика, младший брат Федора, царевич Дмитрий. Был ли он убит, или, спасаясь от смерти, бежал куда-то из Углича — дело темное. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу. В 1594 году Кремль постигла особенно тяжелая утрата. Как известно, царица Ирина уже несколько раз преждевременно разрешалась от бремени. Это давало повод к самым пессимистическим предсказаниям. И, однако, вопреки им, у государыни родилась наконец дочь, нареченная при крещении Феодосией. Этот «дар Божий» принес родителям больше горя, нежели радости. Ребенок оказался хилым и скоро из колыбели его перенесли в могилу. Надежды семьи были разбиты. Между тем слабое здоровье Федора заставляло опасаться преждевременного конца. Эти страхи оказались не напрасными. В 1598 году скончался и сам царь. В его лице сходила со сцены историческая династия Рюрика. Престол московский оставался вакантным. Наступал поворотный момент русской истории.

Смутное предчувствие великих бедствий начинало овладевать умами русских людей. Благочестивые книжники с тревогой взирали на будущее и призывали народ к горячим молитвам. Зоркие посторонние наблюдатели уже давно предвидели гибель династии; роль, которую судьба готовила Годунову, угадывалась при этом сама собой. Хотя Флетчер в 1588–1589 гг. провел в Москве всего несколько месяцев, он отлично сумел понять то критическое положение, в котором находилось государство. «По-видимому, — говорил он еще при жизни Федора и Дмитрия, — царствующий дом скоро прекратит существование». Он видел, что страна уже охвачена смутой, что ее терзают неурядицы; все это, в глазах Флетчера, было следствием тирании

Ивана IV. Во всяком случае, подобное зрелище отнимало у него всякую надежду на благополучный исход, так что с уверенностью настоящего ясновидца он видел вдали «пламя междоусобной войны». Эти предчувствия вполне разделял представитель Рудольфа II при московском дворе и тонкий дипломат бургграф Дона. Он заявлял в своих донесениях, что Годунов бесконтрольно управляет Русским государством и явно мечтает о короне. Поэтому в Вене господствовало убеждение, что всемогущий правитель сумеет в должный момент завладеть царской властью, присвоив ее либо себе самому, либо сыну. Вот почему, учитывая эту возможность, венский двор обращался к Годунову с изъявлениями дружбы и предлагал ему заключить союз для борьбы с турками.

Надо заметить, впрочем, что сами обстоятельства слагались удивительно благоприятно для Бориса. Годунов неуклонно стремился занять первое место среди бояр. Его успехи на этом поприще шаг за шагом приближали к трону. Борис сумел приобрести небывалый престиж; постепенно он поднялся на высоту, совершенно недоступную для остальных. Одними своими пышными титулами он затмевал всех других придворных. Из простого опричника он превратился в конюшего и ближнего боярина, воеводу царского двора, наместника царства Казанского и Астраханского и наконец правителя государства. Разумеется, он постарался придать всем этим громким званиям реальную силу. Годунов занимал в Кремле совершенно исключительное положение. Ни одно дело не миновало его; он был источником всевозможных милостей. По словам Флетчера, он был настоящим «императором». Между прочим, ему принадлежало небывалое доселе право: он мог непосредственно сноситься с иноземными державами — с крымским ханом, с кесарем, с каким угодно государем.

Борис Годунов

При этом Борис явно стремился подчеркнуть свои прерогативы. Он окружил себя пышным этикетом; держал на почтительном расстоянии от себя прежних своих сослуживцев; присваивал себе самые высшие знаки отличия. На его приемах у иностранных послов естественно рождался вопрос: не царь ли дает им аудиенцию? Они видели перед собой те же вереницы бояр, те же роскошь, блеск и пышность церемониала. Речи Бориса довершали иллюзию; он явно давал понять, что сносится с государями, как равный с равными, и старался показать, что к голосу его внимательно прислушиваются за границей. Политическим успехам Годунова соответствовал рост его богатства. Никто из бояр не мог равняться с ним своими доходами; он был самым крупным земельным собственником государства. Словом, это был настоящий царь; ему недоставало лишь одного — народного признания. Но Годунов сумел добиться и этого, и восторженные клики его сторонников заглушили робкий протест оппозиционных элементов.

Немедленно по вступлении своем на престол Борис Годунов оказался истинным учеником Ивана IV. Он понял, что необходимо придать власти характер религиозного принципа. Подобно священной особе византийского кесаря, русский царь должен быть окружен ореолом сверхчеловеческого величия; источником его могущества должно быть само небо. С этой целью Борис приказал оставить и разослать повсюду торжественное обращение — молитву к «трипостастному Божеству неразделимой Троицы». Здесь призывались благодать Божия к «Божьему слуге великому и благочестивому и Богом избранному и Богом почтенному и превознесенному и Богом снабдимому и на царский престол возведенному» Царю Борису Федоровичу, «всея Руси самодержцу», и к его «Царского пресветлого Величества» Царице Марии Григорьевне и к их «Царским

чадам» Царевичу Федору и Царевне Ксении и ко всем «прекрасноцветущим младоумножаемым ветвям царского изращения», дабы оно «в наследие превысочайшего Российского царствия было навеки и нескончаемые веки без урыву». «...Чтобы его Царская рука высилась и имя его славилось от моря до моря, и от рек до конец вселенныя надо всеми недруги его... чтобы все под небесным светом великие государи христианские и бусурманские его Царского Величества послушны были с рабским послужением... и от посечения бы меча его, от храброго подвига, все страны бусурманские его Царского Величества имени трепетали с боязнью и с великим страхом и сетованием. И просим у Господа Бога, чтоб... на нас бы на рабах его от пучины премудрого своего разума и обычая мудрого и милостивного нрава неоскудные реки милосердия изливалися выше прежнего... святая бы непорочная христианская вера сияла на вселенной превыше всех... так же честь и слава его Царского Величества высилась превыше всех великих государств на веки веков...»

Конечно, все эти дифирамбы оказывали свое впечатление на умы простодушных людей. Однако притязания, заключенные в них, оставались эфемерными. Царствование Бориса сопровождалось зловещими явлениями, которые превратили подозрительного царя в жестокого тирана. Он чувствовал, что власть ускользает из его рук; знал, что тайные враги замышляют его гибель... Они были неуловимы — и удары его обрушивались на их мнимых сообщников. Казалось, в государстве действует какой-то тайный закон о подозрительных: страх измены не покидал царя ни на минуту. Месть его не щадила лучших друзей. Однако наибольший шум вызвала опала Романовых. Недавние союзники оказались непримиримыми врагами.

В летописи мы находим рассказ о том, как произошла эта неожиданная катастрофа. По-видимому, Бо́рис уже заранее решил про себя погубить Романовых, нужно было найти только подходящий предлог для этого. В подобных случаях чаще всего прибегали к подкупу слуг; последние становились обвинителями своих господ. Однако в деле Романовых эта тактика не сразу увенчалась успехом. Врагов Бориса окружали столь преданные люди, что даже пытка не вырвала у них никакого показания, обличающего Романовых. Тогда правительство попробовало подействовать заманчивыми обещаниями. Это средство оказалось более верным: нашелся предатель, который вызвался помочь делу. Впрочем, данное ему поручение было не из трудных: он должен был подбросить к Романовым врученный ему мешок и затем сделать донос. Эта хитрость оказалась вполне достаточной. Правительство намеренно подняло шум; пресловутый мешок был найден и приобщен к делу; когда его содержимое высыпали на стол, там оказались подозрительные коренья. После этого виновные и их сообщники не могли уже избегнуть наказания. Всякому было очевидно, что они недаром хранили у себя зелье.

Все это нам теперь представляется вздором. Но в то время подобные выдумки принимались всерьез. Во всяком случае, легко угадать, какова была основа всего этого дела. В 1601 году против Романовых и их сообщников начато было формальное следствие; как принято говорить в наши дни, оно велось самым тенденциозным образом. В сущности, против обвиняемых нельзя было выдвинуть ни одной улики: никакого преступления они не совершали. Годунов питал к Романовым чисто личную неприязнь: он был убежден, что при своих связях и положении в обществе они мечтают о престоле. Несомненно, они находились в оппозиции;

Борис чувствовал безмолвную силу этого сопротивления. Это раздражало его подозрительность. Между тем начинали распространяться слухи о каком-то новом соискателе престола: все это внушало опасения насчет тайного заговора, направленного против законного царя.

Разумеется, дело Романовых не могло кончиться благоприятно для обвиняемых. Суд приговорил их к лишению имущества и ссылке. Первое место среди осужденных принадлежало боярину Федору Романову, будущему патриарху Филарету. Его постригли в монастырь; жена его также стала инокиней; оба были заключены по монастырям. Шестилетнего сына его, Михаила, отобрали у родителей и передали родственникам, жившим далеко от Москвы. В лице этого ребенка скрывался будущий основатель новой династии. Напрасно думал Годунов, что он покорит себе судьбу: в безвестности и тишине уже подрастал тот, кто со временем явится избранником народа и главой нового царствующего дома.

Но до этого Русь должна была пережить тяжкие испытания. Предвестием их явилась драма, разыгравшаяся в Угличе. Напомним здесь некоторые ее моменты.

## III

15 мая 1591 года[1] в далеком углу русской земли во дворце города Углича умер ребенок. Кто он был? Царевич Дмитрий, говорят одни, сын Ивана IV, брат царя Федора, последний представитель мужской линии

[1] С этого места до конца главы все даты соответствуют старому календарю. В XVIII веке он отставал на 10 дней от Григорианского.

Рюрикова дома. Отнюдь нет, возражают другие. В Угличе погибло другое дитя; отцом его был какой-нибудь князь, священник, кто угодно, только не Дмитрий, ибо последний, по всей вероятности, каким-то образом спасся от смерти.

Оставим пока открытым вопрос о личности убитого младенца. Спрашивается, вполне ли достоверно, что он погиб насильственной смертью? Как известно, одни утверждают, что его зарезали наемные убийцы; по мнению других, он сам наткнулся на нож в припадке болезни. Любопытно, что каждая из двух противоположных версий подтверждается показаниями очевидцев. Они клянутся, что говорят чистую правду; они противоречат друг другу и себе самим и вновь дают клятвы.

Следствием такого рода свидетельств явилась литературная война, которая продолжается вот уже три века. Ей предшествовала другая борьба — более кратковременная, но, пожалуй, и более жестокая. Противными сторонами в ней были русские и поляки: уже не чернила, а кровь проливали они целыми потоками... Одни выступали против Дмитрия; другие защищали эту загадочную личность, самое существование которой подвергалось сомнению. Яблоком раздора служил московский престол. Дмитрий добивался его, как своего наследственного достояния; но Годунов совсем не был расположен отказаться от своей власти в пользу преступника и темного искателя приключений... На чьей стороне была правда? Сами современники колебались в решении этого вопроса: мы имеем от них только обрывки истины. К тому же, слишком часто их показания внушены страстью, и голос их заглушается бряцанием оружия. Первые сомнения рождаются уже около бедного детского трупика в Угличе. Во всяком случае, каково бы ни было происхождение этого ребенка, его

агонией открывается целая эпоха. С этого момента начинается роковая пора великой *смуты*. Совершенно естественно остановить свое внимание на столь важном историческом событии.

В своих основных чертах это событие сводится к следующему. 19 октября 1583 года седьмая супруга Ивана IV, Мария Нагая, разрешилась от бремени сыном, нареченным Дмитрием. Это дитя родилось не в добрый час. Только что закончилась несчастная война России с Польшей, и Грозный уже вел переговоры с Лондоном о новом браке с Марией Гастингс. При этом он ссылался на то, что тогдашняя супруга его, Мария Нагая, не принадлежит к царскому роду. Неожиданная смерть разрушила все планы царя. Как известно, престол его унаследовал Федор. Что касается Дмитрия, то он получил в качестве удела три провинциальных города. Главным из них являлся Углич. Опекуном малолетнего царевича был назначен Богдан Бельский. Это был один из ближайших доверенных покойного государя; он же был его посредником при связях с Поссевином.

Уже в самом начале царствования Федора по отношению к Дмитрию была принята совершенно необычная и исключительная мера. По распоряжению царя, малолетний брат его был отправлен в Углич. Может быть, такое решение имело в виду ослабить борьбу придворных партий. Может быть, оно ставило своей целью предупредить попытку дворцового переворота. В таком случае нельзя не признать этого хода достаточно ловким. Богдан Бельский не уехал из Москвы вместе с маленьким царевичем. Он остался в столице, этом центре государственных дел и политических интриг; однако он удержался здесь недолго. Предлогом для его удаления от двора явился народный мятеж. Бельский был назначен наместником в Нижний

Новгород и, волей-неволей, должен был расстаться с Москвой.

Между тем с прибытием Дмитрия давно пустовавший и скромный Угличский дворец сразу оживился. По соседству с ним устроилось все семейство Нагих. Вместе с царевичем в Углич прибыла вся обстановка маленького двора. Ребенок был окружен целым штатом женщин; при нем постоянно находилась мать; за ней стояли его дядья. Конечно, и Борис Годунов не терял Дмитрия из виду. Заботился ли он о его благополучии? Выжидал ли удобного момента, чтобы погубить царственного ребенка? Никому не удалось разрешить эту загадку, и само время не рассеяло окутывающей ее тайны. Во всяком случае, рано начали ходить какие-то зловещие слухи. В 1588—1589 гг. в народе толковали, что царевича пытались отравить, но неудачно; высказывались опасения, как бы малютка не пал жертвой того, кто сам мечтает сесть на престол после смерти бездетного Федора... И вот внезапно, вместе с ударами набата, из Углича донеслась страшная весть. Царевич убит; толпа растерзала убийц, захваченных на месте. Как всегда, в передаче события было много смутного и противоречивого. Шли речи то о несчастном случае, то о злодействе, то о народном смятении, то о восстании...

Москва была поражена как громом. Борис Годунов понял, что нельзя медлить с разъяснением дела. Было слишком опасно позволять подозрениям собираться над его головой. Немедленно была назначена правительственная комиссия: ей было поручено безотлагательно выехать в Углич и произвести следствие. Разумеется, Годунов позаботился ввести в комиссию самых подходящих людей. Во главе их стал Василий Шуйский. Уже некоторое время он был в чести при дворе, хотя и не получал разрешения жениться: слишком боялись

того родового имени, которое носил этот князь... Василий Шуйский был человеком, способным на все: он был беспринципен и бессовестен, ловок и хитер. Внешность его была самая вульгарная: взгляд его красных глаз был неуловим и лжив. Присяге этот человек изменял уже не раз. Его сотоварищем по комиссии являлся Андрей Клешнин, который находился в большой милости при дворе. Женой его была княжна Волхонская — неразлучная подруга царицы Ирины; между ними не существовало тайн. Сам Клешнин пользовался исключительным доверием царя Федора и был глубоко предан Годунову. Двое других членов комиссии были менее заметными фигурами. Дьяк Вылузгин выполнял лишь свои обычные служебные обязанности, а митрополит Геласий нужен был для того, чтобы придать следствию известный религиозно-нравственный авторитет.

Комиссия с величайшей поспешностью выехала в Углич и 19 мая 1594 года уже открыла свои действия. Протоколы ее заседаний записывались на длинных листах: пожелтев от времени, они до сих пор почти в полной неприкосновенности хранятся в Московском архиве. Читая эти документы, мы слышим как будто голоса с того света; они воскрешают весь ход судебного следствия. Перед нами проходят три главные группы свидетелей. На первом месте выступают Нагие, за ними идут очевидцы происшествия; наконец, следуют показания других лиц, которых комиссия сочла нужным привлечь к делу.

Что касается Нагих, то самые важные данные могла бы сообщить, разумеется, сама мать царевича, Мария. Однако сан царицы не позволял ей выступить с показаниями при допросе. Поэтому ее оставили в покое с ее материнским горем. Три брата Нагих, напротив, не избегли дачи показаний; при этом самая важная роль

выпала на долю князя Михаила. Ему задавали самые предательские вопросы; комиссия во что бы то ни стало хотела добиться от него признания в злодействе; однако князь не поддался на уловки и смело бросил в лицо следователям свой вызов. По его словам, в субботу, 15 мая, он услышал набат. Испугавшись пожара, он бросился ко двору. Здесь увидел убитого царевича. Осип Волохов, Микита Качалов и Данила Битяговский умертвили младенца. Сбежался народ, привлеченный набатом; толпа бросилась на убийц и растерзала их вместе с другими сообщниками. Что касается самого князя, то он был ни при чем в этой расправе: он не приказывал убивать никого. На него просто возвели гнусную клевету.

Заявление Михаила Нагого могло быть чревато самыми серьезными последствиями. Как мы знаем, царевичу было всего восемь лет. Конечно, у него не могло быть личных врагов; единственное, чем он мог возбудить темные чувства, были его наследственные права на власть. Возникал вопрос: уж не послал ли к нему наемных убийц какой-нибудь тайный честолюбец? Легко понять опасность этой догадки: естественно, что следователи желали уничтожить ее в самом зародыше. Вот почему они немедленно изменяют все направление своей работы, теперь главной задачей их является опровергнуть или, по крайней мере, ослабить главное показание князя Михаила. Для этой цели весьма нетрудно было воспользоваться свидетельством двух других Нагих — Андрея и Григория. Оба они вместе с Михаилом прибежали ко дворцу и вообще находились в одинаковых с братом условиях. И, однако, они не только не видели того, что видел старший брат, но, напротив, успели заметить совсем другое. Таким образом, вся ответственность за смелое показание падала на одного князя Михаила. Но этого мало. Явился

еще новый свидетель: это был некий Русин Раков — какая-то темная личность из категории низших служащих. Он разыграл роль раскаявшегося соучастника злодейства и раскрыл целый заговор, который окончательно скомпрометировал старшего Нагого. По словам Ракова, князь Михаил намеренно натравил толпу на мнимых убийц и погубил совершенно невинных людей: он хотел, будто бы, чтобы эти несчастные жертвы были признаны за настоящих преступников. Сам Раков, по приказанию князя, зарезал 18 мая курицу; в ее крови он смочил ножи и огнестрельное оружие, а затем положил его возле трупов. Таким образом, князь Михаил хотел выгородить толпу и себя самого, как ее подстрекателя. Пусть-де видят, что убиты были вооруженные люди, которые — ясное дело — пустили в ход свое оружие. Конечно, для того чтобы эта хитрость удалась, нужно было, чтобы она осталась тайной для московских следователей. Поэтому шесть раз в течение одного дня князь Михаил требовал к себе Ракова и брал с него клятву, что тот будет молчать. Раков так и делал. Но затем он одумался и решил сам прийти в комиссию, чтобы повиниться и загладить свой проступок.

Показания Ракова нанесли свидетельству князя Михаила тяжкий удар. Для окончательного опровержения слов Нагого нужно было теперь противопоставить ему другого свидетеля, который дал бы еще более обоснованные и удостоверенные показания. Как мы видели, почву для этого подготовили уже двое других братьев Нагих. Фундамент под все это строение был подведен Василисой Волоховой, которая сообщила при этом и все необходимые детали. Василиса занимала самое видное положение среди женщин, окружавших царевича: она была мамкой несчастного Дмитрия. Ее уж никак нельзя было признать нервнобольной, зато она видела всякое и не лезла за словом в карман. Сын

ее был убит в свалке, как один из соучастников преступления; ее саму помяли изрядно, но ни боль, ни горе матери, ни волнение ничего не могли сделать с ней. Василиса выступает как непосредственный свидетель происшествия. Она все видела, все слышала; память не изменяет ей ни в чем, и слова, как горох, сыплются с ее языка. Если верить ей, она обнаружила во время трагедии изумительное хладнокровие, можно сказать, почти героическую твердость духа. По ее словам, царевич страдал эпилепсией. Время от времени с ним случались жестокие припадки. В конвульсиях он однажды поранил свою мать большим гвоздем и искусал руки дочери Андрея Нагого. За несколько дней до несчастья он опять хворал. Потом ему стало лучше, и он снова вернулся к своим обычным играм. В субботу, 15 мая, царица послала его к обедне, а затем отпустила погулять на двор. Тут-то и случилась беда.

На дворе, кажется, было всего-навсего три женщины и несколько детей. Царевич весело играл в тычки и, собираясь бросить свой нож в цель, держал его, как полагается, в руке. Вдруг с ним случился припадок. Он опрокинулся навзничь и накололся горлом на нож. Тотчас же он забился, затрепетал и скончался. Выбегает царица. Она видит сына своего в крови, сердце у нее упало... Но гнев в ней оказался сильнее любви. Она схватила полено и набросилась на мамку, грозя разбить ей голову. Мы представляем себе эту картину... Мать в отчаянии кричит, что царевича убили; в лицо Василисе она бросает имена злодеев; между ними — сын мамки, Осип... А Волохова под градом ударов, осыпаемая гневными укорами, спокойно требует суда... Между тем подбегает Григорий Нагой. Царица передает ему полено и велит бить мамку по пояснице... Затем, полумертвую, ее бросают и принимаются бить

в набат. На вопли колокола собирается отовсюду встревоженный народ; возбужденная, взволнованная чернь врывается на двор. Новая картина: Василису терзает уже народ; в лохмотьях вместо платья, простоволосую, ее тащат в тюрьму. Но мамка не теряется и здесь: внимательным оком своим она следит за всеми перипетиями разыгравшейся кровавой драмы. Она видит, как один за другим подбегают те, которых называют убийцами царевича; только одного из них приволокли на место силой. Василиса слышит, как царица и ее брат Михаил требуют смерти злодеев. На ее глазах их тут же и приканчивают... Но она не плачет, не жалеет сына, зато помнит, как убили какого-то несчастного только за то, что он выразил ему сострадание. На следующий день после всех этих ужасов она все еще настолько бодра, что помнит, как казнили какого-то юродивого. Его обвинили будто бы в том, что он напустил беду на царевича.

По-видимому, показания Василисы разом пролили свет на все дело. Можно сказать, что россказни мамки как нельзя лучше соответствовали тайным намерениям комиссии. При таких условиях было совершенно неважно, видела ли она все собственными глазами, или же нет[1]. Вот почему никто и не думает проверять ее свидетельства. Явные несообразности в передаче Василисы не обращают ничьего внимания. Об очной ставке с другими лицами не возникает и вопроса. Ловкая мамка разрушила версию о предумышленном убийстве царевича; этим самым устранялись всякие опасные догадки. Василиса дала формулу, к которой оставалось только присоединиться всем остальным свидетелям. И,

[1] Четверо детей, игравших с Дмитрием и бывших очевидцами происшествия, не упомянули о Василисе, перечисляя женщин, присутствовавших на дворе. Это умолчание решительно необъяснимо.

действительно, как будто бы кто-то заранее продиктовал им условленный ответ; точно они заучили его наизусть. Кое-что, наиболее трудное, они рассказывали на память, своими словами. Во всяком случае, во всех этих показаниях неизменно повторяется один и тот же мотив. Дмитрий сам убил себя в припадке; он накололся горлом на нож; долго бился и наконец испустил дух. Разумеется, первое слово должно было принадлежать свидетелям-очевидцам. Мы знаем уже, что в момент несчастья с царевичем играли другие дети. Их было четверо. Уже один их возраст являлся гарантией искренности. Допрашивая каждого из них в отдельности, можно было без всякого труда, хитростью или насильно, вынудить их рассказать все, что они видели. Комиссия предпочла иной путь: дети все вместе, в унисон, повторили перед нею все те же заученные слова. То же самое, как эхо, услышали московские следователи и от двух женщин, состоявших при царевиче. И, таким образом, список главных свидетелей по делу был исчерпан комиссией с удивительной быстротой. Казалось, что, найдя нужную версию, следователи старались поскорее предупредить всякие возражения против нее: очевидно, им хотелось, чтобы она во что бы то ни стало сохраняла свою силу.

Для этого комиссия воспользовалась целой массой услужливых свидетелей. Если очевидцев несчастья было мало, то людей, слышавших о нем, находилось сколько угодно. Страшная весть мгновенно облетела город и распространилась по его окрестностям. Таким образом, свидетелей оказалось бесконечное множество: оставалось брать их обеими руками. И вот перед комиссией потянулись горожане и сельские жители, должностные лица всяких званий и духовенство разных родов... Тут были и архимандриты, и монахи, и простые священники... Один из таких попов, по прозвищу Огурец, был

когда-то смещен в пономари за то, что слишком рано лишился жены. Конечно, были допрошены и все служившие во дворце — начиная с детей боярских и кончая поварами, поваренками, пекарями, истопниками, конюхами и скотниками. Раза два-три — правда, очень робко — послышались в этом хоре свидетелей некоторые диссонансы. Но в общем формула Василисы повторялась всеми самым добросовестным образом, весьма определенно и в совершенно одинаковых выражениях.

Допрос уже подходил к концу, когда новая группа свидетелей внесла в дело совершенно неожиданный элемент. Читатель помнит, что смелый обличитель убийства царевича, Михаил Нагой, сам оказался в роли подстрекателя к расправе над мнимыми преступниками. Теперь свидетели заявили, что весь день 15 мая князь был *мертвецки пьян*. Таким образом, его показания теряли силу; с другой стороны, с него снималась всякая ответственность. Словом, здание, с таким трудом воздвигнутое комиссией, грозило рухнуть в прах. Однако следователи торопились в Москву: они совсем не были расположены снова приниматься за дело с самого начала. Поэтому ограничились занесением нового свидетельства в протокол и не придали ему никакого значения. Они едва согласились уделить несколько минут царице Марии. В самый день их отъезда мать царевича пригласила к себе митрополита Геласия. Она ни на что не жаловалась, никого не укоряла, лишь просила помиловать «червей земных»; так называла она собственных братьев.

Протоколы следствия были увезены комиссией в Москву. Конечно, они должны были лечь в основу судебного разбирательства. Что же можно сказать об этом материале?

Были ли вполне добросовестно собраны все данные по угличскому делу? Конечно, нет. По-видимому,

Шуйский с товарищами не слишком озабочены были раскрытием истины. Они заносят в свои протоколы ряд самых вопиющих противоречий и нисколько не стараются разобраться во всем этом хаосе. Невольно бросается в глаза искусственное построение следствия: оно ведется явно тенденциозно. Цель его нетрудно угадать. Комиссия стремится во что бы то ни стало устранить предположение о предумышленном убийстве и подтвердить версию об эпилептическом припадке. Конечно, в этом случае незачем было бы отыскивать тайных вдохновителей убийства.

Протоколы угличского следствия уже не раз подвергались самому тщательному анализу со стороны историков. По правде говоря, весь этот труд нам кажется потраченным даром. Мы уже сказали, что комиссия Шуйского не заслуживает никакого доверия. Если бы даже ее данные сами по себе и были неуязвимы для критики, во всяком случае, одно, чисто внешнее обстоятельство сводит на нет значение всего этого материала. Дело в том, что сам председатель комиссии, Шуйский, отрекся от дела собственных рук. После целого ряда самых подозрительных колебаний он торжественно поклялся перед аналоем, что Дмитрий пал невинной жертвой наемных убийц и заслужил мученический венец. Мы еще увидим, как этот клятвопреступник будет первым простираться в прах перед останками «святого» Дмитрия при перенесении их в кремлевскую усыпальницу русских царей. Разве не говорит все это о том, что руководимое Шуйским следствие не заслуживает никакой веры?

Впрочем, никто еще не предвидел возможности такого оборота дела со стороны Шуйского, когда 2 июня члены комиссии прибыли в Москву. Весь собранный ими материал был немедленно передан царю. Федор отослал его патриарху Иову, митрополитам и всему

собору. В присутствии высшего духовенства и бояр документы, привезенные из Углича, подверглись пересмотру. По прочтении их, первое слово было предоставлено креатуре Годунова, патриарху. Иов был человеком непостоянного и слабого характера. Впоследствии, подобно Шуйскому, и он отрекся от своих слов. Но в данный момент он высказал взгляд, который, очевидно, был составлен им заранее.

По мнению патриарха, материал следствия был достаточно полон и не заключал в себе никаких противоречий. Ясно, как день, что Дмитрий погиб в припадке болезни, а князь Михаил воспользовался этим случаем, чтобы свести со своими врагами личные счеты: так совершилось неслыханное, гнусное злодейство. Вместе с князем Михаилом в преступлении повинны оба его брата, а также все угличане. Патриарх, очевидно, совершенно не признавал ни смягчающих обстоятельств, ни различных степеней виновности. В его глазах все обвиняемые оказывались убийцами, все они должны были отвечать перед судом и понести самую тяжелую кару. Словом, Иов был сторонником массовых мер. Впрочем, ввиду мирского характера всего дела, он смиренно предоставлял его на благоусмотрение царя. Ведь государь обладает неограниченной властью казнить или помиловать, и воля его руководится велением свыше. Что касается его самого, то он, инок Божий, будет неустанно молить всеблагого Создателя за царя и царицу, прося ниспослать им здравие, спасение и мир. Всеми этими заявлениями глава русской церкви, очевидно, заранее развязывал руки Годунову. Мало того, он обещал ему беспрекословное одобрение всех мер, которые тому заблагорассудится принять.

Таков был суд патриарха. Теперь оставалось только санкционировать его приговором самого царя. Трудно сказать, насколько был способен Федор понять то,

что происходило; во всяком случае, он предоставил судьям полную свободу действий. Таким образом, все теперь зависело от Бориса Годунова. Обвиняемые попадали в руки беспощадного мстителя. Понятно, что кара, их постигшая, была ужасна; согласно обычаю времени, она становилась тем тяжелее, чем ниже жертвы ее стояли в обществе. Царице Марии пришлось постричься в инокини и искупать в монастырском уединении свой мнимый недосмотр за сыном. Трое братьев ее, которые, по данным следствия, были виновны не в равной степени, все были отправлены в дальнюю ссылку из Москвы: их поселили безвыездно в различные города. Самые жестокие наказания постигли, конечно, простых угличских людей. Все они были признаны в равной мере ответственными за совершенные убийства, поэтому в отношении к ним не знали жалости. Двести человек были казнены смертью, многим отрезали языки; большинству пришлось покинуть родину и ехать в Сибирь, где они и поселились в Пелыми. Суд не пощадил даже колокола, который своим набатом собрал народ ко двору: его сослали в далекий Тобольск. Милостивым приговор оказался лишь для Василисы Волоховой, которая сумела найти версию, нужную следователям и удобную для большинства свидетелей; разумеется, такое же благоприятное положение создано было и для родственников тех лиц, которых во что бы то ни стало хотели изобразить жертвой народной ярости.

Таким образом старался суд стереть всякие следы угличского преступления. Но горько ошибался Годунов, надеясь потопить в крови и слезах самую память об этом мрачном злодействе. Уже одна жестокость кары, постигшей мнимых виновных, навсегда запечатлела это событие в народном воображении. Разумеется, подозрения, возникшие уже раньше, теперь должны были

еще усилиться. В Угличе было убито несколько человек... Неужели из-за этого нужно было наказывать его жителей чуть ли не через десятого? Неужели нужно было разгромить весь город и рассеять в разные стороны его население? Правительство должно было бы наказать только виновных... Своими мерами не старалось ли оно скорее устранить всех свидетелей, которые могли быть для него опасны?

Не безнаказанно пролита была невинная кровь. Близился час, когда увлажненная ею земля должна была родить страшную жатву проклятия и мести.

# Глава II

# ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИЗРАК 1601–1604 гг.

## I

С 1599 года представителем Римского престола в Кракове, при дворе Сигизмунда III, был нунций Клавдио Рангони — князь-епископ Реджио. Уроженец Модены, аристократ по происхождению, он едва успел четыре года пробыть в своей епархии, когда милость папы Климента открыла ему дипломатическую карьеру в Польше. На этом поприще все было ново для Рангони. Он не знал ни страны, куда должен был ехать, ни людей, с которыми ему предстояло иметь дело. Сами обязанности его при краковском дворе едва ли представлялись ему достаточно ясно.

Между тем пост нунция в Кракове был тогда одним из самых завидных. Ни один вопрос общеевропейской политики не миновал тогда польской столицы; война с турками — этот кошмар тогдашней эпохи — неустанно обсуждалась здесь различными дипломатами. Таким образом, для Рангони открывалось самое широкое поле деятельности. Но этого мало. Если в Кракове было много привлекательного для государственного

человека, то для уроженца Италии здесь оказался как бы уголок его отечества. Высший класс польского общества был уже затронут веяниями Ренессанса; вместе с Боной Сфорца сюда проникли новые идеи, и пионеры гуманизма недаром перебрались через Альпы, чтобы основаться на берегах Вислы.

Личные отношения папского нунция с королем Сигизмундом III были, конечно, безукоризненны и даже не лишены известной теплоты. Правда, этот государь был потомком дома Ваза; правда, что двоюродным братом его являлся сам Густав-Адольф. Тем более удивительно, что в лице Сигизмунда мы находим как бы другого Филиппа II — только без надменности испанского короля. Быть может, свою глубокую религиозность он унаследовал от матери, Екатерины. То была настоящая дочь Ягеллонов — и не столько по своему происхождению, сколько по нравственным качествам, в особенности же по страстности своей веры. Во всяком случае, под высоким покровительством короля католическая реакция делала в Польше все новые и новые успехи. Вот почему, когда папскому нунцию приходилось вмешиваться в государственные дела, он всегда был уверен, что встретит поддержку. Верными союзниками его оказались известная часть знати и епископы — католики, которые все заседали в сенате. В довершение всего, еще кое-что манило Рангони в столицу славянского королевства: во имя этого он готов был примириться и с ее снегами, и с ее стужей. Далеко впереди он видел шляпу кардинала. Дело в том, что, при возвращении в Италию, папский нунций обыкновенно бывал украшен уже пурпурной мантией.

Донесения Рангони хранятся в Ватиканском архиве и у князя Дориа-Памфили. В них, как нельзя лучше, выступает весь нравственный облик этого человека.

Листы эти выцвели от времени; некоторые — увы! — скоро, быть может, погибнут навсегда. Но, перебирая их, мы живо воскрешаем перед собой образ прежнего римского прелата. Перед нами лицо, привыкшее к самому избранному обществу. Это одновременно и клирик, и придворный. Он в совершенстве изучил все требования этикета. Он — сама аккуратность, сама предупредительность, воплощенное самообладание. К услугам его в любую минуту оказывается неистощимый запас банальных формул. Все эти черты мы встречаем у большинства коллег Рангони. Лишь в одном отношении этот дипломат превосходил других государственных людей: он отлично умел добывать всякие сведения и хорошо информировал своего государя. В сущности, этим вполне удовлетворялось его честолюбие. Напрасно стали бы мы искать у него новых идей или оригинальных планов: Рангони менее всего был способен к ответственной роли реформатора или пропагандиста каких бы то ни было идей. Об этом ясно говорят его пространные и пресноватые донесения. В них постоянно фигурируют какие-нибудь *комбинации*. Это не значит, что Рангони злоупотреблял этим понятием; мы хотим сказать только, что в этой сфере он чувствовал себя особенно привольно.

Так или иначе, папский нунций был *persona grata* при польском дворе. Являясь горячим сторонником союза с Австрией и брака с эрцгерцогиней Констанцией, он вполне сходился в этом с королем Сигизмундом. Мало того, он оказывал ему деятельную поддержку в этом направлении и даже был посредником в сношениях короля с Прагой. Более нелюдимые современники упрекали порой Рангони в том, что он был слишком предан светской жизни, по их мнению, он переходил меру в своем стремлении играть роль в обществе. Для этих суровых судей было великим соблаз-

ном видеть, как епископ весело пирует с магнатами или ухаживает за прекрасными полячками: подобные слабости казались несовместимы с высоким саном папского нунция. В довершение несчастья, при Рангони состоял его племянник, граф Александр Рангони; надо сознаться, что суровая добродетель совсем не была его идеалом. Пусть даже он и не был притчей во языцех в Кракове, как утверждают некоторые. Во всяком случае, несомненно, что за свои легкомысленные похождения он поплатился впоследствии высылкой из Рима. В силу всех этих обстоятельств, Ватикан относился к нунцию гораздо более сдержанно, нежели краковский двор. Несколько раз король Сигизмунд просил папу возвести Рангони в сан кардинала: Павел V не хотел внять этим ходатайствам. Однако король не сдавался. Он периодически возвращался к этому вопросу; для него это стало как бы делом чести... Он не жалел похвал в адрес своего протеже и горько укорял Рим за противодействие. Он не остановился перед отправлением в Ватикан особых уполномоченных; в специальной записке он восставал против «клеветников», очернивших ни в чем не повинного Рангони; наконец, он ответил отказом на предложение папы назначить кардиналом кого-нибудь из среды польского духовенства. Все было тщетно: Павел V был неумолим. Снисходя к представительству Сигизмунда, он охотно соглашался жаловать своего нунция бенефициями и пенсиями; но даровать ему пурпурную мантию он находил решительно невозможным. В подробные объяснения по этому поводу он не пускался: он просто заявлял, что имеет самые серьезные основания не отступать от принятого решения.

Надо думать, что при отъезде Рангони из Рима он представлял себе будущее в гораздо более радужном

свете. Новый нунций отправлялся в Краков, полный самого горячего рвения. Между прочим, он вез с собой специальные инструкции от 20 февраля 1599 года: здесь было нечто такое, что прямо касалось Москвы. Прошло уже 17 лет с тех пор, как Поссевин побывал при русском дворе, такой же срок миновал со времени перемирия при Киверовой Горе. Жизнь значительно двинулась вперед. Но Рим не спешил с пересмотром своей традиционной политики в славянских землях. Он оставался верен своей мечте о союзе Польши с Москвой; тем самым он надеялся установить религиозное единство на севере Европы. По этому вопросу Рангони имел самые подробные указания; во всем остальном ему предоставили полную свободу действий. Папа знал о вступлении на русский престол Годунова; но он не был осведомлен о ходе польско-русских отношений и при таких обстоятельствах предпочитал довериться чутью и такту своего представителя. Впрочем, он выражал желание, чтобы, если только не поздно, стороны обратились к римскому посредничеству; при этом почин должен был принадлежать Годунову. Таким образом, создался бы прекрасный повод оказать московскому государю важную услугу: разумеется, это обязало бы и царя Бориса не остаться в долгу. При переговорах с русским правительством нунций мог бы возбудить вопрос о постройке в Москве католической церкви, клир которой составился бы из иезуитов. Очевидно, Климент VIII стремился к тому же самому, что и Григорий VIII. Если бы Борис Годунов оказался более сговорчивым, чем Иван IV, Рангони удалось бы примирить Польшу с Москвой торжественным актом папского вмешательства. Тогда, опираясь на свой успех, упорно ускользавший от всех его предшественников, нунций мог бы добиться того, в чем неизменно отказывали Поссевину, — другими словами, като-

лическая церковь впервые могла бы обосноваться в Москве. К несчастью, весь расчет оказался неправильным. Во главе польских войск уже не было грозного Стефана; над Москвой уже не тяготел ужас опричнины. Исконные враги находились в равных условиях, при которых чужое вмешательство становилось излишним.

Скоро папскому нунцию пришлось самому убедиться в этом. В 1600 году король Сигизмунд отправил в Москву с предложением союза канцлера литовского, Льва Сапегу. Как известно, по всем вопросам, которые касались соединения церквей, послу польского короля дан был самый решительный и высокомерный отпор. Сапега сам сообщил об этом Рангони, не скрывая от него своего разочарования и досады. Впрочем, как мы знаем, ему удалось заключить с Москвой перемирие на 20 лет. Это вполне соответствовало видам папы и традициям старой дипломатической рутины. Все, казалось, налаживалось по-прежнему. И вдруг совершенно необычное событие открыло перед римской курией самые неожиданные перспективы.

1 ноября 1603 года Рангони был принят Сигизмундом. Король заговорил о странных слухах, распространяющихся по всему государству. По его словам, в Польше появилась какая-то загадочная личность. Это пришелец из Московского государства, который называет себя Дмитрием, сыном царя Ивана IV. Некоторые из русских людей будто бы уже признали царевича и стали на его сторону. Дмитрий находится в Волыни у князя Адама Вишневецкого. Он мечтает вернуть себе наследственный престол при помощи казаков и татар. Всю эту затею король признавал чистым безумием: ему казалось невозможным возлагать свои надежды на наемников, которые ищут не столько чести, сколько добычи. Что касается самого героя всех этих

отчаянных замыслов, то король выражал желание узнать его поближе. Он приказал Вишневецкому привезти новоявленного царевича в Краков и представить королю особое донесение.

К той же теме обратился в своей беседе с нунцием и вице-канцлер Петр Тылицкий. Он дополнил сообщение короля новыми подробностями. Разумеется, Рангони не замедлил известить Рим о столь сенсационных событиях. Ватикан принял несколько скептически донесения своего уполномоченного. Сам Климент VIII сделал на полях его депеши следующую насмешливую пометку: *Sara un altro Rè di Portogallo resuscitato*. Это было намеком на тех самозванцев, которые до смерти Дон Себастьяна мистифицировали Португалию.

Конечно, Рангони постарался раздобыть себе копию с донесения Вишневецкого. После перевода польского текста на латинский язык он отослал его в Рим. Этот документ имеет для нас первостепенную важность: в нем содержится биография Дмитрия, записанная с его слов. Рангони свидетельствует, что князь Вишневецкий лишь изложил то, что сообщил ему «царевич»; таким образом, сущность донесения всецело принадлежит самому герою всей этой истории [1]. Между тем Дмитрий переживал самый критический момент своей судьбы. Все будущее зависело от его показаний, которые должны были убедить окружающих в подлинности его царского происхождения. Таким образом, мы можем предположить, что в своей автобиографии он дал все, что мог, и исчерпал все свои ресурсы. Донесение Вишневецкого касается главным образом углич-

[1] Этот рассказ Дмитрия послужил основой для всех других версий, передающих историю спасения царевича в Угличе. Таким образом, рядом с показаниями самого Дмитрия эти редакции не имеют самостоятельной ценности.

ских событий. Оно представляет попытку раскрыть тайну, окружающую это темное дело. Какой контраст с официальным расследованием Шуйского! Главный виновник злодеяния назван здесь собственным именем. Это, конечно, Борис Годунов. Дмитрий характеризует его как человека, не боящегося ни железа, ни крови. По его словам, он мечтал о престоле тотчас после смерти Ивана IV. Во имя этой честолюбивой цели он готов был пожертвовать чем угодно. Царь Федор не мог оказать ему никакого противодействия: Годунов живо спровадил бы его в Кирилло-Белозерский монастырь и по-своему расправился бы с его советчиками. Таким образом, оставался лишь царевич Дмитрий. Чтобы очистить Годунову дорогу к престолу, нужно было устранить этого единственного законного наследника царской власти: в противном случае, он мог бы со временем заявить свои притязания. Как же можно было достигнуть этого? Не иначе как посредством преступления. И Борис не поколебался перед ним: его злодейство было тем более гнусно, что оно было задумано и подготовлено заранее с поистине адским расчетом. Царевича окружали верные слуги. Все они были отравлены каким-то тонкодействующим ядом. На их место были поставлены предатели, которым было приказано отравить самого Дмитрия. Однако живым препятствием для осуществления этого плана явился воспитатель царевича. Этот энергичный и наблюдательный человек разведал о странном заговоре и помешал его выполнению. Тогда Борису волей-неволей пришлось прибегнуть к иным средствам. К делу были привлечены подкупные убийцы. С наступлением ночи они должны были пробраться во дворец. Здесь им приказано было напасть на царевича, уже лежащего в постели, и заколоть тут же несчастного ребенка. Но неусыпная бдительность воспитателя разрушила и этот

план; желая спасти царевича от злодейства, он придумал жестокую хитрость. Дмитрия уложили спать на новом месте, а на его постель положили одного из «двоюродных братьев» — приблизительно того же возраста. Как было условлено, убийцы прокрались во дворец. Не подозревая ничего, они умерщвляют злополучного младенца в полной уверенности, что перед ними — царевич. Весть о злодействе с быстротой молнии облетает дворец. Прибегает мать Дмитрия. Она в отчаянии бросается на труп ребенка; в своем горе она не замечает подмены и горько оплакивает сына, которого считает погибшим. Сбежавшийся народ точно так же ничего не видит. Он вне себя от ярости; хочет насытить свою месть кровью и в исступлении избивает до тридцати других детей. Таким образом, исчезновение двоюродного брата царевича проходит незамеченным и не возбуждает никаких подозрений.

Борис Годунов был обманут, как и все другие. Теперь его единственной заботой было скрыть истинную цель преступления. Для этого нужно было придумать более или менее правдоподобную версию, объясняющую событие. Такой версией явилась мнимая болезнь царевича. Смерть Дмитрия была приписана несчастной случайности, а жителям города Углича пришлось поплатиться жизнью за свое излишнее рвение. Между тем царевич жил невредим под охраной своего воспитателя: никто не знал о нем, и никакая опасность не угрожала его жизни. Когда спаситель царевича почувствовал приближение конца, он доверил своего питомца одному верному человеку, которому предварительно раскрыл всю тайну. Последний охотно согласился выполнить все, что нужно было старику. Но и этот верный человек умер в свою очередь; перед смертью он советовал Дмитрию искать себе убежище в монастырях. И вот потомок Рюрика облекается в монашескую

рясу. Скитаясь по Русской земле, он стучится в двери ее обителей и, как нищий, выпрашивает себе кусок хлеба. Злая судьба лишила его всего: у него оставалось лишь одно: его царственная внешность. Но эта внешность и выдала его: в конце концов, какой-то монах по всей его повадке признал в нем царского сына. Это открытие было роковым для Дмитрия. Отныне пребывание его в Русском государстве становилось опасным. Приходилось опять спасаться от Бориса Годунова. Дмитрий перебирается в Польшу. Некоторое время, неведомый никому, он живет в Остроге и Гоще. Но затем не выдерживает и, проживая у Адама Вишневецкого, сообщает князю тайну своего высокого происхождения.

Какие впечатления должен был вынести король, читая донесение Вишневецкого? Быть может, в первый момент он простодушно поддался обольщению. Мы вполне допускаем, что на миг Сигизмунд был ослеплен необычной судьбой Дмитрия. Но, конечно, очень скоро в душу его должны были закрасться сомнения. Ведь слишком очевидно было с первого взгляда, что «царевич» не хочет посвятить короля во все подробности своего прошлого, напротив, он старался распространяться об этом возможно меньше. Прием его оказался весьма удачным. Теперь еще, по прошествии трех столетий, перед загадкой происхождения Дмитрия обнаруживает свою беспомощность наука, вооруженная всеми современными средствами. В его биографию она не может внести ни одного имени, ни одного нового факта, как будто жизнь этого человека протекла, не оставляя нигде никакого следа.

С великим трудом мы настигаем Дмитрия в Киеве. Здесь он появляется, вероятно, около 1601 года. Одетый в грубую монашескую рясу, он теряется в толпе себе подобных. Он ходит по святыням города, а затем

идет к воеводе Острожскому. Несмотря на свое мирское звание, этот вельможа был патриархом юго-западного православия: вообще он не оправдал тех надежд, которые ранее возлагались на него. Под снегом своих седин он хранил страстную ненависть к Брестской унии и вел против нее неустанную борьбу. В его острожском замке находили себе убежище все противники католического влияния: для князя было безразлично, являлись ли эти враги Рима лютеранами или кальвинистами, тринитариями или арианами. Если же пришелец называл себя православным паломником, то, разумеется, он мог тем вернее рассчитывать на самое радушное гостеприимство вельможного хозяина. Может быть, Дмитрий и прибег к этому средству. Однако впоследствии он благоразумно умалчивал об этом. По его словам, он проник к князю Острожскому, не будучи никем замеченным. Со своей стороны, и князь упорно отрицал свои отношения с бродячим монахом. Когда король спросил его по этому поводу, он заявил ему, что ничего не может сообщить за полной своей неосведомленностью. Он уверял Сигизмунда, что даже не знает, жил ли Дмитрий у него самого или в подчиненных ему монастырях. Он даже не решается высказать какие бы то ни было предположения: так он далек от всего этого дела. Письмо князя датировано 3 марта 1604 года. Однако как раз накануне сын Константина Острожского, Ян, высказал перед королем либо меньшую осторожность, либо большую доверчивость. «Я знаю Дмитрия уже несколько лет, — писал этот краковский кастелян, — он жил довольно долго в монастыре отца моего, в Дермане; потом он ушел оттуда и пристал к анабаптистам, с тех пор я потерял его из виду». Слухи, ходившие по Кракову, имели еще более определенный смысл; как всегда, нунций Рангони собирал их самым тщательным образом. Здесь пере-

давали друг другу по секрету, что Дмитрий попытался было открыть свои намерения киевскому воеводе, т. е. обратился к нему за помощью. Однако старый князь выпроводил его самым бесцеремонным образом: рассказывали даже, будто бы один из гайдуков вельможи позволил себе грубые насилия над смелым просителем и вытолкал его за ворота замка. Впрочем, Дмитрий не впал в уныние от своей неудачи. Постигла она его в действительности или нет, во всяком случае, он не потерял своей бодрости и из Острога отправился в Гощу.

Этот город был центром арианства. Местные школы пользовались самой широкой известностью. Каштелян киевский и маршал острожского двора Гавриил Хойский действовал здесь с неутомимой энергией. Что влекло Дмитрия в Гощу? Что собирался он здесь делать? Преподавать русский язык, говорят одни; самому поучиться кое-чему, утверждают другие. Может быть, последнее мнение и не заключает в себе ошибки: по крайней мере, в глазах компетентных судей, теоретические познания Дмитрия всегда обличали в нем ученика арианства. Однако Поссевин, скрывающийся под псевдонимом Бареццо Барецци и черпающий свои сведения у польских иезуитов, уверяет, что в Гоще будущий московский царь выполнял более чем скромные обязанности: попросту говоря, он служил на кухне у Хойского. Трудно сказать, какую версию из трех нужно предпочесть другим. Во всяком случае, ни кухонный слуга, ни учитель, ни молодой питомец местных школ не убили в Дмитрии претендента на русский престол. Напротив, он только ждал удобного момента, чтобы заявить свои права.

До той поры Дмитрий, можно сказать, одиноко носился в пространстве. Но в 1603 году ему, наконец, улыбнулось счастье. Это было в Брагине, у князя Адама

Вишневецкого. Этот высокородный кондотьер только и мечтал что о войне. Русский по крови, но подданный польского короля, бывший питомец виленских иезуитов, но горячий сторонник православия и по-своему человек религиозный, князь Вишневецкий питал непримиримую вражду к русскому правительству. Между ним и Москвой были давние счеты алчности и крови. Огромные владения князя расположены были по обоим берегам Днепра; они тянулись вплоть до самой русской границы. Нередко на этом рубеже возникали споры о правах или происходили враждебные столкновения: очень часто сабля являлась судьей в этой тяжбе двух соседей. В 1603 году русские соблазнились двумя зажиточными местечками, которыми, на том или другом основании, владел Вишневецкий. Без всякого предупреждения московские войска вторглись в область князя и завладели упомянутыми местечками. Дело не обошлось без кровавых схваток, в результате которых с той и другой стороны оказались убитые и раненые. Князю Острожскому, по его должности воеводы киевского, было предписано произвести следствие по этому поводу. В своем докладе, представленном королю, он высказывался за необходимость решительных действий и за возмещение понесенной Вишневецким потери. Дело затянулось. Однако князь Адам отнюдь не думал отступаться от своих требований.

Таков был этот воинственный магнат. Разумеется, он не мог равнодушно думать о своем поражении; конечно, он не забывал удара, нанесенного его интересам. Может быть, не ему первому заявил Дмитрий о своих наследственных правах; во всяком случае, встреча с князем Вишневецким была началом его сказочной карьеры.

Нельзя не признать, что смелый «царевич» сумел выбрать человека, вполне пригодного для своих це-

лей. Не менее удачно он воспользовался и моментом. Однако надо было еще найти доступ к гордому вельможе. Как же проник к нему бедный монах? Как он смог произвести на него должное впечатление и вкрасться в его доверие? Здесь начинается область бесконечных догадок для историков. Одни рассказывают, что Вишневецкий ударил Дмитрия по лицу и тем самым вызвал со стороны последнего бурный взрыв царственного негодования. По словам других, Дмитрий открыл князю свою тайну на ложе тяжкой болезни, причем роль посредника выпала на долю болтливого духовника. Третьи, наконец, говорят, что Самозванец, без всякой болезни, сумел извлечь пользу для себя из какой-то романтической страсти [1]... Нередко на основании всех этих анекдотических сообщений строилась весьма сложная mise en scène. Надо заметить, однако, что под ними нет достаточной почвы. В донесении князя Адама отсутствует хотя бы один намек такого рода. Нельзя указать ни одного свидетеля, который мог бы подтвердить все это, как очевидец. Вообще, мы не можем опереться здесь ни на чей достоверный авторитет. Несомненным остается лишь одно: раньше всех других Вишневецкий торжественно признал Дмитрия истинным царевичем и оказал поддержку первым его шагам. Он был восприемником этого не совсем обыкновенного рыцаря. Но во всяком случае между тем и другим должно было произойти нечто загадочное для нас. Конечно, трудно допустить, чтобы доказательства своего тождества с царевичем Дмитрием, приведенные слугой Вишневецкого, могли сами по себе иметь серьезное значение в глазах князя Адама. Может быть, более убедительно для польского вельможи

[1] Православный священник послужил лишь посредником между Дмитрием и Вишневецким. Отсюда все позднейшие легенды.

было свидетельство тех русских людей, которые примкнули к смелому претенденту. Мы помним, что князь мечтал о реванше; легко предположить, что он надеялся извлечь личную выгоду из всего этого темного дела. Все это могло сделать более доверчивым человека, чувствительно затронутого в своих интересах и, по натуре своей, склонного к военным приключениям.

Перемена, произошедшая в положении Дмитрия, была настолько же радикальна, насколько она была и внезапна. Человек, бывший еще вчера никому не известным и нищим бродягой, стал сегодня высокой особой. Монашеская ряса была сброшена, если только Дмитрий не изменил ей раньше; перед изумленным светом выросла фигура претендента, который смело заявлял свои притязания на одну из самых блестящих в мире корон. Могущественный магнат готов был поддержать эти домогательства. Что же оставалось? Немедленно приступить к делу: собирать армию, привлечь на свою сторону казаков — другими словами, выполнить тот план, который подвергся столь убийственной критике со стороны короля. И вот в днепровские и донские степи полетели гонцы, чтобы вербовать там добровольцев. По слухам, дошедшим до Сигизмунда, сам Дмитрий ездил к беспокойному казачеству, всегда готовому взяться за оружие. К сожалению, история никогда не узнает подробнее об этих переговорах: они должны были вестись устно, под открытым небом. Конечно, тут было обнаружено немало дикой простоты, много своеобразной гордости. Казаки писали свою историю саблей, и не на страницах древних книг, но на полях битвы оставляло это перо свой кровавый след. Для казачества было привычным делом доставлять троны всевозможным претендентам. В Молдавии и Валахии периодически прибегали к их помощи. Для грозн-

ной вольницы Днепра и Дона было совершенно безразлично, подлинные или мнимые права принадлежат герою минуты. Для них важно было одно: чтобы на их долю выпала хорошая добыча. А можно ли было сравнивать жалкие придунайские княжества с безграничными равнинами русской земли, полной сказочных богатств? Так или иначе, несомненно, что связи Дмитрия с казаками и, может быть, даже с татарами происходили именно в эту пору; далее вполне достоверно, что, по крайней мере, с первыми был заключен договор на известных условиях. Возбуждение, вызванное Дмитрием на Украине, приняло такие размеры, что обеспокоенный король счел нужным вмешаться в дело. 12 декабря 1603 года Сигизмунд издал суровые указы, запрещая казакам образовывать вооруженные отряды, а мирным гражданам — продавать этой опасной вольнице оружие и амуницию. Конечно, как и всегда, все эти распоряжения оказались совершенно бесплодными. Казаки не обращали на них ни малейшего внимания.

Вскоре после этого произошел эпизод, который должен был еще укрепить Вишневецкого на избранном пути. Король не счел возможным удовлетвориться благоприятным донесением князя Адама: ему казалось необходимым произвести длительное расследование по поводу объявившегося претендента на московский престол. Это было поручено Льву Сапеге. В свите этого вельможи находился один уроженец Ливонии, который прекрасно знал Дмитрия. Еще в бытность последнего в Московском государстве он состоял при его особе. В январе 1604 года этот человек был отправлен к Вишневецкому. Дмитрию грозила ловушка. Посланный Сапеги назвался чужеземцем и ничем не выдал своих чувств при встрече с «царевичем». Но Дмитрий не растерялся. Он сам признал своего бывшего слугу

и с большой уверенностью стал его расспрашивать. Тогда и шпион Сапеги изменил своей роли: он громогласно заявил, что стоящее перед ним лицо есть подлинный сын Ивана IV. По его словам, он видел царевича слишком часто, чтобы ошибиться. Наконец, он ссылался и на внешние доказательства тождества Дмитрия с царским наследником: при этом он указывал на бородавку около носа и на неравную длину рук у его бывшего господина. Это событие было признано немаловажным доводом в пользу претендента. Понятно, что и нунций Рангони получил о нем все эти новые сведения [1].

Успех Дмитрия все возрастал. Скоро Брагин уже стал казаться ему тесным. Мы увидим вскоре, как горизонты царевича еще раздвинулись. Но это произошло уже в ином месте. Теперь действие переносится в Самбор, в резиденцию Мнишеков.

## II

В настоящее время Самбор представляет собой самый обыкновенный — скорее даже еврейский, нежели польский городишко. Он утратил свое военное значение, потерял свой прежний поэтический аромат. В былую пору Самбор окружали непроходимые леса, богатые дичью. Он служил аванпостом польского королевства против татар, и его замок величественно возвышался на левом берегу Днестра. Эта крепость старинной и массивной постройки напоминала феодальные времена и имела весьма внушительный вид со

[1] По-видимому, ливонец — одно лицо с польским Пиотровским и русским Петрушей. Рангони не сообщает его имени.

своими башнями и бастионами. Через рвы перебрасывались подъемные мосты, а внутри мощных стен ее внешней ограды помещались церковь, сады и обширные угодья со службами.

Сигизмунд III никогда не жил в Самборе. Поэтому королевские апартаменты были заняты обыкновенно воеводой сандомирским, Юрием Мнишеком. Он же был старостой самборским и львовским и первым сановником всей этой области. Мнишек был представителем рода, вышедшего из Чехии, но вполне акклиматизировавшегося в Польше: здесь Мнишеки породнились с самыми знатными фамилиями королевства.

Два брата, Николай и Юрий, были притчей во языцех в той скандальной хронике, которая относится к последним и самым несчастным годам короля Сигизмунда-Августа. Их имена были тесно связаны с эпохой «соколов», как называл злополучный король своих фавориток. Преждевременно состарившийся, истощенный и пресыщенный, сын Боны Сфорца пережил самого себя, пережил свою глубокую привязанность к Варваре Радзивилл; томимый тоской, он искал забвения в самых низменных утехах. Братья Мнишеки, по некоторым сведениям, играли при несчастном короле гнусную роль сводников. Они были своего рода Лебелями при этом польском Людовике XV; их трудами была раздобыта та красавица, сомнительный блеск которой озарил последние темные дни Сигизмунда-Августа. Как известно, этот король умер, почти всеми заброшенный. При этом из дворца исчезли все его сокровища — серебро, утварь, драгоценности. Молва обвинила Мнишеков в том, что они организовали подобный грабеж: разумеется, им досталась при этом львиная доля. В 1572 году Оржельский сформулировал это обвинение прямо с трибуны сейма. Конечно, это вызвало величайшую сенсацию во всей стране.

Справедливость требует отметить, впрочем, что в том же собрании у Мнишеков оказались и защитники. Правда, они оправдывали их тем, что кроме них поживились и другие; однако нашлись и более искусные адвокаты вельможных братьев. Мало-помалу партия Мнишеков все усиливалась: наконец, она приобрела такое влияние, что королева Анна Ягеллон, сестра покойного Сигизмунда и наследница его состояния, не решилась возбуждать против братьев судебное дело. Таким образом, деятельность этих лиц ускользнула от официального расследования, и все это осталось в истории совершенно невыясненным вопросом. Конечно, отсюда было еще очень далеко до формального оправдания обоих братьев, совершенно иное значение мог бы иметь настоящий оправдательный приговор. Но, быть может, вообще было напрасной надеждой раскрыть все подробности этого темного и хищнического дела.

Итак, трудно решить с уверенностью, было ли прошлое Мнишека запятнано, или, напротив, совершенно безупречно. Несомненно лишь одно, что староста самборский ничем уже не напоминал придворного эпохи Сигизмунда II. С некоторых пор о нем почти ничего не было слышно. Затем, благодаря своим родственным связям, ему удалось добиться старостии. Юрий Мнишек был женат на Ядвиге Тарло и был отцом многочисленного потомства. Поселившись в Червонной Руси, он лишь изредка показывался при дворе. Чем же был он занят? Он управлял королевскими домэнами, старался укрепить свое расстроенное здоровье и все более и более предавался религии.

Собор в Бресте едва успел закончиться. Уния с Римом была закреплена в его протоколах и подтверждена торжественной клятвой епископов. Но в массу народную она еще не успела проникнуть: напротив,

здесь она встречала целый ряд препятствий. По свидетельству Рангони, Мнишек являлся одним из самых горячих пропагандистов унии; при этом в свою деятельность он вносил не только рвение, но и несомненную ловкость. В Самборе он заинтересовался вопросом о народном образовании и при содействии доминиканцев и бернардинцев старался поднять духовный уровень местного населения. В архиве этого города можно найти некоторые следы его энергичной просветительной работы. Вообще, Юрий Мнишек охотно дружил с белым и черным духовенством; наибольшими его симпатиями пользовались отцы бернардинцы. В летописях этого ордена ему посвящено немало страниц, полных признательности: под покровом риторических похвал в его адрес здесь слышится живое и искреннее чувство. Благочестивые летописцы называют Юрия Мнишека несравненной личностью; они наделяют его всеми добродетелями; по их словам, потомство всегда будет с любовью хранить его имя, ибо он святым усердием своим превосходит других и, быть может, никогда не будет превзойден никем. Между прочим, имя Юрия Мнишека начертано золотыми буквами в церкви св. Андрея Львовского: здесь оно красуется на плите из красного мрамора, на которую попадали лишь самые избранные благотворители. Рука неведомого живописца изобразила черты лица Юрия Мнишека на полотне: этот портрет, напоминающий гравюру Луки Килиана, хранится в ризнице упомянутой церкви. Что касается самборского монастыря, этой руины, относившейся еще к XI веку, то Мнишек, можно сказать, явился как бы вторым его основателем; он наделил его щедрыми пожертвованиями, реставрировал его здания и обнес стеной. В течение долгих лет все доходы из имения Мнишка, называвшегося Поляной, шли исключительно на нужды этой обители, причем личные денежные

затруднения воеводы нисколько не отражались на столь широкой его благотворительности. Когда возникла мысль о реформе бернардинских монастырей в Польше, Юрий Мнишек явился их заступником перед римской курией: эту защиту он вел с таким успехом, что в конце концов выиграл дело. 13 января 1603 года его дочь, Урсула, венчалась с князем Константином Вишневецким в церкви бенедиктинского капитула, в Самборе; тем же самым монахам воевода завещал хранить, по его смерти, бренный его прах.

Щедрая благотворительность Мнишека тем более достойна внимания, что его собственные материальные дела складывались из рук вон плохо. Бюджет польского сенатора всегда был обременен чрезмерными расходами. Сановнику такого ранга волей-неволей приходилось жить широко и гостеприимно. Он должен был содержать при себе чуть ли не целую армию, устраивать пышные охоты и роскошные праздники. Все это постоянно требовало весьма крупных затрат. Супруга воеводы точно так же старалась не уронить своего высокого звания. Дом ее был поставлен на самую широкую ногу; повсюду ее сопровождала огромная свита слуг. Недаром жаловались на нее горожане: нередко им приходилось принимать к себе на постой казаков и гайдуков, не находивших места в замке. Мнишек всячески старался увеличить свои доходы. Он заботился о развитии торговли, энергично содействовал росту местной промышленности... Все было напрасно: ему никак не удавалось выбиться из своей нужды. Некоторые письма его к королю, хранящиеся в московском и краковских архивах, ясно изображают нам эти ужасные денежные затруднения. Мы видим, что Мнишек полон самого искреннего служебного рвения. Однако он вечно задерживает платежи, не может представить вовремя суммы, принадлежащие королю; постоянно

красный от стыда, он просит государя об отсрочках и льготах всякого рода. 1603 год был особенно несчастным в этом отношении. Недоимки превзошли всякую меру; король потерял терпение... В один прекрасный день в Самбор явились судебные чиновники и начали угрожать воеводе наложением секвестра на его имущество. Это значило разорить Мнишека и покрыть его позором. Как избежать такого исхода? 29 июня Мнишек обратился к королю с письмом, полным верноподданнической покорности; однако одновременно с этим он поспешил продать одно из своих имений. Впрочем, дело как-то уладилось. Имущество Мнишека избегло описи, и 18 сентября неисправимый воевода опять уже просит у короля отсрочить на год представление королевских сборов ввиду совершенной его несостоятельности... Словом, мы видим перед собой разорившегося вельможу, настроенного на самый благочестивый лад и ищущего всяких средств для поправления своих материальных дел.

Как мы увидим вскоре, Дмитрий явился в дом Мнишека как нельзя более кстати. Некоторые утверждают, что прибытие царевича в Самбор было чистой случайностью: он просто будто бы заехал сюда по пути в Краков. Но вряд ли можно принять такое объяснение. В этой «случайности» ясно чувствуется некий расчет; истинный смысл ее угадывается без всяких затруднений.

В этот важный момент на сцену выступает новое лицо. Это был двоюродный брат князя Адама, Константин Вишневецкий. Еще в ноябре 1603 года Сигизмунд приказал доставить Дмитрия к себе, в Краков. Князь Адам почему-то медлил выполнить королевское повеление: ему и пришлось поплатиться за это. Царевич чувствовал себя уже достаточно сильным для того, чтобы действовать самостоятельно. Невзирая на

сетования князя, он выехал из Брагима и спустя некоторое время был уже вместе с князем Константином. Это был решительный шаг. Дмитрий не только избрал себе другое место жительства; нет, в его глазах произошла известная эволюция... Мы помним, какова была первоначальная идея царевича, подвергшаяся столь жестокой критике со стороны короля. Нельзя не признать, что было как-то слишком по-русски мечтать о составлении войска из казаков и татар и о походе с ними на Москву. Мало-помалу Дмитрий сам вынужден был признать, что без поляков ему не ступить ни шагу. Поэтому он и решил, по возможности, сблизиться с ними. Князь Константин Вишневецкий мог открыть ему доступ в эту среду. Его общественное положение как нельзя лучше соответствовало такой задаче. Он был католиком; жена его была полячка; в доме его жила свояченица-невестка, а в сенате заседал его тесть, которого также можно было привлечь к делу.

Дмитрия приняли в Самборе как настоящего царевича: ему были оказаны все почести, соответственные заявленным им правам. Затем претендент на московский престол выдержал целый ряд атак: он отступил по всей линии, но капитуляция его была вполне сознательной и добровольной. Мы не можем с точностью определить время его прибытия в Самбор; мы даже не знаем достоверно, расследовал ли Мнишек, как нужно, происхождение «царевича». Отметим лишь, что один из слуг дома Мнишека, взятый когда-то в плен в Пскове, дал показание в пользу Дмитрия. Атмосфера самборского замка скоро оказала свое влияние на вновь прибывшего гостя. Дмитрий отличался горячей, страстной, впечатлительной натурой; не будучи пророком, можно было предвидеть заранее, что русский Самсон найдет свою Далилу. По сравнению с женщинами своей родины с их неуклюжими фигурами и грубыми ух-

ватками, изящные и грациозные польки должны были показаться царевичу сонмом каких-то волшебных видений. Не прошло и нескольких дней, как он был уже безумно влюблен в одну из дочерей воеводы. Вполне возможно, что его выбор был сделан не случайно: чья-то рука направляла его и здесь; но ведь так часто любовь и расчет уживаются в согласии... Нужно вспомнить внешность прелестной польки, запечатленную для нас кистью неизвестного художника; нужно воскресить перед своими глазами выражение ее лица, его изящные линии, безукоризненную чистоту его овала, ее чарующий взгляд; тогда мы легко поймем ту любовь, которую внушила она молодому и пылкому царевичу[1]. Спрашивается, однако, — чувствовала ли она сама к своему избраннику ту таинственную симпатию, которая служит залогом счастья? Или же прельстил юную польку блеск царской короны? Марина никому не открыла своей девической тайны; таким образом, каждый волен думать о ней что угодно. Казалось, однако, что невесте Дмитрия судьба предназначала менее блистательный, но зато более спокойный удел. По-видимому, удалившись от двора, Юрий Мнишек старался дать своим дочерям воспитание в духе христианского благочестия. Одна из них прямо из отцовского замка переселилась в кармелитский монастырь: значит, хорошую школу она прошла! Марина еще совсем не знала света. Она мирно дремала, как спящая царевна, убаюканная песней родимых лесов Самбора; часто молилась она в церкви; друзья ее отца, бернардинцы, были и ее друзьями. Она росла на их глазах; они пеклись о ее душе, — и узы, связывавшие с ними, существовали до самой ее смерти. В тот день, когда Дмитрий предложил

[1] Лучший портрет Марины найден в замке Вишневец, он находится в Московском Историческом музее.

Марине свою руку и сердце, — а это было сделано в первый приезд его в Самбор, — судьба молодой девушки была решена навеки. Прощай, родимый кров! Перед спутницей царевича открывалось темное будущее. Впоследствии обнаружилось, что в робкой девочке созревала героиня битв, что в нежной груди Марины билось сердце мужа, а стройную талию ее как нельзя лучше облегали воинские доспехи... Впрочем, Мнишек, во что бы то ни стало, желал соблюсти формы и не нарушить приличий, принятых в его кругу. Он притворился крайне изумленным и отложил свой ответ до того времени, как Дмитрий съездит в Краков и будет принят королем. Делая свое предложение, царевич, конечно, сильно сомневался, чтобы воевода выдал свою дочь за православного. Тем не менее он не пожелал отступить перед этим препятствием. Очевидно, он считал себя уже достаточно сильным, чтобы его преодолеть.

Действительно, одновременно со сватовством Дмитрия к Марине возник и религиозный вопрос. Впоследствии Мнишек охотно возвращался к этому предмету. Между прочим, в письме к Павлу V от 12 ноября 1605 года он говорит по этому поводу вполне откровенно. По его словам, он пожалел душу Дмитрия. Он видел в царевиче злополучную жертву заблуждений. Он убедился, что молодой человек коснеет в неправде. Тогда он решил открыть глазам грешника свет истины. И вот против Дмитрия организуется целая кампания, — скорее, составляется благочестивый заговор. На помощь своему делу Мнишек привлек аббата Помаского и отца Анзеринуса [1]. Они условились обо всем, распределили между собой роли и энергично приступили к выполнению своего замысла. Обязанность застрельщи-

[1] Анзеринус — латинизированное имя Ginsior или Gonsiorek.

ка принял на себя Помаский. Состоя священником в Самборе, будучи капелланом и секретарем королевского двора, он совмещал в своем лице несколько званий и ежедневно бывал в замке. Правила света ему были отлично известны: речь его текла свободно, и вообще он пользовался репутацией человека, против которого трудно устоять. Может быть, в сношениях с Дмитрием утонченный аббат несколько и злоупотребил своими данными обольстителя: во всяком случае, царевич почему-то подсмеивался над ним. Совершенно иную фигуру представлял собой отец Анзеринус: недаром звали его «Замойским ордена бернардинцев». Пребывание за границей не прошло для него бесследно: его считали глубоким знатоком богословских наук и искусным администратором. Он сам преподавал теологию; благодаря ему было реформировано учебное дело в ордене; он же явился основателем нескольких новых монастырей. В кампании против Дмитрия ему принадлежала роль главнокомандующего, который дает знак к наступлению и руководит боем в решительную минуту. Мнишек играл роль необходимого резерва: он действовал главным образом аргументами практического свойства. Излюбленной темой его бесед с Дмитрием было восхваление бернардинцев. Что это за люди! Как они выдержаны, как осторожны, как чиста вся их жизнь! «Откуда же все эти добродетели?» — спрашивал он в заключение. И сам отвечал: «Очевидно, эти люди владеют высшей истиной». Разумеется, Дмитрий не мог устоять перед этим тройственным союзом. Его собственный запас богословских знаний был не слишком тяжеловесен; диалектическое искусство, столь необходимое во всяких диспутах, ему давалось с трудом; из монастырей православных он не вынес ничего, кроме самых неприятных воспоминаний. Что оставалось предпринять ему в столь затруднительном

положении? Дмитрий постарался занять наименее обязывающую позицию. Он никому не отвечал решительным отказом; но, с другой стороны, он не спешил и отречься от православия; он только давал понять, что все, наверное, разрешится к общему удовлетворению. Впоследствии, в ответ на донесение Рангони, папа Павел V выражал свое благоволение Помаскому по поводу победы, одержанной над Дмитрием. Со своей стороны, Мнишек высказывал убеждение, что главная заслуга в этом принадлежит бернардинцам. Они-де живым примером своим наставили Дмитрия на путь истинный и подготовили его обращение в католицизм.

Но это было впоследствии. Пока же все дело находилось в начальной стадии. Отречение от православия зависело только от самого царевича; брак с Мариной должен был явиться завершением целого ряда конкретных его успехов. Таким образом, та и другая сторона сохраняли за собой полную свободу действий. Вскоре, однако, по прибытии в Краков, воевода сандомирский заявит себя открыто покровителем царевича; он представит его сенаторам и королю; он явится главной его опорой. Очевидно, все это было решено заранее. Вероятно, вся тактика сторон диктовалась внушениями сандомирского воеводы. Можно думать, что от него же зависели и те изменения, которые внесены были в первоначальную программу Дмитрия.

В самом деле, нельзя не отметить того разительного контраста, который вскрывается при сравнении дерзких замыслов брагимского претендента с хитроумными комбинациями Дмитрия в Самборе. Знакомясь с этими последними, ясно чувствуешь, что к делу подошел опытный человек. Он отлично учитывает все данные условия; его взглядам нельзя отказать в известной широте. Теперь дело идет уже не о простом набеге на московские земли с наемными бандами казаков и

татар. Нет, отныне задачей Самозванца является правильная военная кампания. Она предполагает активное участие польских добровольцев при молчаливом потворстве короля. Предприятие Дмитрия утрачивает характер грубого домогательства необычных прав. Напротив, оно уже тщательно мотивируется: руководители его стараются представить свое дело возможно более приемлемым для всех заинтересованных лиц; они не без успеха пытаются согласовать его с требованиями общеевропейской политики. Они подчеркивают те выгоды, которые проистекают из него для польского королевства и для всего христианского мира. Русское государство, возродившееся для новой жизни и связанное тесными узами с Западом, может послужить несокрушимым оплотом в борьбе против турок. Может ли это остаться безразличным для европейских государей и римских пап? Нет, несомненно они должны поддержать дело царевича Дмитрия. Словом, в этой новой программе чувствуется крепкая внутренняя связь всех частей: авторы ее знают, чего они хотят, и избирают верный путь к своей цели... По приезде в Краков, Дмитрий, как хороший ученик, уверенно повторит перед королем затверженный урок. Но заучивался этот урок еще в Самборе: здесь были истинные вдохновители Самозванца.

Откладывать дальше отбытие царевича в Краков было невозможно. Достаточно уже медлили с этим делом до тех пор. Между тем великий канцлер и великий гетман Польши Замойский усиленно добивался случая свидеться с Дмитрием до приезда его ко двору. Деятельность «господарчика», как называл он царевича, казалась ему несколько подозрительной; личность этого странного претендента на московский престол не внушала ему никакого доверия. Тонкий знаток людей, Замойский, быть может, проник бы своим орлиным

взглядом в самые сокровенные глубины этой темной души; как безжалостная сталь, он вскрыл бы все тайные ее изгибы. Однако в Самборе отлично поняли истинный смысл любезных домогательств великого гетмана, и ему пришлось отказаться от своей психологической экспертизы. В первых числах марта 1604 года, в сопровождении воеводы Мнишека и князя Константина Вишневецкого, Дмитрий направился прямо в Краков.

# Глава III

# ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ВЕРЫ 1601 г.

## I

Государственный строй Польши был сочетанием двух противоположных начал: во главе республики стоял король. Вот почему нигде, быть может, за исключением лишь Венеции с ее дожами, верховная власть не была подчинена более ревнивому надзору; нигде она не была обставлена более стеснительными условиями. Лишь только возникал сколько-нибудь значительный вопрос государственной жизни, немедленно о нем запрашивались сенаторы, все равно, присутствовали они в столице или нет. Устно или письменно сенаторы высказывали свое мнение; с ним короне приходилось так или иначе считаться. В противном случае надо было ждать неминуемой бури при открытии сейма.

Появление Дмитрия в Польше вызвало бесконечные разговоры и обширную переписку, следы которой уцелели доныне; оно же заставило правительство принять целый ряд административных мер. В деле Самозванца король различал две стороны. Во-первых, он видел в нем чисто политический вопрос; во-вторых, оно

волновало его и как религиозная проблема. Сохранилось циркулярное послание Сигизмунда к сенаторам от февраля 1604 года. Этот документ отлично изображает душевное состояние короля и ясно рисует перед нами мучившие его сомнения.

Начать с того, что происхождение Дмитрия все еще было покрыто тайной. Правда, донесение Вишневецкого, свидетельство Ливонца, показания русских людей и некоторых разведчиков успели уже повлиять кое на кого. Однако, к чести короля, нужно отметить, что сам он меньше всего довольствовался подобными данными. Таким образом, ему приходилось оперировать одними лишь гипотезами и обсуждать вопрос условно.

Конечно, помочь московскому царевичу воссесть на наследственном престоле — это значило положить основу почти химерическому союзу двух великих славянских народов. Но Сигизмунд, видимо, не хочет останавливаться на этом вопросе. Перед ним носились другие, более соблазнительные видения. Его взор неотступно влекла к себе Венеция северных вод; там, за морскими волнами, его манила блеском своим отеческая корона... Вспоминал Сигизмунд и о Ливонии, приобретенной еще при Батории польским мечом и обильно орошенной кровью польских воителей. Вот с какой стороны интересовали Сигизмунда московские дела. Установив операционную базу в Кремле, можно было вернее всего обеспечить себе военные успехи в Швеции и на берегах Балтийского моря. Правда, можно было предвидеть, что Дмитрию не удастся без сопротивления достигнуть Москвы. В таком случае Польше надо было готовиться к войне со всеми ее жертвами; при этом пришлось бы, вероятно, считаться с неудовольствием сейма, который всегда оказывался в оппозиции, если нужно было пожертвовать деньгами или кровью.

Итак, Сигизмунду волей-неволей приходилось колебаться между доводами и против союза с Дмитрием. В довершение всего, его постоянно смущал страх перед клятвопреступлением, мысль о котором терзала его душу укорами совести. Так или иначе, перемирие с Борисом Годуновым заключено было Польшей на целых 20 лет. Договор этот был торжественно скреплен подписью и клятвой сторон. Поддержать Дмитрия — не значило ли нарушить договор? Не значило ли это изменить священной присяге? Совесть короля не давала ему покоя. Изнемогая в борьбе с самим собой, Сигизмунд хотел было обратиться за помощью к иезуитам, которых он намеревался собрать под председательством Рангони. Он надеялся, что они объявят договор с Годуновым недействительным и признают Дмитрия истинным сыном Ивана IV. Но Рангони отклонил от себя подобную честь и отсоветовал королю прибегать к такому средству. Король оказался предоставленным самому себе. Теперь ему приходилось обращаться лишь к своим обычным советникам.

Мнения государственных людей Польши разделились. Одни категорически высказывались против экспедиции Дмитрия. Они протестовали против вовлечения Речи Посполитой в эту авантюру. Их доводам нельзя было отказать в убедительности. Вся история «царевича», как он сам ее передавал, казалась им слишком малоправдоподобной. Они настаивали на соблюдении договора с Годуновым; напоминали о клятвах, принесенных от лица всей нации польской; ссылались на традиции международного права и на требования нравственного долга. Но и помимо всех этих соображений, они находили, что момент для столь важного предприятия выбран крайне неудачно. Экспедиция Дмитрия явится, быть может, поводом к целому ряду других войн... А между тем финансовое положение государства

все ухудшается, и недовольство правительством возрастает с каждым днем.

Канцлеры польский и литовский, т. е. Замойский и Сапега, были на стороне этого благоразумного мнения. Впрочем, как мы увидим впоследствии, каждый из них подходил к нему с особой стороны. Лучшие полководцы Польши Жолкеевский и Ходкевич, такие государственные деятели, как Гослицкий, епископ позенский, также примыкали к этому взгляду. Потулицкий высказался в этом смысле в своем письме с полнейшей искренностью. Епископ плоцкий — Барановский, ознакомившись с донесением Вишневецкого, дал полную волю своему скептицизму. «Этот *князик* московский, — писал он королю 6 марта 1604 года, — положительно внушает мне подозрения. Имеются кое-какие данные в его биографии, которые не заслуживают, очевидно, веры. Как это мать не узнала тела собственного сына? Как и почему, по внушению царя, могли убить тридцать других детей? Наконец, каким это образом мог монах, никогда не видавший Дмитрия, признать в нем царевича по одной его внешности?» Епископ не придавал никакого значения свидетельству шпионов и ливонца. Он ссылался на валашских авантюристов и на Лже-себастьяна португальского, и серьезно предостерегал короля, приводя латинский текст из писания: Qui cito credit, — говорил он, — leris est corde. Ему казалось совершенно необходимым, чтобы сенаторы, пользовавшиеся репутацией верности и осмотрительности, подвергли Дмитрия «тщательному и искусному» опросу. С этой целью он прилагал к своему письму ряд подробных пунктов. Его недоверие простиралось еще дальше: для того чтобы Дмитрий не мог убежать к казакам, он предлагал установить за ним бдительный надзор. Будучи безусловным приверженцем мира, Барановский заключал таким образом: даже в том случае,

если история претендента представляет собой сущую правду, лучше держаться от него подальше. Зачем подвергать себя опасности дорогостоящей войны? Речь Посполитая собирает мало налогов, а ей предстоит решить в Швеции и Пруссии слишком много неотложных вопросов.

Но не все сенаторы обладали подобной широтой взгляда и столь щепетильной совестью. Их ослепляла возможность успеха, казавшегося им верным и легко достижимым. Они по-своему понимали верность договорам. Краковский воевода, Николай Зебжидовский, был самым ярым противником мнения, стоявшего за полное невмешательство [1].

По его словам, претендент является настоящим сыном Ивана IV. А если бы он и не был таковым — все же есть законное основание считать его сыном Грозного. «Кроме того, — говорил воевода, — было бы слишком жаль упускать такой прекрасный случай. Надо им воспользоваться». Его мало стесняло перемирие с Борисом Годуновым, в его глазах оно не имело никакой силы. С одной стороны — Дмитрий единственный законный царь, а с другой — перемирие и не будет нарушено; король не пошлет своих войск, он только предоставит другим поле действия. Покончив таким образом с официальной стороной этого вопроса, воевода предлагал различные планы кампании. Он предлагал королю свои услуги для устройства в Ливонии диверсии с тремя тысячами конницы, причем одну треть ее брался поставить и содержать на свой счет. Он готов был пойти и дальше. Очевидно, ему хотелось ковать железо, пока горячо.

Нам кажется, что никто не превзошел краковского воеводы в макиавеллизме; может быть, даже никто и

[1] Писем Зебжидовского нет, мы узнаем его мнение из депеш Рангони.

не сравнялся с ним в этом отношении. Правда, другие сенаторы во главе с Яном Тарновским, гнезенским епископом, также не являлись противниками предприятия Дмитрия, но они подходили к вопросу с иной стороны и не давали таких определенных советов. Прибытие «царевича» в Польшу им казалось чем-то провиденциальным. Они смутно предугадывали, что это событие может иметь весьма серьезные последствия. Поэтому они предлагали отнестись к Дмитрию, как к истинному сыну Ивана IV. Им можно воспользоваться для устранения Годунова. Но необходимо продолжать расследования о его происхождении. Далее они рекомендовали два совершенно различных плана действий сообразно с тем, окажется ли Дмитрий настоящим царевичем или самозванцем. У Яна Остророга было свое особое мнение на этот счет: он предлагал назначить ему содержание и отправить в Рим, к папе.

Во всяком случае, большинство сенаторов высказывали свое мнение с большой горячностью. С этим следовало серьезно считаться: сановники не прочь были формально обсудить вопрос; окончательное же его решение они совершенно определенно возлагали на сейм, т. е. на народное представительство. Но и в этом случае, по той или иной формулировке мнений, мы можем судить и о политическом настроении сенаторов. Пускай, говорили одни, дело идет обычным путем. Другие же, как бы не доверяя королю, настойчиво требовали соблюдения законного порядка. Так как сейм был распущен, то они просили немедленного созыва всех польских и литовских сенаторов на чрезвычайную сессию: их как бы тревожило тайное предчувствие серьезных осложнений, которые могли возникнуть.

Сенаторские письма пришли в Вавельский замок в первой половине марта. Резкие или уступчивые, они ничуть не помогли королю разобраться в сущности

вопроса. Но эта корреспонденция оказалась чрезвычайно выгодной для Дмитрия. Его имя облетело всю Польшу; всюду рассказывалась его история; права его на царство подвергались самому серьезному обсуждению. Общественный интерес к Дмитрию был возбужден до крайней степени, когда он прибыл в столицу с двумя своими спутниками. Дмитрий не обманул всеобщих ожиданий. Внешность говорила в его пользу; он держался смело и самоуверенно. Покровители «царевича» окружили его известным блеском, предоставив ему роскошное помещение в доме Мнишека и приставив к нему свиту человек в тридцать. Находившиеся при нем русские люди клялись, что он их царь, а из Москвы получали ободряющие письма. Иван Порошин привел из глубины России новых ополченцев, а донские казаки отрядили к «царевичу» двух атаманов с предложением своих услуг. Магнаты гостеприимно открыли ему свои двери; при появлении его на улице толпа теснилась на его пути...

В Кракове общественное мнение было почти всецело на его стороне. Мнишек нашел, что наступило время действовать. Около 13 марта он устраивает парадный банкет. Приглашенными являются его коллеги-сенаторы и придворная знать; он упрашивает и нунция быть в числе гостей. Дмитрий являлся героем этого празднества; но он намеренно подчеркивал свое инкогнито — может быть, ввиду скептицизма некоторых сенаторов. Рангони пришлось быть в одной зале с ним, хотя и за другим столом. Это дало возможность итальянскому дипломату свободно наблюдать за таинственным претендентом. Вот как он излагает свои первые впечатления о нем: «Дмитрий, — пишет он, — имеет вид хорошо воспитанного молодого человека; он смугл лицом, и очень большое пятно заметно у него на носу, вровень с правым глазом; его тонкие и белые руки

указывают на благородство происхождения; его разговор смел; в его походке и манерах есть действительно нечто величественное». Впоследствии, когда нунций ближе узнал Дмитрия, он прибавляет следующие подробности: «Дмитрию на вид около двадцати четырех лет. Он безбород, обладает чрезвычайно живым умом, очень красноречив; у него сдержанные манеры, он склонен к изучению литературы, необыкновенно скромен и скрытен». Большинство современников, хотя, впрочем, довольно неопределенно, указывают на эти же внешние его черты.

Вскоре после банкета, 15 марта, Дмитрий был принят королем в частной аудиенции. Четыре сановника находились при монархе. Никогда еще Вавельский замок не был свидетелем такой странной сцены: сомнительный Рюрикович прибегал к помощи потомка Вазы. Польский король намеревался вернуть Москве ее настоящего, но не признанного царя. Дмитрий явился с приготовленной заранее речью; для вступления к ней он воспользовался легендой Геродота. Некогда сыну Креза вернулась способность речи: это случилось при взятии Сард, когда он увидел, что перс грозит жизни его отца. Страшное напряжение дало ему силу произнести следующие слова: «Воин, не убивай Лидийского царя». Дмитрий не нашел ничего лучшего, как сравнить себя с царевичем, к которому таким чудесным образом вернулось слово. И он, немой поневоле, долго хранил молчание. Но он видит несчастья своей страны и страдания своего народа; он видит поруганный трон и дерзко похищенную корону, и к нему возвращается голос, чтобы взывать о помощи перед королем Польши. Он просит его великодушного заступничества. Им пользовались и другие: это вошло в традиции Польши. Затем шел набор громких или благочестивых слов. Дмитрий говорил о вечной признательности и об

уповании на господа, о великой важности его дела для Речи Посполитой и о пользе всего христианского мира. Эти отдаленные намеки были прекрасно поняты; но не настало еще время высказаться более определенно. Поэтому вице-канцлер Тылицкий, говоривший от имени короля, и не пошел дальше общих мест и условных формул.

Несмотря на свою видимую незначительность, аудиенция 15 марта явилась в карьере Дмитрия важным моментом. Здесь король определил свое дальнейшее отношение к Самозванцу. Политика, которой стал следовать Сигизмунд, была крайне двулична, неустойчива, неискренна и лишена всякого благородства. Официально, перед лицом нации, король старался выказать себя неусыпным стражем интересов государства и честным блюстителем мира с Москвой. Так же он держался и по отношению к Борису Годунову; он уверял его, что ни на одну йоту не будет нарушен договор с Сапегой. Но за кулисами дело шло иным путем. Король милостиво относился к Дмитрию, заклятому врагу Годунова, мечтавшему о войне с Борисом. После аудиенции «царевич» был осыпан подарками в виде драгоценных тканей и звонкой монеты. Он получил золотую цепь с портретом короля; ему было назначено содержание в четыре тысячи флоринов из самборской казны; часть его расходов во время пребывания в Кракове Сигизмунд брал на себя. Депеши Рангони настойчиво и неоднократно указывают на превосходное отношение к Дмитрию со стороны короля. Скоро мы услышим, как сам Сигизмунд будет говорить о своем благоволении и милостях к «царевичу». Может быть, под личиной подобной политики Сигизмунд надеялся избегнуть всяких нареканий и угодить всем. Сомнительное происхождение Дмитрия, казалось, оправдывало полумеры и компромиссы короля. На самом

же деле Сигизмунд брал на себя перед лицом нации и истории весьма тяжелую личную ответственность. Сенаторы высказали ему свое мнение; он не стал с ним считаться. Он не только не торопился с созывом сейма, но вступил с Дмитрием в тайные сношения. Нечего и говорить, что с этой стороны дело шло прекрасно. Здесь нельзя было ожидать ни малейших трений, так как обещания Дмитрия далеко превосходили требовательность короля. Несмотря на окружавшую эти сношения таинственность, Рангони удалось познакомиться с условиями взаимного соглашения сторон. Для Дмитрия они были довольно тяжелы. Немедленно по утверждении своем на престоле он обязывался доставить королю средства для борьбы со Швецией; в случае необходимости, он сам встанет во главе войска и лично отправится в Стокгольм творить суд и расправу. Кроме того, он обещал не уступить, а вернуть Литве Северную землю, как часть ее национальных владений. Этот возврат произойдет без всяких осложнений, по-дружески, так как Москва и Польша заключат вечный мир. Таким образом, Сигизмунд приобретал союзника и получал область, не истратив ни одной копейки и ни одного заряда. Каковы же были, однако, желания самого Дмитрия? Он хотел, чтобы к нему был прикомандирован сенатор; однако пусть предоставят ему свободу действий и сквозь пальцы смотрят на его приготовления, а он уже сам столкуется с казаками; да и польские добровольцы откликнутся на его призыв. До смешного неравномерный договор этот был уже, отчасти, приведен в исполнение. Дмитрию были всячески облегчены приготовления к кампании. Впоследствии мы увидим, что его наивные обещания были положены в основу дипломатических наказов.

Нельзя отрицать, что политика короля имела в виду, прежде всего, утилитарную цель. Чтобы не уклонить-

ся от нее, Сигизмунд стал в оппозицию к большинству своего совета. Но не было ли за ним кого-нибудь, кто поддерживал бы его в подобной решимости? При дворе не было недостатка в тайных влияниях. Уверяли, что Сигизмунд подчиняется иезуитам. Один из них, отец Барч, состоял его духовником. Это был человек опытный и самоотверженный; он умер потом, в 1609 г., ухаживая за больными при осаде Смоленска. Во всяком случае, если на короля и направлялось какое-либо постороннее влияние, то оно не оставило никаких документальных следов; судить о нем мы можем лишь исходя из соображений нравственного свойства. Но было нечто другое, чего Сигизмунд никогда не упускал из виду. Это также касалось московских дел, и с ним очень приходилось считаться. Дмитрий не скрывал своих симпатий к католицизму. Он являлся таким податливым, что можно было надеяться на все... Царь-католик на московском троне — какая чреватая надеждами будущность! И во время своего пребывания в Кракове прежний последователь Ария превращался в неофита римской церкви.

## II

Отречение Дмитрия от веры как бы носилось в окружающей его атмосфере. Среди поляков православный не мог чувствовать себя вполне хорошо. Было нечто, мешавшее Дмитрию окончательно слиться с этой средой. При наличии такой помехи было очень трудно, если не совсем невозможно, действовать с ней сообща. Эта сторона вопроса не ускользнула от покровителей Дмитрия. Конечно, они вполне понимали всю ее важность.

Дмитрий Самозванец

Лишь только Дмитрий успел прибыть в Краков, как Мацейовский, епископ краковский, приходившийся двоюродным братом Мнишеку и пользовавшийся немалым влиянием, вручил «царевичу» книгу о соединении церквей. Но этот робкий шаг не имел дальнейших последствий. Рангони говорит, что главная роль в начатом деле выпала на долю Николая Зебжидовского: ему удалось быстро довести его до конца. Краковский воевода, которого мы скоро увидим в роли главы «рокоша», был человек беспокойный. Но у него были твердая рука, верный глаз и определенные убеждения. Он хотел сделать «царевича» политическим орудием Польши, не слишком вникая в его происхождение. Но для этого было необходимо как можно теснее связать его с поляками. Мнишек был того же мнения; поэтому оба воеводы соединили свои усилия.

Со своей стороны, Дмитрий оказывался весьма податливым. Ему как будто хотелось скорее воспользоваться его уступчивостью. Он продолжал придерживаться прежней своей системы, которая сослужила ему такую службу в Самборе. Он то обнаруживал скромность, то, напротив, действовал демонстративно. В порыве благочестия он дал обет отправиться пешком, как подобает паломнику, в Ченстохово, на поклонение знаменитейшей польской святыне. Пришлось употребить мягкое насилие, чтобы заставить его отказаться от этого компрометирующего шага. Но он продолжал выражать чувства преданности и восхищения перед латинством. Он собирался воздвигнуть в Москве католические храмы. Он благоговел перед папой, смирился перед нунцием, с которым мечтал увидеться. Ничто из этого не ускользало от краковского воеводы, зорко наблюдавшего за новообращенным. Видя благие намерения Дмитрия, он счел своей обязанностью просветить и наставить его: для этого нужно было свести

«царевича» с папским нунцием. Без дальнейших промедлений назначили первое свидание на 19 марта.

До этих пор Рангони сохранял полнейший нейтралитет. Он не высказывался в пользу Дмитрия; но зато не осуждал и его противников. При дворе он говорил с такой сдержанностью, что ни та, ни другая сторона не могла ни быть к нему в претензии, ни опереться на его авторитет. Но все же его римские депеши указывают, что он склонен был поддаться оптимизму. Это становится особенно ясным после свидания 19 марта. Очевидно, Дмитрий сумел склонить нунция на свою сторону. Он очень кстати коснулся высоких материй: из его речи можно было вывести больше того, что она в себе заключала. В смысле самой утонченной любезности, его обращение не оставляло желать ничего. Даже столь строгий судья, как римский дипломат, остался доволен. «Царевич» называет папу «великолепным отцом, вселенским пастырем, защитником угнетенных». Дмитрий еще раз повторил свою историю, называя себя бедным беглецом, отверженным и гонимым. Да поможет ему папа молитвой перед Богом и сильным своим заступничеством перед королем. Он кончил свою речь такими словами: «Польша не будет в убытке, если вернет мне отцовский престол. Мое воцарение будет сигналом для крестового похода против турок». Вот поистине пароянская стрела, хотя и довольно безобидного свойства!.. Однако Рангони был сражен ею: он счел эти слова за программу дальнейших действий. Он сам охотно бы ее принял; но пока он предпочел дать неопределенный и уклончивый ответ.

В тот же день, в пятницу, Дмитрий, очень довольный своим разговором с нунцием, подвергся испытанию еще другого рода. Дело было как раз перед постом. Верующие переполняли церкви. Раздавались великолепные проповеди. Не отставая от других, «царевич»

слушал поучения у бернардинцев и в других местах. В одной оратории его ожидало потрясающее зрелище. «Царевича» ввели туда как раз в тот момент, когда братия с воплями предавалась самобичеванию. Аскетического вида монах взошел на кафедру и бросил в аудиторию несколько зажигательных слов... По условному знаку потухли огни; присутствующие вооружились бичами, обнажили свои плечи и под раздирающие звуки Miserere стали наносить себе жестокие удары. За этим символом страшного суда последовало изображение триумфа: раздался радостный гимн, зазвучала нежная музыка; засияло множество огней и двинулась процессия со святыми дарами. Народу было больше обыкновенного: все знали, что будет Дмитрий. Всем хотелось его видеть. Между бичующими он выдавался своим серьезным, сосредоточенным видом: он держал себя безукоризненно. Затем, со свечой в руках, он присоединился к процессии. Он склонился до земли, принимая благословение. Присутствующие были тронуты его набожностью.

Теперь можно было подойти прямо к религиозному вопросу. По-видимому, только этого и хотели Мнишек и Зебжидовский. Зерно было брошено; оставалось собрать жатву. Для этого иезуиты входят или, вернее, вводятся в сношения с Дмитрием. Конечно, от них не укрылось его появление. Может быть, они знали о нем даже больше других от своих друзей, воевод. Но до сей поры они играли роль простых зрителей, не принимая никакого участия в деле. Нунций Рангони приписывает себе инициативу этого сближения. По словам Велевицкого, посредником явился самборский ксендз. Краков кишел бернардинцами. Зачем было отстранять их? Зачем обращаться к иезуитам? Может быть, их имя связывали с карьерой Дмитрия потому, что они пользовались милостью двора и влиянием в известных сферах.

Как бы то ни было, первый иезуит явился к «царевичу» лишь 31 марта 1604 года. Это был отец Савицкий, знаменитый богослов, модный духовник, человек светский; в то время он был настоятелем монастыря св. Варвары. Несомненно, он явился, чтобы говорить о перемене веры; Дмитрий не мог не знать этого. Но оба чувствовали себя стесненными, и разговор ограничился простыми учтивостями. При следующем свидании Савицкий заикнулся о разведении церквей. Только этого и нужно было царевичу. Его обуревали сомнения; душевный мир его был нарушен. Он желал выяснить для себя окончательно эти насущные вопросы; и с согласия краковского воеводы сговорились назначить для этого специальную конференцию. Она должна была остаться тайной, чтобы не возбудить подозрений москвичей, окружавших Дмитрия и неусыпно за ним следивших. Зебжидовскому устроить это было нетрудно. 7 апреля Дмитрий отправился к нему. По местному обычаю, он оставил своих спутников за дверью и один вошел в кабинет хозяина. Там уже ждали его два иезуита, Савицкий и Гродзицкий. Они проникли в дом потайным ходом. Воевода, верный до конца своей роли инициатора, обратился к «царевичу» с советами. Пусть он говорит смело и лучше взвешивает ответы собеседников. Никто не посягнет на свободу его мыслей. Лучше всего, если сомнения будут окончательно рассеяны.

Дмитрий поблагодарил в кратких словах и немедленно приступил к делу. По-видимому, в Кракове он был экспансивнее, нежели в Самборе, и сумел лучше использовать свое положение. Его мысли не раз обращались к вопросам веры. Он обладал некоторыми догматическими познаниями. К удивлению иезуитов, он был осведомлен о заблуждениях ариан. Но в глубине души он оставался русским и православным, и его предрассудки

носили отпечаток монастырского происхождения. Подобные взгляды могли быть только у грамотеев, а вне монастырей грамотеев на Руси не существовало. Впрочем, Дмитрий высказал редкую деликатность в выборе своих возражений. Обыкновенно, в чем только не упрекали поганых латинян! Им вменялись в преступление и бритье бороды, и пост по пятницам; каждое нарушение обычая считалось страшной ересью. Сам Иван IV, несмотря на свой тонкий ум, не стал выше этого. Чтобы смутить своего противника, Антония Поссевина, он прибегал к самым нелепым аргументам. Дмитрий не пошел по этому пути: не останавливаясь на всяком вздоре, он прямо приступил к серьезным вопросам. Первое место было отведено Filioque; царевич пожелал познакомиться с римским учением об исхождении св. Духа. Затем перешли к причастию под одним видом. Эта форма церковного благочиния, вытекающая из собственной латинской литургии, всегда казалась недопустимой на православном Востоке. Но самый главный пункт — первосвященство папы и его право верховной юрисдикции — был выдвинут уже в конце беседы и подвергся долгому обсуждению. Никто не подумал записать подробности этого диспута. А между тем какой свет это могло бы бросить на духовный облик Дмитрия! Оба иезуита отзываются о нем, как о человеке умном и сдержанном. Он ясно выражал свои мысли и делал энергичные выпады, без ложного стыда признавал себя побежденным или хранил сосредоточенное молчание. Уходя, собеседники ему оставили две книги — трактат о папе и руководство к прениям о восточной вере. Дмитрий сам попросил возобновления этого диспута. Он не скрывал своего предпочтения к отцу Савицкому. Определенные ответы и ясные построения бывшего профессора богословия нравились ему больше, чем ученые рассуждения Гродзицкого.

Нетрудно было предвидеть, каков должен быть результат этих прений. Мнение неофита было составлено заранее, и он сам не скрывал этого в минуты откровенности. Каждое воскресенье он инкогнито отправлялся в часовню Вавельского замка, где после обедни можно было встретить всю дипломатию и высший свет. Таким образом, ему представлялся прекрасный случай для бесед с нунцием — без опасения, что это бросится в глаза москвичам. Дмитрий искал сближения с Рангони, пускался в откровенности... Как он умел заставить себя слушать, как искусно задевал самые чувствительные струны, каким казался уступчивым! Уже 4 апреля, т. е. за три дня до первого диспута с иезуитами, он спрашивает у Рангони совета относительно говения на Пасхе. Подобное усердие начинало казаться подозрительным, тем более что к благочестию всегда примешивалась политика, и соединение церквей было мыслимо только при участии государства. Однако нунций выказал большую снисходительность и, ловко отстраняясь от окончательного решения, предоставил иезуитам разбираться в тонких вопросах совести. Намек был ясен.

Прения, начавшиеся 7 апреля, были продолжены 15-го в монастыре бернардинцев; окончились они чрезвычайно скоро. Дмитрий любезно признал себя побежденным и, ввиду приближающегося праздника Пасхи, выразил желание вкусить причастия по обряду католической церкви. Таким образом, отречение его от православия, в принципе, было решено. Подробности были разработаны в собрании 16 апреля. Здесь присутствовали отец Петр Скарга, польский Бурдалу, и отец Барч, духовник короля. Эти имена указывают с достаточной ясностью на ту важность, которая придавалась событию. В сущности, представлялось только одно затруднение: каким бы образом сохранить в тайне, что царе-

вич готовится принять католичество? Он чувствовал сам и не стеснялся говорить открыто, что русские никогда не простят ему вероотступничества. Поэтому было очень важно, чтобы ничто не открылось раньше времени. Изобретательность краковского воеводы не остановилась перед этим. Вот, что он придумал.

Страстная неделя погрузила город в благочестие и в дела благотворения. Братья милосердия, в черных рясах и закрыв лицо капюшоном, подобно призракам, скользили по улицам, собирая по домам милостыню для бедных. Члены этого братства, основанного Петром Скаргой по итальянскому образцу, принадлежали к самым высшим слоям общества. Воевода принадлежал к нему сам. Отправляясь на сбор милостыни, он предложил царевичу идти с ним. Их костюм оградит их от навязчивого любопытства и ничто не будет стеснять их свободы. Эта оригинальная идея была приведена в исполнение в страстную субботу, 17 апреля.

Воевода с царевичем протягивали к встречным людям руки за подаянием; они заходили за милостыней и в королевский замок, и в палаты нунция. Затем окольным путем они добрались до храма св. Варвары и прямо направились к отцу Савицкому [1]. Дмитрий избрал себе в духовники именно его. Иезуит был предупрежден заранее и в полной готовности ожидал кающегося. Миссия воеводы была кончена. Он удалился на церковные хоры, и претендент остался один со священником. Наступила минута последнего испытания. Сцена, которая разыгралась в глубине иезуитской исповедальни, заслуживает особого внимания. Дмитрию предстояло

[1] Церковь св. Варвары состояла при старинной иезуитской обители. Мы воспроизводим отречение Дмитрия по рассказам Рангони и Велевицкого, ссылаясь на упомянутые депеши и др. документы.

открыть свою душу, похоронить свое прошлое под тайной исповеди; однако с него не спадала ответственность за ту роль, которую он взял на себя: если он присвоил себе ложное имя — он величайший преступник, недостойный ни жалости, ни прощения. Савицкому были известны слухи, ходившие на этот счет по городу. Прежде чем приступить к исповеди, он пожелал рассеять свои сомнения. Когда кающийся объявил, что он готов к исповеди, иезуит попросил его сосредоточиться на несколько мгновений и терпеливо выслушать слово духовного отца. Начав с осторожных похвал, он затем подошел прямо к цели: он заявил, что полнейшая откровенность есть первая, главная и незабываемая обязанность исповедника. Лишь при этом условии возможно рассчитывать на помощь Промысла, а оставленный Господом погибнет. Дмитрий был слишком умен, чтобы не разгадать намерений иезуита. Ему был нанесен сильный и беспощадный удар. Стрела попала в цель; удар всколыхнул самую глубину его души. Он на мгновение смутился — suspensus animo aliquantum mansit, как повествует Велевицкий, — но, тотчас же овладев собой и ссылаясь на чудесное покровительство неба, засвидетельствовал перед лицом Бога и людей свою полную искренность. Савицкий был обезоружен. Он принял отречение Дмитрия от православия и приступил к исповеди, тайна которой открыта только Богу.

На другой день, в Светлое Христово Воскресение, церкви были переполнены молящимися; но новообращенный царевич не мог присоединиться к ним. Он охотно присутствовал бы при богослужении; однако необходимо было соблюдать осторожность. Время этого невольного уединения было посвящено, при содействии отца Савицкого, составлению письма к Клименту VIII. Оно помечено 24 апреля 1604 г., хотя написано шестью днями раньше. Оно долго хранилось в архиве инквизиции

и только недавно увидело свет. Это — драгоценный памятник, полный воспоминаний, богатый данными.

Припомним, насколько скептически отнесся папа к первым вестям о появлении московского царевича. Пример Себастьяна Португальского заставлял в то время всех смотреть с большой осторожностью на сомнительные титулы. Оптимистические депеши Рангони могли несколько смягчить это предубеждение и ослабить недоверие папы. Но Риму незачем было высказываться определенно, и он предоставил Дмитрия самому себе. И вот «самая жалкая из овец», «покорнейший из слуг Его Святейшества» сам вступает в переписку с Римом и очень ловко примешивает к излияниям благочестивых чувств политические планы. «Я размышлял о душе моей, — пишет он папе, — и свет озарил меня». Он понял все, все взвесил: и заблуждения греков, и опасности уклонения от правды, и величие истинной Церкви, и чистоту ее учения. Решение его непоколебимо. Приобщившись к римско-католической Церкви, он обрел царство небесное, оно еще прекраснее того, которое похитили у него так несправедливо. Теперь нет жертвы, которая была бы ему не по силам. Он преклоняется перед промыслом Господним, он откажется, это если нужно, от венца своих предков.

Но царевич отступал, так сказать, только для разбега. Он вдруг расправляет крылья. Его дело не проиграно, все может пойти хорошо, и он победит. Вот когда понадобится помощь папы, и помощь эта не пропадет даром. «Отче всех овец Христовых, — пишет он, — Господь Бог, может воспользоваться мной, недостойным, чтобы прославить имя Свое через обращение заблудших душ и через присоединение к Церкви Своей великих наций. Кто знает, с какой целью Он уберег меня, обратил мои взоры на Церковь Свою и приобщил меня к ней? Лобызая стопы Вашего Святейшества,

как бы я лобызал стопы самого Христа, склоняюсь перед Вами смиренно и глубоко и исповедую перед Вашим Святейшеством, верховным Пастырем и Отцом всех христиан, мое послушание и покорность».

Действительно, трудно представить себе более деликатные намеки и более тактичное обращение к помощи папы. Дмитрий знал, что Климент VIII не оттолкнет новообращенного и что, может быть, его заинтересует судьба «великих наций».

Что касается Рангони, то он уже несся на всех парусах. Когда неофит выразил желание вкусить пасхальное причастие в резиденции нунция, он с восторгом согласился и предупредил папу, что он сообщит ему нечто «утешительное». Нунция очаровали разговоры в Вавеле. Было произнесено слово, столь ненавидимое в России, столь чтимое в Риме: соединение церквей. Дмитрий, как искусный чародей, вызывал заманчивые картины будущего. Он говорил, как человек опытный, который серьезно обсудил положение, ознакомился с препятствиями, знает, к каким практическим средствам можно прибегнуть. К грекам он относился с пренебрежением; обоснованно или нет, но, во всяком случае, он считал их невеждами, хотя и безобидными. Другое дело русские! Но он сумеет справиться с ними. Он уверен, что удержит их в своих руках. Он сравнивал их с конем, которым ловкий всадник управляет как хочет. Переходя от этих картин к действительности, он предполагал устроить богословские споры между русскими епископами и католиками. Конечно, победят опытные богословы Запада, а он, беспристрастный судья, засвидетельствует их победу. Таким образом, побежденные сольются с победителями. Только одно условие он ставил для соединения церквей: он требовал сохранения патриаршества в Москве, по крайней мере, до той поры, пока турки владеют Константино-

полем, причем не исключалась возможность крестового похода против ислама. Этот иерархический вопрос являлся как бы вопросом чести: очевидно, спорить об этом не приходилось.

Беседы с Дмитрием распаляли воображение итальянца — Рангони. Он уже видел в мечтах своих царя простертым ниц перед папой; он представлял себе великий народ, приобщенный к римской вере; ему рисовалось посольство, направляющееся из Кремля в Рим с выражением покорности. Не видел ли он и самого себя в кардинальском пурпуре, излагающим своим восхищенным собратьям gesta Dei московского героя?

А пока нунций всячески ободрял Дмитрия. Бессмертное имя в истории, неувядаемая слава, всеобщее восхищение будут уделом московского царя-католика. Он говорил ему и о великолепных фресках папского дворца, и о подвигах Константина или Карла Великого, увековеченных кистью знаменитых мастеров. Почему не уподобиться этим славным монархам? Почему не стремиться к таким же почестям?

Был заранее назначен день причащения — 24 апреля. Дмитрий явился к нунцию под предлогом прощального визита. Москвичи не подозревали о настоящей цели этого посещения. В покоях нунция, подальше от любопытных взглядов, был воздвигнут алтарь. Присутствовали только свои люди: хозяин дома с двумя капелланами, воевода Мнишек и отец Савицкий. «Царевич» выразил желание снова исповедаться, прослушать обедню и причастился Святых Таин. Дабы утвердить его к вере и посвятить в воины Христовы, Рангони помазал его миром, слегка ударил по щеке и совершил над ним рукоположение [1].

[1] Все эти обряды православная церковь соединяет с крещением. Спрашивается, зачем, в таком случае, было совершено повторение таинства?

Зрелище было трогательное. Нунций торжествовал. Неофит являл все признаки благочестия и сосредоточенности, уподобляясь бедной заблудшей овце, вернувшейся в стадо. Пусть даже Москва не будет побеждена — Рангони рад был покорить хотя бы эту душу. Разговор после обедни увеличил радость обеих сторон. Дмитрий был счастлив познанием истины, он узнал вселенского пастыря, его душа была преисполнена благодарности к Богу. Он упал на колени перед Рангони, исповедуя свою преданность папе и полную покорность святому престолу. И тут же, движимый душевным порывом, он обещал восстановить согласие между церквами, крестить магометан и язычников, если только он достигнет престола. Эти слова заключали в себе обещание; но оно являлось добровольным актом, связывало только одну сторону и не давало никаких определенных прав другой. Относительно веры между Римом и Дмитрием никогда не было и не могло быть обоюдного обязательства. Все ограничивалось свободно данными обещаниями. Они были приняты с радостью, и впоследствии о них деликатно напомнили. Но теперь Дмитрий был преисполнен жара и дошел до пафоса: он призывал небо в свидетели своего чистосердечия, проклинал расчеты и притворство и, не имея возможности, говорил он, облобызать стопы папы, желал оказать эту почесть его представителю. Он уже наклонялся к земле, и Рангони едва успел помешать ему в его намерении. Наконец, «царевич» подал свое письмо к Клименту VIII, составленное в Светлое Христово Воскресенье и снабженное переводом его на латинский язык, сделанным отцом Савицким. Оно было написано собственноручно по-польски и носило печать с изображением московского орла и св. Георгия. Кругом русская надпись гласила: «Дмитрий Иванович, милостию Божиею Царевич». Автор послания приносил

свои извинения, ссылаясь на недостатки композиции и скромно называя свой почерк некрасивым.

Рангони говорит в своей депеше, что он выказал новообращенному всяческое расположение и на память преподнес ему золоченый Agnus Dei с двадцатью пятью венгерскими червонцами. Нунций недаром был о Дмитрии хорошего мнения. Этот неофит обладал чуткой совестью. Он не только желал иметь при себе священника; он просил разрешить ему также вкушать скоромное и, когда нужно, пользоваться книгами, запрещенными Index'ом.

Такая примерная покорность была вознаграждена быстрой выдачей просимых разрешений. Другое желание «царевича» было менее выполнимо и, на первый взгляд, даже довольно странно. Мысли Дмитрия уносились уже к Москве; он думал о своем короновании в стенах Кремля, изучал церемониал этого обряда. Вдруг перед ним встала неразрешимая задача: как быть с неизбежным приобщением Святых Таин из рук православного патриарха? Дмитрий не хотел ни нарушить национальный обычай, ни признаться в своем отречении: во избежание того и другого, он просил разрешения папы. Возникал щекотливый принципиальный вопрос. Рангони предусмотрительно уклонялся от его решения и обещал снестись с Римом. Но с этого дня он больше не сомневался в искренности Дмитрия.

Что же происходило на самом деле в глубине этой души? Внутренняя жизнь «царевича» была гораздо сложнее, чем это обыкновенно думают. При встрече с новым миром он попал в сферу сильных влияний, сразу и всецело его захвативших. Стоя на коленях перед нунцием, он преклонялся перед верой Марины, любовь которой была для него так дорога, перед верой своих друзей и защитников, поляков, перед верой папы, соединительного звена между ним и Европой.

Было от чего потерять голову. Что же оставалось позади? Опровергнутое иезуитами вероучение, ненавистные православные монахи, ничего великого, ничего утешительного, ничего, что могло бы привлечь его. Дмитрий находился во власти разнородных ощущений; новый свет ослеплял его; он чувствовал трепетание истины. Мудрено ли, что он инстинктивно пошел по новому пути, открывавшемуся перед ним? Его пылкая и увлекающаяся натура была способна к героическому, но мимолетному усилию; настойчивость была не в его характере. В исторической перспективе его искательства перед нунцием и просьбы о политической помощи немедленно после обращения приобретают характер какой-то недостойной комедии. Но в тот момент поступки «царевича» не производили подобного впечатления.

Вечером того же дня, 24 апреля, Дмитрий покинул Краков навсегда. Но это ничуть не отразилось на его сношениях с нунцием. Только беседы заменились письмами. Неофит не скупился на излияния благочестивых чувств. Но они служили ему обыкновенно только предисловием: далее следовали уже вполне определенные просьбы. Нужно было еще победить сопротивление Замойского и Яна Острожского; надобно было побудить короля к активным действиям. Дело затягивалось, а между тем быстрота являлась главным условием успеха. Это удручало Дмитрия. Его московские сторонники томились ожиданием, теряли терпение и рисковали быть обнаруженными. Его самого страшила возможность распространения слуха о его смерти: тогда бы все пропало. Опасался «царевич» и смерти Бориса Годунова, и появления соперника, и борьбы из-за престола, и междоусобной войны...

По мнению «царевича», было только одно средство привести дело к желанному концу: придвинуться к границе и самому сделать первый шаг. Но раньше надо

было заручиться сочувствием короля и убедиться в том, что противники замыслов претендента не пойдут дальше пассивного сопротивления. Словом, все заставляло обращаться к нунцию и просить его помощи.

На Краков можно было рассчитывать. Сигизмунд втайне сочувствовал Дмитрию. Из Вавеля дул легкий попутный ветерок, надо было только, не торопясь, им воспользоваться. Гораздо важнее было вызвать известное движение в Риме, но и это без труда выполнил Рангони. Письмо Дмитрия от 24 апреля, сопровождаемое успокоительными и хвалебными депешами нунция, совершенно изменило мнение о нем. Оно было передано инквизиционному суду, рассмотрено богословами и признано заслуживающим одобрения. Климент VIII из скептика стал легковерным. Он приказал ответить уже не «новому Себастьяну», а «любезному сыну и благородному синьору» благосклонной грамотой. Помеченное 22 мая 1604 г., папское послание проникнуто милосердием и отеческой любовью. Только преднамеренное замалчивание известных вопросов делает его дипломатическим документом. Действительно, в нем нет ни единого слова о политике, ни тени намека на великие дела христианства: мы читаем лишь благочестивые советы и наставления в добродетели. Климент VIII, как пастырь душ, отворял заблудшей овце двери своей овчарни... Дальше этого он не шел.

В конце концов, ни папа, ни Рангони еще не могли усмотреть того, что теперь бросается в глаза историку и освещает все эти события. Дмитрий оказывается не всегда одним и тем же человеком. Его скрытность относительно прошлого приводит в отчаяние. Диктует ли он донесение королю, сам ли пишет папе — он сдержан, лаконичен, не выходит за пределы общих мест. Но лишь дело коснется будущего, его язык развязывается, перо летает по бумаге, он не боится называть

вещи собственными именами. Еще скрываясь в Польше, этот беглец, пока безвестный и ищущий покровителей, уже предвидит гибель Бориса Годунова и даже опасается, как бы это не случилось слишком скоро. Он предусматривает свое коронование в Кремле и занимается его подробностями; он предугадывает роль патриарха и решает сохранить его власть. Кто же он — чародей или ясновидящий? Не является ли он лишь исполнителем программы, составленной для него московскими сторонниками? Может быть, для выполнения ее нужна была их помощь, а дело туго подвигалось вперед?..

# Глава IV

# ДИПЛОМАТИЯ И ПОЛИТИКА 1604–1605 гг.

## I

Успехи Дмитрия отозвались и в Кремле. Кончились счастливые дни Бориса. Царь еще крепился против невзгод, боролся все с новыми и новыми затруднениями, но испытывал везде только горькие разочарования.

Как будто все обратилось против гордого баловня судьбы, издавна привыкшего бросать ей дерзкий вызов. Особенно чувствительно и глубоко поразила Бориса неудача, постигшая его семейные брачные замыслы. Чтобы насытить свою манию величия блестящим родством, он сватал свою дочь Ксению за представителей древнейших царствующих родов. По этому поводу велись деятельные переговоры и в Швеции, и в Англии, и в Австрии. Борис Годунов не торговался из-за приданого. Прежние цари «Святой Руси» сочли бы такую податливость преступной. «Немцу», который согласится стать его зятем, он обещал дать Тверское княжество, представлял право выездов за границу и полную свободу вероисповедания для него самого, для всех его близких и для священников его

церкви[1]. Несмотря на эти щедрые обещания, русские предложения были вежливо отклонены в Стокгольме, Лондоне и Праге. После печального инцидента с Густавом Шведским Борис Годунов обратился в Копенгаген. Скромный датский двор оказался сговорчивее. Но брат короля Христиана IV, принц Иоанн, приехавший в 1602 г. в Москву, чтобы там сыграть свою свадьбу, безвременно погиб там жертвой своих излишеств.

К семейному горю присоединилось великое народное несчастье. Голод, ужасный и периодический гость России, унес в 1601 г. тысячи жизней и свирепствовал вплоть до обильных урожаев 1603 г. Бессовестные спекуляции с ценами на хлеб придали бедствию ужасающие размеры. Пожертвования, раздаваемые в Москве по приказанию Бориса, привлекали в столицу толпы несчастных. С ними шли болезни и смерть. Одни умирали от усталости и истощения. Другие несли с собой заразу. Кое-где голодающие, лишенные всякой помощи и озверевшие от страданий, собирались в шайки, предавались грабежу и даже вступали в кровопролитные стычки с властями.

Народ изнемогал под бременем стольких бед. Голод уничтожал людей; им угрожала гибель от оружия, и вот бессознательный ужас овладевает народом: он ждет какой-то страшной катастрофы. Единственные грамотеи того времени, монахи, уже видят зловещие предсказания в неправильном ходе небесных светил. Их летописи полны самых мрачных пророчеств.

Борис Годунов боролся с анархией и помогал несчастным. Вдруг имя Дмитрия поразило его как громом. Какое ужасное воспоминание! Может быть, какие укоры совести! Неужели сын Ивана IV, официально

[1] Дело шло о браке с эрцгерцогом Максимилианом. Борис желал, чтобы это было скрыто от папы, Испании и Польши.

признанный умершим, избежал смерти? Не родился ли зловещий призрак из крови, пролитой в Угличе коварными заговорщиками? Во что бы то ни стало, было необходимо рассеять легенду о воскресшем царевиче. Были пущены в ход все средства, но ничто не могло уже унять бури, которой суждено было поглотить Бориса.

По-видимому, первым впечатлением, произведенным на Кремль этим восстанием из гроба, был ужас, смешанный с неуверенностью. Как человек, склонный к предрассудкам своего времени, Годунов будто бы обращался к колдунье: от нее он получил тревожные предсказания. Имеются сведения, будто царицу Марфу, заточенную в монастырь с 1591 г., привезли в Москву и подробно опрашивали. Затем, по-видимому, подозрение обратилось на бояр, вечных крамольников, способных вызвать страшный призрак. Вот когда, надобно думать, Борис обрушился на тех, кто, по его мнению, желал его гибели. Действительно, есть какое-то странное совпадение между слухами о Дмитрии и розыском о Романовых с их сторонниками. Между двумя этими фактами существует как будто тайная связь. Назначается следствие, производится суд, людей казнят, заточают, но самые мотивы этого дела недостаточно освещены...

Впрочем, эта растерянность скоро миновала. Борис не боялся смотреть в глаза опасности и способен был выказать громадную силу сопротивления. Он имел своих шпионов и располагал всевозможными средствами. Все поступки Дмитрия были ему известны, и он приготовился к защите. Прежде всего он прибег к косвенной мере. Постарались задушить тревожные слухи или, по крайней мере, задержать их на самой границе России. Были строжайше запрещены все сношения с Польшей. Под предлогом охраны от заразы крепкие

заставы выросли по большим дорогам. Но вещее имя проникало повсюду какими-то подземными ходами и распространялось среди народа. Годунов обратил свое внимание и на татар с казаками. Волнение росло на Украине. Петру Хрущеву был дан приказ отправиться туда и возбуждать народ против царевича. Но было поздно. Дух войны уже носился по степи; казаки точили свои сабли и седлали коней, когда московский посол вздумал сообщить им желания своего государя. Вместо ответа его связали по рукам и ногам и выдали Дмитрию. Так же неудачно кончилась миссия Семена Годунова. Этот приверженец Бориса должен был под вымышленным предлогом отправиться к татарам. Но он не добрался до Астрахани: его схватили на берегах Волги. Все заставляет думать, что ему было поручено поссорить татар с Дмитрием.

Между тем события шли своим чередом, и скоро стало очевидно, насколько неудовлетворительны были все принятые до сих пор меры. Было ясно, что, несмотря на перемирие, Польша покровительствует царевичу. Нужно было произвести сильное политическое давление в Кракове. Но раньше необходимо было навести справки и занять известную позицию.

Кто же был этот таинственный человек, имя которого уже воодушевляло массы? Смерть настоящего Дмитрия, сына Ивана IV, считалась в Кремле неопровержимым фактом. Претендент мог быть, таким образом, только самозванцем. Оставалось, следовательно, уличить незнакомца: узнать его имя, установить его личность, сорвать с него маску. Но это было трудно сделать. Тогда Борис прибегает к помощи патриарха Иова. Вызвали очевидцев, взяли с них присягу и допросили. Открылись чудовищные вещи. Мнимый царевич был не кто иной, как Гришка Отрепьев, проходимец и бывший романовский холоп. Он постригся, чтобы избежать

виселицы, и шлялся из монастыря в монастырь. Попал он и в московский Чудов монастырь: здесь в качестве писца он был приставлен к особе патриарха. Но от этого он не исправился: напротив, он продолжал творить постыдные дела, вызывал нечистых и занимался чернокнижием. Его преступления были столь явны и неоспоримы, что его, было, приговорили к вечному заточению. Но он тайным образом скрылся.

Очутившись в Польше, он нашел себе покровителя в лице князя Адама Вишневецкого: так он превратился в царевича Дмитрия, отрекся от православия и принял латинство. С этих пор он стал лишь орудием в чужих руках. Король польский собирался воспользоваться им, чтобы захватить русские земли, объявить гонение на православие и обратить русских в латинство. Вот что вытекало из официальных расследований. Эта версия была принята в Кремле. С некоторыми вариантами она повторяется во всех государственных актах того времени и служит исходной точкой при дипломатических сношениях [1].

Борис Годунов тотчас же воспользовался этим открытием. Смирной-Отрепьев, приходившийся Гришке дядей или выдававший себя за такового, состоял на службе у Бориса. В середине августа 1604 г. царь отправил его в Краков с тайным поручением. О нем говорили только запершись: были приняты все меры предосторожности для избежания огласки. Смирной не назывался государевым послом к Сигизмунду. Он именовал себя боярским гонцом к литовскому канцлеру Льву Сапеге и к виленскому воеводе, Христофору Радзивиллу. О смерти последнего в Москве еще не знали. В верительных грамотах Смирного о Дмитрии не было ни слова. Во время публичной аудиенции он обошел

[1] Эти подробности заимствованы из послания патриарха Иова.

главный вопрос и стал жаловаться на пограничные вооружения. Он не стал скрывать того, какие последствия может иметь это вопиющее нарушение мира. Он говорил: «Бояре упросили Царя попробовать кончить дело полюбовно, раньше, чем прибегать к более решительным мерам...»

Когда Смирной закончил свою речь и получил не менее банальный ответ, он попросил разговора с глазу на глаз у литовского канцлера. В этом ему было отказано под следующим предлогом: Сапега-де боится заслужить от короля упрек за самовольство, если отстранить от беседы прочих королевских делегатов. Смирной упорно не желал понимать. Уговорить его удалось с величайшим трудом. Наконец, он снял личину. В присутствии всех королевских комиссаров он открыл настоящую цель своей миссии; оказалось, ему поручено увидеться с Дмитрием и говорить с ним. Раз вступив на путь откровенности, Смирной пошел до конца. Он заявил, что готов ко всякому исходу, так как сам не принадлежит ни к какой партии. Если мнимый царевич — не кто иной, как его племянник, Гришка, как он и думает, то он вернет его с рокового пути. Если же, напротив, окажется, что он — истинный сын Ивана IV, то он ему подчинится. Он даже поможет ему взойти на престол.

Странность этих речей бросалась в глаза. Дипломат обращался в следователя; его уловки были смешны. Очевидно, он старался отвести полякам глаза. Королевские комиссары могли подумать, что в Кремле мнение о Дмитрии еще не составлено и что им предстояло рассеять сомнения Годунова и помочь ему разобраться, в чем дело. Действительно, если бы они согласились на просьбу Смирного, они этим как бы признали его компетентным судьей. В таком случае его мнение, будь оно правильным или нет, приобретало вес

окончательного приговора. Поэтому было принято наиболее безопасное решение: дяде отказали в свидании с его мнимым племянником. Некоторые сенаторы прямо заявили, что в миссии Смирного они видят лишь попытку соглядатайства.

Тем не менее появление этого посольства возымело совершенно неожиданные последствия. По-видимому, с этого времени изменилось и настроение Льва Сапеги. Хотя великий канцлер литовский и не пользовался популярностью своего польского коллеги, но зато он обладал всеми свойствами государственного человека. Стефан Баторий предсказывал ему великое будущее. И Сапега заслуживал его своим государственным умом, своей преданностью королю, своими громадными юридическими познаниями. Он вел переговоры со Смирным и ему же предстояло сделать о них донесение королю. Судя по депешам Рангони, до сих пор канцлер был как бы на стороне Дмитрия. Он допускал возможность царственного происхождения претендента и, как говорили, готов был оказать ему помощь людьми и деньгами. После свидания со Смирным в его взглядах происходит разительная перемена. Сапега присоединяется к большинству сенаторов; он советует королю положиться на сейм и приостановить военные приготовления Дмитрия. Что же такое произошло? Что означает этот шаг назад? Разве узнали что-нибудь новое или неблагоприятное? Факт тот, что Сапега стал относиться к делу царевича все более и более враждебно. Скоро в сейме громко раздается его протестующий голос и, наконец, он открыто присоединится к мнению Смирного и Годунова. Но москвичи ничего не заметили. В сношениях с ними Сапега отстаивал политику короля. Официальный язык скрывал многое; но в исторической перспективе колебания Сапеги придают его поведению отпечаток двойственности.

Сам Дмитрий, может быть и бессознательно, придал известную силу посольству Смирного. В то же время он был далеко от Кракова; он нетерпеливо ждал своего выступления, ждал вестей из столицы. Он был осведомлен о секретных сообщениях Смирного. Какой прекрасный случай представлялся ему — вдруг явиться в Вавель, смутить непрошеного дядю и победоносно провозгласить себя царевичем. С другой стороны, если Гришка Отрепьев, как думают некоторые, и был агентом Дмитрия, почему было не показать Смирнову настоящего его племянника? Но Дмитрий не сделал решительного шага. Он не без робости принял брошенный ему в лицо вызов. Когда привели к нему Хрущева, — речь о нем была выше, «царевич», будто бы, сказал ему следующее: «Меня не было, когда уезжал Смирной, но он в таком почете у Бориса, что вхож в покои, куда пускают только вельмож и любимцев».

Этими словами Дмитрий хотел показать, как мало правдоподобно родство этого гонца с царевичем. Если бы такое родство существовало, Борис не допустил бы Смирного к себе. Скорее он уничтожил бы и его, и весь дом его с корнем. Какое двусмысленное и слабое возражение; очевидно, оно рассчитано на слишком простодушных людей. Дмитрий явно играет словами. Смирной на самом деле и не выдавал себя за дядю настоящего царевича. Он не метил столь высоко: он жаловался на племянника Гришку, беглого московского монаха, который будто бы выдает себя за царевича в Польше. Что могло быть яснее этого? И разве Дмитрий не отделывался слишком грубым софизмом?

Во всяком случае, Борис Годунов не счел нужным изменять свой взгляд относительно претендента. Он настойчиво продолжал отождествлять его с Гришкой Отрепьевым. В ноябре 1604 г. новый посол направляется в Польшу. Он везет те же заявления, что и Смир-

ной; мы увидим его в сейме... То, что свидетельствовало русское правительство за границей, оно повторяло и у себя дома, перед лицом всего народа; разумеется, это подкреплялось кое-какими доказательствами, окружалось известной mise en scène...

Когда же Дмитрий сделался настолько опасен, что явилась необходимость с ним бороться, патриарх Иов, верный истолкователь желаний Годунова, выпустил особое воззвание. Здесь он излагал подробно все то, что Смирной рассказывал в общих чертах в Кракове. Он называл по имени свидетелей-очевидцев; это были, по большей части, монахи монастырей. Он подчеркивал уничтожающий смысл их показаний и, полный благородного гнева, изрекал анафему на голову вероотступника-латинца. Он называл его сосудом дьявольским, злым разбойником, который хочет овладеть царским престолом и ниспровергнуть святые алтари, чтобы воздвигнуть синагоги и храмы неверных на развалинах православных церквей. Эти слова задевали самые чувствительные струны в сердцах благочестивых москвичей. Если бы патриарх видел своими глазами «бедную овцу» у ног Рангони, и тогда он не мог бы найти более страшных проклятий.

Этот грозный обвинительный акт не дошел до Кракова. Впрочем, если бы он и проник туда, он не произвел бы там никакого впечатления.

Сигизмунд еще меньше, нежели Сапега, верил Дмитрию. Однако ему было удобнее не раскрывать своих сомнений; так можно было сохранить за собой полную свободу действий. В конце 1604 г. королю представился случай высказаться всенародно. Наступила сессия сеймиков. Эти провинциальные съезды служили прелюдией к сейму, общему национальному собранию. Король сообщал им заранее вопросы, которые будут подвергнуты обсуждению на сейме, и, в случае нужды,

представлял отчет и объяснения по поводу некоторых действий правительства. Итак, вот в каком свете дело Дмитрия изображено было королем 20 декабря ливонцам. Прежде всего Сигизмунд предполагает, что самое событие достаточно известно; он старается только установить степень его достоверности. «В этой истории, — говорит он, — все неясно, все неопределенно; тем не менее она кажется правдоподобной». Что же касается помощи претенденту, то король сознается, что здесь мнения расходятся. Хотя некоторые и считают представляющийся случай чрезвычайно удобным, он не желает вступать на этот скользкий путь, а тем более замешивать в дело Речь Посполитую: дело в том, что у него нет достаточно определенных сведений. Дмитрий обратился за поддержкой к сенаторам; при таких условиях его предприятие приобретает частный характер. Тем не менее король предупреждает заинтересованных лиц, что ничто не должно делаться от имени государства или под его прикрытием.

Польша отстраняет от себя всякую ответственность за замысел претендента. Другие инструкции сеймикам, данные от 9 декабря, имели еще более определенный характер.

Сигизмунд допускает и даже поощряет всякие запросы и прения относительно царевича; лишь бы только сеймики не посягнули на королевскую клятву и не нарушили общественного спокойствия. Здесь чувствуется ясный намек на беспорядки в Украине и на мир, недавно заключенный с Годуновым.

Впрочем, внешняя корректность выражений ничуть не исключает недомолвок и уклончивости. Король не говорит ничего ни о милостивом внимании своем к Дмитрию, ни о начатых с ним переговорах. Он лишь делает намек в том смысле, что в известных границах частная инициатива не будет подвергаться стеснениям.

Когда сеймикам предложено было высказаться по этому поводу, они не проявили никакого воодушевления. Царевич не пользовался их симпатией: они не желали поддерживать его предприятия. Доминирующий тон их — неодобрение. Члены собраний жалуются на казаков, стоящих по деревням, и на их бесчинства. В замаскированных выражениях они осуждают и безрассудную смелость Мнишека, которая может создать нежелательный прецедент. Верность присяге, точнее, соблюдение международных договоров, энергичное подавление внутренних беспорядков — таковы пожелания сеймиков. Очевидно, здравый смысл нации не одобрял двусмысленной политики.

## II

Ответы сенаторов на королевское письмо в марте 1604 г., наказы сеймиков их депутатам — все ясно говорило о том, что произойдет на сейме, созванном в Варшаве 20 января 1605 г. За последние месяцы истекшего года положение изменилось. Как мы увидим ниже, Дмитрий, в сопровождении воеводы Мнишека, уже перешел русскую границу. Его вступление в Московское государство, во главе целой армии, было совершившимся фактом. Ничего более определенного о нем не знали. Слухи о деятельности претендента были весьма разноречивы: одни приписывали ему победу; судя по другим известиям, он был разбит и бежал.

Несмотря на такую неопределенность, способную парализовать общественное мнение, вскоре выяснилось, в какую сторону оно склоняется. Страна жаждала мира; она боялась налогов и войны; она трепетала даже перед отдаленной ее возможностью. Поэтому начали

раздаваться многочисленные и притом авторитетные голоса, высказывавшиеся против сомнительной личности, способной поссорить Польшу с Москвой. Если и находились у Дмитрия сторонники, то и они защищали его не слишком-то усердно. В конце концов, король решительно разошелся с сеймом.

Героем этого собрания был Ян Замойский. Физические силы уже изменяли ярому патриоту, но он гордился своими старческими недугами, приобретенными на службе Речи Посполитой. Как бы предчувствуя близкую кончину, он пропел свою лебединую песню. Замойский был в то время великим гетманом и великим канцлером. Но он называл себя равным последнему дворянину, горячо взывал к идеальной солидарности шляхты и готов был ломать копья за старинные посольские вольности. Популярность его достигла тогда своего апогея; но при дворе он уже не пользовался прежним значением. Полное несогласие в вопросах политики отдаляло его от короля и внушало Сигизмунду некоторые подозрения. Сюда еще примешивались неудовольствия чисто личного свойства. Сигизмунд овдовел несколько лет после смерти эрцгерцогини Анны Австрийской; теперь он желал вступить в новый брак с сестрой своей покойной супруги. Это обстоятельство снова дало бы перевес Австрии в политике. В каноническом отношении брак этот явился бы нарушением законов свойства. Замойский же был самым непримиримым противником Габсбургов. Он оспаривал их кандидатуру на польский трон и победоносно боролся против одного из эрцгерцогов. Помимо того, он любил по временам изображать из себя строгого моралиста, почти фанатика нравственности; поэтому план короля внушал ему ужас. На самом деле, с канонической стороны препятствий уже не существовало. Климент VIII добровольно дал необходимое для короля

разрешение еще 19 июня 1604 г. Тем не менее Замойский опасался скандала и притворялся, что не верит в существование папского разрешения. На запрос папы по этому поводу он ответил ему письменно в римском стиле: первая супруга короля — республика, и другие браки должны заключаться сообразно ее интересам. Затем, касаясь щекотливого пункта, с истинно сарматской откровенностью он выражал, чтобы в Польше сохранилась вся простата ее патриархальных нравов.

Оппозиция Замойского вырыла пропасть между ним и королем. Уже по одному этому советы канцлера реже выслушивались и приводились в исполнение. Но, кроме того, в деле Дмитрия Сигизмунду чуялась еще и ревность со стороны старого гетмана. Не раз король откровенно заявлял об этом Рангони. В самом деле, пока король не объявлял себя официальным покровителем претендента и его замыслов, Замойский, казалось, ничего не замечал и не хотел ударить палец о палец. Вот почему на его место успели стать другие, более ловкие люди, как, например, Мнишек. Король возымел подозрение, что Замойский не хочет уступить другим военных лавров и что из политического предприятия он делает вопрос личного самолюбия. Речь гетмана, произнесенная 1 февраля, должна была рассеять это печальное недоразумение.

Никто не знал Москвы лучше, нежели славный воин, переживший великие дни Батория. Замойский обладал дарованиями государственного человека и полководца. Несмотря на некоторый оттенок педантизма, он был увлекательным оратором; ему прекрасно было известно, каковы средства Москвы и чего стоят русские. Речь гетмана в сейме захватила слушателей. Король Стефан посвятил когда-то Замойского в свой план основания великой славянской империи на Востоке, столь плениший Сикста V. Замойский видел в нем наилучшее

разрешение вековой распри между Польшей и Россией. Еще недавно он предлагал Сигизмунду продолжать дело его предшественника. Но уже не было руки достаточно сильной, чтобы поднять меч Батория; поэтому столь широкие замыслы были признаны анахронизмом. Тем не менее канцлер смотрел на дело очень глубоко. Он находил, что состояние Польши требует мира, мира по всей линии, даже с турками. Но он принимал близко к сердцу славу польского оружия. Поэтому он допускал возможность войны с Москвой лишь при одном условии: если будет собрана большая армия и кампания будет вестись по всем правилам стратегии.

Что касается смелого предприятия Дмитрия, то Замойский осуждал его бесповоротно и энергично во имя политики и морали. Прежде всего этого признанного защитника национальных вольностей возмущало, что столь серьезное дело решается помимо сейма. Правда, о нем было доведено до сведения народных представителей; но начиналась война без их одобрения, и академические речи произносились в сейме совершенно напрасно. Замойский не мог мириться с пассивной ролью. Он требовал, чтобы не только вопрос подвергся обсуждению в сейме, но чтобы священные права нации уважались на деле. И он заранее жестоко порицал предприятие Дмитрия, так как оно нарушало договор 1602 г. и посягало на произнесенные при этом клятвы. Замойский был чужд всякой двойственности: он говорил как гражданин и последователь Христа. Этот враждебный набег на Москву, заявлял он, так же губителен для блага Речи Посполитой, как и для наших душ.

Борис обратит в бегство шайку Дмитрия. После этого он направит свою месть против Польши и объявит ей беспощадную войну. Здесь не поможет тонкое различие между официальной помощью и официозной снисходительностью. Русские с этим считаться не бу-

дут. Столь мрачное будущее, грозившее национальным разгромом за нарушение клятвы, приводило в отчаяние честного воина.

В глазах Замойского «царевич» был простым авантюристом. Гетман осыпал его сарказмами, уничтожал презрением. Ему не удалось самому видеть Дмитрия; зато он издевался над всей его историей, изображая ее как самую неправдоподобную и смешную басню. «Господи, помилуй, — восклицал этот старый падуанский студент, — не рассказывает ли нам этот *господарчик* комедию Плавта или Теренция?! Значит, вместо него зарезали, другого ребенка, убили младенца, не глядя, лишь для того, чтоб убить? Так почему же не заменили этой жертвы каким-нибудь козлом или бараном?» И, в своем увлечении, Замойский делал следующее странное предложение: «Если отказываются признать царем Бориса Годунова, который является узурпатором; если желают возвести на престол законного государя, пускай обратятся к истинным потомкам великого князя Владимира, к Шуйским».

До сих пор еще никто не высказывался так страстно и энергично. Громовая речь Замойского попадала прямо в цель. Произнесенная в сейме, она должна была вызвать отклик во всей стране. В тот же день Лев Сапега поддержал Замойского всем авторитетом своей власти. В данном случае это имело огромное значение. Литовский канцлер был настолько беспристрастен, что вначале покровительствовал Дмитрию. Он располагал массой сведений, так как дела иностранной полиции находились в его руках, и по своему положению он должен был поддерживать личные связи с русскими. И Сапега оказался таким же скептиком, как Замойский.

Оба канцлера держатся одного взгляда на права сейма. Они совершенно согласны относительно обязанности договора 1602 г. для обеих сторон; они в один голос

требуют соблюдения данной Годунову клятвы, которой нельзя нарушить. По словам Сапеги, Бог сурово карает вероломство. Наконец, оба одинаково относятся к личности Дмитрия. Суждение Сапеги не так ядовито и зло, как мнение Замойского; но это придает ему тем больший вес. Канцлер все видел сам; он все исследовал, и ему не верится, чтобы Дмитрий был истинным сыном Ивана IV. Что же мешает Сапеге поверить? Собранные им сведения. Каковы же эти сведения? Он о них умалчивает и только лаконично говорит, что законный наследник нашел бы иные средства для восстановления своих прав. Объяснение Сапеги не основано ни на каких документах. Можно отнестись к нему как угодно, и все же оно имеет исключительную важность. Далее, канцлер переходит к политике. Во всей затее Мнишека он не видит ничего хорошего для Польши, он резюмирует свою мысль дилеммой: Дмитрий или победит, или будет побежден. Если он будет побежден — грозит неминуемая война с Москвой. Если он победит — впереди неизвестность, потому что нельзя доверять слову претендента. Можно ли думать, что он не изменит полякам, раз они сами готовы нарушить клятву, данную Борису Годунову?

Как мы видим, оба главных сановника Речи Посполитой обнаружили полную и неоспоримую откровенность. Она являлась своего рода вызовом, брошенным покровителям Дмитрия. Тем не менее в сейме не раздалось ни одного голоса в защиту царственного происхождения претендента; никто не потребовал официального или официозного заступничества за него со стороны правительства. Некоторые сенаторы выразили лишь радость, что Дмитрий избавил страну от подозрительных и опасных элементов. Они находили, что лучше не мешать событиям идти своим чередом: так за Польшей сохранится свобода действий, которой можно

будет воспользоваться в подходящий психологический момент. Благосклонное попустительство в чисто утилитарных целях — таков был их принцип. Но скоро эти голоса заглушаются другими. Епископ краковский Мацейовский требует немедленного отозвания Мнишека[1]. Со своей стороны, Януш Острожский настаивает на наказании виновных; наконец, Дорогостайский осыпает горькими упреками самого короля.

Таким образом, в сейме не замедлило создаться сплоченное большинство. Замойскому хотелось бы, чтобы Мнишек предстал перед сеймом и дал бы ему отчет в своем образе действий. В то же время, по его мнению, нужно было отправить доверенного человека к Дмитрию, чтобы получить верные сведения об успешности его кампании. Только после этого можно будет предпринять какой-либо решительный шаг. Со своей стороны, Сапега советовал немедленно отправить гонца в Москву. Пусть он там объяснится с Борисом Годуновым, оправдает Речь Посполитую и возложит всю ответственность на Дмитрия. Страх перед возможностью войны склонял Сапегу в пользу такого паллиатива. Во всяком случае, то были только частные мнения. Сейм принял следующую резолюцию: «Пускай будут употреблены все возможные усилия для успокоения волнений, вызванных московским господарчиком, чтобы ни Польское королевство, ни великое герцогство Литовское не понесли никакого урона со стороны Москвы; и пусть считается предателем тот, кто дерзнет нарушить договоры, заключенные с другими государствами».

Эти законные требования поставили короля в большое затруднение. С внешней стороны, они как будто вполне гармонировали с его инструкциями сеймикам

[1] По-видимому, Мнишек участвовал в сейме только к концу его сессии.

относительно Дмитрия; и, мало того, они, по-видимому, отвечали требованиям его совести. Казалось бы, на королевскую санкцию можно рассчитывать. Но под национальным флагом Сигизмунд проводил политику, чуждую желаниям нации; тайные обязательства соединяли его с Дмитрием. Залогом и подтверждением их служили оказанные царевичу милости. Король добровольно отдавался иллюзиям; поэтому он и предпочитал оставаться на зыбкой почве недомолвок. Он ни высказывался определенно в пользу царевича, ни отвергал заключения национальных представителей. Но сейм также не уступал; однако он разошелся, ничего не добившись. Позиция короля определилась. Роль Сигизмунда отнюдь не была пассивной: тайное потворство претенденту чувствовалось под маской сдержанности. Вот почему король не мог оставаться равнодушным, когда его укоряли в нарушении договора с Россией. Тем не менее Сигизмунда не могли поколебать самые суровые упреки. Может быть, он уверял себя, что на стороне законного государя стоят нерушимые права, а Дмитрий был еще в глазах короля лицом загадочным.

Отношения Сигизмунда к Борису Годунову носят тот же характер упорной скрытности. Неудача первого посольства не смутила русских. Новый гонец, Постник Огарев, был отправлен в Варшаву; ему было поручено повторить все то, с чем являлся до него Смирной[1]. Нового прибавить было почти нечего. Московское правительство не теряло претендента из виду. Ему было известно, что на Украине самозванец сносился со Свирским, в Северске — с Ратомским, что у него были переговоры и с Крымом. Но самого главного Огарев не знал, благодаря одной хитрости, придуманной поляками.

[1] Посланец Дмитрия был задержан на границе до окончания сейма.

Лишь только он добрался до границы, его подвергли карантину; здесь он пробыл так долго и изоляция его соблюдалась так строго, что от посла удалось скрыть вторжение Дмитрия в пределы Московского государства. Поэтому Огарев шел как бы с завязанными глазами. Его можно безнаказанно мистифицировать, и сейм не отказал себе в этом удовольствии. Особенно любопытно было заседание 10 февраля 1605 г. За несколько дней до этого некоторые честные и проницательные поляки высказывали свои сомнения относительно Дмитрия, осуждали его безумное предприятие, требовали верности договорам и напоминали о святости клятв. То же самое говорил и посол. Он распространялся на ту же тему и только подтверждал высказанные до него предположения, развивал уже ранее предъявленные требования, подчеркивая правоту своего дела. Не раз сенаторы должны были совершенно искренно спросить себя, говорит ли это иностранный дипломат или кто-нибудь из их среды, до такой степени поразительным казалось это совпадение. Только тогда сделалось очевидным, что Огарев — посол Годунова, когда он прямо поставил сейму жгучий вопрос, заключавший в себе сущность всех дебатов. Он спрашивал, сообщниками или противниками Дмитрия являются король и сейм. Если они отрекаются от претендента, пускай порвут с ним и накажут виновных. Если, напротив, они поддерживают злое дело — конец договору 1602 г. Клятва бессовестно нарушена — конечно, тогда должна разгореться война. Неверная своему слову Польша будет осуждена Европой, от нее отвернутся все христианские державы.

Конечно, поляки могли бы обстоятельно ответить Огареву, но они не хотели делать иностранца свидетелем своих домашних споров. 12 февраля в капелле дворца организовано было частное совещание. Специально

для этого случая были назначены особые комиссары; между ними были оба канцлера. Но до нас не дошло никаких сведений об этих переговорах. Только Рангони в своих депешах приводит официальный ответ, данный Огареву 26 февраля перед лицом всего сената. Король, сказал Сапега, не нарушил перемирия. Скорее можно сказать, что он укрепил его, желая сохранить дружбу царя. Дмитрию же он войском не помогал; он хотел только познакомиться с его притязаниями и сообщить их Москве. Догадавшись, в чем дело, Дмитрий бежал и скрылся у запорожских казаков. Делал ли он с ними набеги на русские области — неизвестно. Но, как бы то ни было, король ни за что не отвечает: ведь Запорожье не признает его власти, подобно тому, как и донское казачество не признает власти царской. Дмитрию помогать было запрещено. Если он вернется в Польшу — его схватят. Если же он появится в Московском государстве, сам Борис Годунов справится с ним и его сообщниками.

Зная о существовании весьма близких отношений между нунциатурой и канцлерами, мы имеем право предположить, что Рангони был хорошо осведомлен о том, что происходило 12 февраля. В таком случае, ответ Сапеги является не только уклончивым и насмешливым — он неточен и коварен. Великий сановник Речи Посполитой опроверг самого себя и свою речь 1 февраля. Подобную гибкость можно сравнить только с тем стоическим равнодушием, которое обнаружил весь сейм по отношению к дипломатической порядочности. Ничего не добившись, лишенный всякой возможности проверки, Огарев должен был покориться и уехать[1].

Но и вне Польши все попытки Годунова не привели ни к чему. В своих стесненных обстоятельствах этот

[1] В том же 1605 г. Бунаков был послан в Краков, а Пальчиков — в Киев.

баловень счастья вспомнил традиции царя Ивана Грозного, который под влиянием страха и под предлогом крестового похода искал в Риме и Праге иноземной поддержки. В свою очередь, Годунов снарядил в Европу дипломатическую миссию. Но у него не оказалось ни ловкости его великого предшественника, ни, главное, его удачи. Годунов не отправил к императору специальных уполномоченных. Он послал только гонцов с подробным сообщением о Гришке Отрепьеве, принявшем имя царевича Дмитрия. Он жаловался на короля Польского и ограничивался общими местами, предупреждая о неизбежном разрушении анти оттоманской лиги в случае войны с Сигизмундом. Сквозь эти риторические банальности ясно просвечивал расчет на вмешательство держав. Но надежды эти не оправдались.

Австрия, которая всегда и во всем отставала, на этот раз своей медлительностью превзошла самое себя. Несмотря на то, что у императора Рудольфа были постоянные сношения с Москвой, он долго хранил молчание. Затем он ответил парафразой из письма Бориса и лишь в заключение добавлял, что он сделает запрос польскому королю. Нельзя сказать, чтобы император слишком торопился помочь Годунову.

В Ватикане дела обстояли еще хуже. По просьбе Годунова, Рудольф отправил к папе письмо с гонцом. Но когда императорский посланец прибыл в Рим, папский престол был уже вакантен. Преемник Климента VIII, Лев XI, только что скончался, пробыв папой не более месяца. Согласно обычаю, письмо было вручено конклаву кардиналов. Они же не могли ни сами предпринять что-либо, ни предвосхитить решения будущего папы. Европа, в лице других своих главных представителей, оставляла Годунова на произвол судьбы.

Неудачное посольство Огарева породило среди историков странные недоразумения. Некоторые из них старались доказать, что мнение московского правительства о Дмитрии в 1605 г. было уже иным, чем в 1604-м. Имя Гришки Отрепьева было случайно произнесено в минуту первой тревоги. Когда несколько собрались с мыслями и все разузнали, ошибка, будто бы, была исправлена, но не вполне и не повсюду: в Москве и в других местах продолжали придерживаться первого имени. Только в Польше заменяют его другим, настоящим. Даже в Варшаве Огарев делает эту поправку только на словах, так как в данных ему наказах царевич все еще отождествляется с Гришкой Отрепьевым. Эта неожиданная перемена никого не удивляет. Сейм остается невозмутимым. Годунова никто не обвиняет в увертливости.

В этом странном явлении можно разобраться при помощи довольно сложных приемов. Разбираясь в нем, приходится примирять между собой противоречивые тексты. Таким образом можно вырвать у них тайну, которую они скрывают. Миссия Огарева была предметом многих донесений. Все эти донесения не расходятся относительно личности Дмитрия; каждое приписывает ему иное происхождение. Депеша Рангони от 12 февраля называет его «разбойником, арианином, колдуном, вероотступником и сыном сапожника». Два датчанина, хотя и находятся сами в Варшаве, передают с чужих слов, что Дмитрий был слугой у архимандрита и сыном писца. Синдик Ганс Кекербарт прибавляет на полях своего рапорта, что Дмитрий — сын мужика. Наконец, как бы для того, чтобы совсем сбить с толку будущих историков, анонимный компилятор посылает в Данциг еще более удивительные сведения: по его словам, Дмитрий — сын писца, служившего у

архимандрита; имя его Дмитрий Rheorowicz[1]. Несмотря на столь вопиющие разногласия, все свидетели ссылаются на Огарева. Он один отвечает за всех.

Это разногласие не вполне необъяснимо. Огарев и Сапега говорили по-русски. А рапорты писали иностранцы — итальянцы, датчане, немцы. Вот почему нельзя вполне доверять их передаче.

Затем московская тактика могла быть пущена в ход и в Варшаве. Даже в официальных грамотах Кремль обрушивал на голову Дмитрия самые ужасные обвинения, не слишком заботясь об их правдоподобии. Так, патриарх Иов называл «царевича» одновременно пособником жидов, латинян и лютеран, словом, кого только угодно. Огарев усвоил ту же манеру, говорил много и не скупился на эпитеты. Его слушатели схватывали и запоминали то слово, которое наиболее их поразило. Отсюда могло возникнуть множество вариантов. Конечно, это — гипотеза, которую можно принять или отвергнуть, но не надо возлагать на Годунова ответственности за других. Письмо, представленное Огаревым сейму, отождествляет царевича Дмитрия с Гришкой Отрепьевым. Однако чтобы поверить опровержениям Бориса, мало сослаться на противоречивые свидетельства нескольких иностранцев.

[1] Дмитрий Реорович — очень подозрительное имя. Одно и то же лицо носило имя Дмитрия, Григория или Гришки. Вероятно, анонимный компилятор соединил два имени в одно. Также допустимо, что Реорович не что иное, как искажение Григория.

# КНИГА ВТОРАЯ

# ПОХОД НА МОСКВУ

# Глава I

# ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ 1604–1605 гг.

## I

Поездка в Краков и аудиенция при польском дворе наметили в жизни претендента новую эпоху. Возвратившись в Самбор, он знал, чего держаться и на что можно отважиться. Король предоставлял свободу действий и тайно поддерживал его; группа магнатов помогла ему; нунций Рангони обнаруживал к нему благосклонность. Оставалось только не уступать противникам и делать последние приготовления к борьбе.

Воевода сандомирский твердо уповал на царевича. Он не сомневался, по крайней мере на словах, в царственном происхождении Дмитрия. В военный же его успех и будущее величие он верил безусловно. Он уже громко произносил звучные титулы Дмитрия: «Славнейший и непобедимый Дмитрий Иванович, император Великой Руси, князь угличский, дмитровский, городецкий, наследственный государь всех земель, подвластных Московскому царству». Эта претенциозная формула была написана киноварью на одном официальном документе от 1 мая 1604 г. Еще немного — и

Мнишек видел уже своего протеже в Кремле. Здесь он распоряжается сокровищами московских царей: отсюда он диктует законы своим народам и устанавливает границы своего государства. Дмитрий разделял эти надежды. Он смотрел на будущее с победоносной, уверенностью и, по своему обыкновению, сыпал вокруг себя обещаниями. В этих надеждах была идеальная почва, на которой можно было сойтись обоим сторонам; здесь можно было поставить друг другу известные условия и выработать взаимные обязательства.

Дмитрий нуждался в поддержке со стороны Польши. Ему был необходим покровитель, чтобы вести переговоры с магнатами, собирать волонтеров и организовать войско. Мнишек охотно брал на себя эту роль. Однако, как человек практичный, он требовал от претендента немедленного вознаграждения за свое содействие. Не довольствуясь словесными обещаниями, он домогался документа, должным образом подписанного и скрепленного соответствующей печатью. Два таких акта были составлены в Самборе: 24 мая и 12 июня 1604 г. В них чрезвычайно ярко вырисовываются черты разорившегося и набожного магната.

Брак «царевича» с Мариной должен был явиться венцом заключенного договора. Благосклонный прием Дмитрия королем полагал конец последним колебаниям родителей. Они не противились более замужеству дочери. Со своей стороны, Дмитрий под страхом проклятия формально обязывался просить руки Марины и разделить с ней корону. Из Кремля должно было явиться специальное посольство к королю — просить его соизволения на этот брак. Были уверены, что Сигизмунд не откажет посольству.

Таким образом, семья Мнишеков породнится с могущественным государем. Она приобщится к блеску

московской порфиры. То будет великая честь; помимо всего, такой союз сулил большие выгоды.

Дмитрий свободно распоряжался властью и миллиардами, которыми, однако, еще не обладал. Он заявил, что немедленно по вступлении на прародительский престол уступит воеводе и его наследникам две прекрасные области — Смоленскую и Свердловскую. Исключение составят лишь провинции и города, предназначенные польскому королю; они будут компенсированы другими городами, местечками, замками, землями и оброчными статьями. Предварительно же он положит в кассу своего тестя миллион флоринов для того, чтобы оплатить путешествие своей невесты в Москву и удовлетворить назойливых кредиторов Мнишека.

Будущую царицу, свою избранницу, Дмитрий обещал наделить еще более щедро: она получит множество драгоценных вещей, серебряную посуду, а в качестве уделов — Новгород и Псков. Таким образом, к ногам прекрасной полячки ее жених клал целых два царства.

Когда материальный вопрос был решен и алчность утолена, Мнишек занялся интересами высшего порядка. Надо отдать ему справедливость, он никогда не забывал веры своих отцов. Ревниво оберегая ее интересы, он не чужд был прозелитизма. Прежде всего он потребовал, чтобы Марина, взлелеянная на лоне матери-католички, сохранила навсегда полную и безусловную свободу своей веры как при дворе, в Кремле, этом очаге православия, так и на всем пространстве Русского государства. В Новгороде и Пскове она должна была пользоваться еще более драгоценным правом: там ей предоставлялось строить школы, католические церкви и монастыри и назначать католических епископов и патеров.

Во всех этих притязаниях Мнишека Дмитрий не видел ничего чрезмерного. Он, не задумываясь, соглашался на все и даже намекал окружающим, что, приняв латинскую веру, он сочтет своим долгом распространять ее в своем царстве. Его последним словом была торжественная клятва строго выполнить свои обещания и «привести русских людей к латинской вере». Краткий срок одного года был достаточен, по мнению царевича, для выполнения столь обширных планов. Если же это не удастся, тем хуже для него. Воевода с дочерью вновь получат тогда полную свободу действий, если только сами не пожелают дать ему отсрочку. Нельзя не согласиться, что трудно было обнаружить более сговорчивости, более великодушия и щедрости. Вероисповедные симпатии Дмитрия обнаружились еще по другому поводу. Вообще, он вел себя, как ревностный неофит.

В одном разговоре с нунцием он выразил желание иметь духовника. Видимо, об этом знали в Кракове, так как почти одновременно отец-провинциал польских иезуитов, Стривери, получил соответствующие письма из королевского замка и из нунциатуры. В этих письмах настаивали, чтобы он поторопился удовлетворить желания Дмитрия. Ответ не заставил себя долго ждать. Немедленно был найден и практический способ осуществления плана. Дмитрий набирал католиков в свою армию; военные капелланы были для него необходимы; обязанность этих лиц принимали на себя иезуиты, которые должны были служить как солдатам, так и их вождю. Сопровождать армию Дмитрия были назначены два патера. Неся на себе одинаковые обязанности, они, однако, мало имели общего друг с другом: то были разные люди по достоинствам, по характеру, по всему духовному складу. Отец Николай Чиржовский обладал спокойным, уравновешенным

характером; он был предприимчивым, но весьма рассудителен. По темпераменту это был истый ректор; вот почему ему столь часто поручалось заведывание учебными заведениями. Его товарищем был отец Андрей Лавицкий. Главным достоинством этого человека было золотое сердце. Почти юноша, он мечтал о миссионерской деятельности в Индии, о венце мученичества под раскаленным небом тропиков... Вместо этого он принял на себя миссию на север, в страну льда и снега. Но и здесь он остался верен своей страстной и впечатлительной натуре.

Как только Дмитрий узнал о назначении капелланов, он захотел видеть их и всячески торопил приездом в Самбор. После первого же свидания иезуиты были покорены чарующим обращением претендента. Они не нашли в нем ничего ни грубого, ни монашеского. Дмитрий обнаружил самую сердечную предупредительность; речь его была полна такта, причем, по-видимому, он был вполне откровенен. «Я обещал Богу, — сказал он им, — строить в России церкви, школы, монастыри. Ваше дело — распространять там католическую веру и добиться ее процветания». И в порыве доверия к собеседникам он прибавил: «Я вручаю вам свою душу». Таким образом, капелланы сразу обратились в апостолов. Им предстояло не только проповедовать Евангелие небольшой кучке солдат, нет, они должны были привести в лоно католической церкви громадное царство, дотоле разобщенное с Римом. И будущий император уже заранее добровольно отдавался им. Все это было так грандиозно, так неожиданно, что захватывало дух. Мнишек присутствовал при этом разговоре, как бы подчеркивая тем самым важность слов царевича. Испытывая рвение вновь обращенного, он предложил Дмитрию причаститься. Это было накануне Успения, перед самым походом, вдали

от любопытных взоров. Претендент, преисполненный благочестивого усердия, с готовностью принял предложение. Он исповедался в одном из уединенных покоев замка и на другой день тайно принял причастие. В то же утро он прибыл с Мнишеком в церковь Доминиканцев; здесь оба прослушали мессу. Духовники не могли опомниться от удивления. Они отправились к себе обратно с глубоким убеждением, что им предстоит выполнить трудную, но великую миссию.

Среди всех этих забот мысль Дмитрия была поглощена неутомимыми и горячими приготовлениями к войне. Все более и более выяснялась необходимость дать казакам, или, как их обыкновенно называли, черкесам, какое-либо отвлекающее дело. Соединившись, вопреки приказаниям короля, в значительные массы, они внушали более страха, чем доверия. В Польше репутация их вполне определилась: только после их ухода население могло считать себя в безопасности. С другой стороны, приходящие с границы добрые вести и настоятельные призывы единомышленников вынуждали царевича торопиться. Однако надо было еще заручиться помощью поляков. Мнишек оказывал энергичное содействие Дмитрию. Он рассылал послания сенаторам, переписывался с королем и держал его в курсе всего происходящего. Однако все это он делал с большой осторожностью, скрывая свое личное участие в предприятии царевича; он был откровенен только с близкими.

14 июня 1604 г. Мнишек написал королю следующие удивительные строки: «Я смиренно прошу Ваше Величество быть уверенным в том, что я выполняю свои планы с такими предосторожностями, как будто я никогда не нарушал своего долга».

Все усилия Мнишека склонить Замойского потерпели неудачу: великий гетман не давал ни склонить

себя, ни привлечь к делу. Сам Дмитрий был более счастлив в этом отношении, чем Мнишек. Не помогли ни восхваления, ни откровенности, ни лесть, ни ссылки на короля, ни, наконец, изобличения клеветы. Замойский не написал ни слова в ответ на два послания царевича. Он ограничился тем, что отправил воеводе Мнишеку высокомерное и суровое письмо. В нем он предупреждал об опасности, грозящей Речи Посполитой, и о том, что все это находится в противоречии с волей короля. Это был официальный документ, который не считался с закулисной стороной дела и стоял выше всяких интриг.

Впрочем, трения не особенно беспокоили Дмитрия. Он зашел чересчур далеко, чтобы отступать. Не остановил его и организованный против него заговор, обнаружившийся в эту же пору.

В Самборе появились подозрительные люди. На «царевича» было совершено покушение, и он спасся лишь благодаря какой-то случайности. Наемный убийца, по предположению Мнишека, был послан Борисом Годуновым. Московский царь, будто бы был напуган приготовлениями Дмитрия. На злоумышленника донес кто-то из московских людей, и без всякого суда ему отсекли голову в Самборе. Сам воевода сообщал об этом Рангони. Русский источник также свидетельствует об этой казни. Однако сведения об участии Бориса и о способе казни мы находим только в словах Мнишека.

Между тем главный штаб армии Дмитрия был учрежден во Львове. Этот город был всего доступнее и ближе к русской границе. Скоро он совершенно изменил свой облик. В нем собрались в большом количестве польские волонтеры. Прельщенные размахом предприятия, привлеченные именами его вождей, эти искатели счастья рассчитывали только на свою саблю.

Они наполнили весь город, расположились лагерем в его окрестностях и скоро обнаружили свои истинные доблести: начались буйства, грабежи и убийства. Жалобы львовских жителей дошли до короля. Граждане Львова умоляли, чтобы их возможно скорее освободили от «рыцарей», которые насильничали в городе, как в неприятельской стране. Русские также энергично протестовали против скопления войска на границе.

В конце концов, пришлось уступить. Исчерпав всякие предварительные меры, Сигизмунд прибег к более решительным средствам: волонтерам дан был приказ немедленно разъехаться; за ослушание им пригрозили суровой карой, а именно: признанием их мятежниками и врагами государства. Приказ короля, помеченный 7 сентября, должен был доставить во Львов коморник. Сообщая эту новость своей свите, Рангони лукаво дал понять окружающим, что, быть может, коморник и не поспеет вовремя во Львов. И действительно, когда королевский посланец прибыл в город, оказалось, что волонтеры уже давно оставили его.

Главная часть армии двинулась в поход в конце августа — 25-го, кое-как преодолев последние препятствия, покинул Самбор и Дмитрий. Он уносил с собой лучезарные воспоминания о Марине, всю тяжесть своих обещаний и, за неимением лучшего, одни только смелые надежды. 29 августа он на короткий срок появился во Львове, присутствовал при церковной службе в соборе и прослушал там проповедь иезуита. Когда проповедник пришел к нему с приветствием, он еще раз заверил его в преданности своей Святому Престолу и в симпатиях к ордену иезуитов.

Кампания начиналась при хороших предзнаменованиях. В первые же дни похода к Дмитрию явилась депутация от донских казаков. Она вновь предложила свои услуги и представила письма своих товарищей.

Делегация привезла с собой несчастного Хрущева, о котором мы уже упоминали. Приведенный в цепях к царевичу, он пал на землю и с плачем признал его за истинного сына Ивана IV — только по сходству Дмитрия с покойным царем. Этим признанием он заслужил себе прощение: тогда язык Хрущева развязался. В конце концов, выяснилось, что в Москве он пробыл всего 5 дней. Но по дороге и в самой столице ему пришлось узнать много интересного. По его словам, вокруг Годунова царит глубокое и мрачное молчание. Северская область громко заявляет о своей готовности примкнуть к царевичу. Некоторые бояре осмелились было высказаться в том смысле, что трудно бороться против законного государя, но, терроризированные Годуновым, они поклялись больше не раскрывать рта. Другие были злодейски умерщвлены за то, что на одном пиру подняли чары в честь Дмитрия. Царские войска совершают подозрительные передвижения: под предлогом защиты от татарского нашествия их направляют к Северской земле. Ко всему этому Хрущев добавил уже известные нам подробности относительно Смирного-Отрепьева, а также некоторые сведения о родне Дмитрия и даже о посольствах, которыми обменялись Москва с Персией. Как воевода, так и царевич, крайне довольные полученными сообщениями, поспешили передать их нунцию Рангони. Все известия такого рода быстро разглашались и, пройдя через нунциатуру, легко принимались на веру. Однако возникает вопрос, насколько были правдоподобны рассказы Хрущева. Что они были выгодны для тех, кто их распространял, это стоит вне всякого сомнения.

В первых числах сентября Дмитрий произвел в Гляняне общий смотр своим войскам.

Воевода Мнишек, его сын Станислав и немногочисленные друзья и родственники их образовали главный

штаб. Конечно, это было немного. Во всяком случае, все эти люди были хорошо вооружены и обмундированы и знали, чего хотят. Наибольшая же часть войска состояла из польских волонтеров и казаков. За исключением ветеранов, это было сборище авантюристов и головорезов. Среди них попадались и настоящие висельники. У них не могло быть ни энтузиазма, ни веры в святость дела, ни идеальной цели. Их воинственный пыл питался лишь алчностью и надеждой на добычу. Не было ли истинным безумием идти с этой кучкой продажных людей на завоевание Московского царства?

Согласно обычаю немедленно были произведены выборы главных начальников. Как и надо было ждать, верховный сан гетмана достался воеводе сандомирскому. Ратная жизнь была уже не по плечу этому старому и немощному магнату. Но он был полезен войску своим авторитетом сенатора. В своем распоряжении он имел двух или трех полковников, также избранных большинством голосов, и множество офицеров. Специальный регламент, приспособленный к нуждам момента, был вотирован и признан обязательным на все время войны. Первоначальное расположение сил было таково. В центре, вокруг красного знамени с черным византийским орлом на золотом фоне, сосредоточивалась главная масса пехоты и кавалерии с Мнишеками и Дмитрием во главе. На правом фланге шли казаки, на левом — уланы и гусары. Авангардная и арьергардная службы были предоставлены казакам. Они были и разведчиками, и проводниками. Что касается количества действующей армии, то невозможно исчислить его даже приблизительно. Число поляков колебалось от тысячи до двух тысяч. К концу кампании их ряды становились все реже и реже. Казаков уже в начале кампании собралось до двух ты-

сяч, их количество постоянно увеличивалось, вырастая как снежный ком. То же самое надо сказать и относительно русских, которые позже, во время похода, стали примыкать к армии. 18 сентября гетман объявил о скором прибытии десяти тысяч уже завербованных донских казаков. Обещало значительное подкрепление и Запорожье. Таким образом, оставалось лишь идти вперед. В конце того же месяца оба капеллана, уехавших из Самбора, заняли свой пост. 17 сентября вместе с армией они поднялись на живописные холмы, окружающие киевское плато. Армия была в пределах воеводства князя Острожского. Ей грозил сын воеводы, Януш; поэтому были приняты меры предосторожности: караулы держали день и ночь. Однако никто не думал тревожить армию, и она неуклонно двигалась к границе.

Древний и славный город вновь увидел в своих стенах бедного странника. Но Дмитрий не был уже одет в монашескую рясу, он не терялся в толпе. Нет, его украшали латы, он был окружен войском; сабля его грозила Кремлю. Католический епископ города Христофор Казимирский не скрывал своих симпатий к царевичу. В честь его он устроил банкет и вообще всячески ободрял царевича. Дмитрий чувствовал себя в Киеве, как дома. Святыни и памятники города были ему известны. Он убедил капелланов осмотреть их. По его указанию, оба иезуита отправились полюбоваться храмом святой Софии с его богатыми алтарями, а также Золотыми Вратами, сияющими мозаикой и фресками. Оба помолились на развалинах часовни, где сохранялась еще память о святом Гиацинте. Однако странная щепетильность остановила их на пороге знаменитых киевских пещер, наводненных толпой солдат. Здесь, в песчаном грунте, под защитой двух слоев глины, покоятся трупы, в которых народное благочестие видит

останки святых. Эти реликвии совершенно естественно показались духовникам сомнительными. Они не решались почтить их и предпочли не спускаться в этот обширный город мертвых — древнее убежище монахов, в настоящее время — истинный музей саркофагов.

После трехдневной остановки армия вновь тронулась в поход, направляясь к Днепру, служившему тогда границей между Польшей и Московским царством. 20 октября палатки армии были разбиты на берегу этой реки, темные воды которой некогда поглотили идола Перуна и духовно возродили дружину святого Владимира. Здесь возникло непредвиденное препятствие: не оказалось нужных паромов. Дело в том, что князь Януш Острожский угнал их с собой. Было потрачено много времени на подыскание необходимых для переправы средств.

Переход через реку продолжался пять или шесть дней. Киевляне обнаружили готовность помочь Дмитрию и даже проявили расположение к нему. В знак благодарности претендент предоставил им свободу торговли. Эта привилегия подписана была в Вышгороде 23 октября 1604 г.

Дмитрий смело бросал вызов судьбе. Новый цезарь переходил свой рубикон.

## II

Когда при Замойском заговаривали о деятельности Мнишека, он часто замечал с досадой: «Надо будет бросить в огонь все летописи и изучать только мемуары воеводы сандомирского, если его предприятие будет иметь хоть какой-нибудь успех».

В самом деле, ничто не могло быть необычнее этого московского похода. Военные летописи не знали ничего подобного. Кампания Дмитрия могла сбить с толку самых опытных стратегов. Чтобы вести войну с Иваном IV, Стефан Баторий взял в Польше цвет ее конницы, в Венгрии — закаленную пехоту, денег же, сколько мог, отовсюду. Под красным знаменем Дмитрия теснилась толпа рубак и людей с темным прошлым, более алчных, нежели богатых деньгами. В то время как Баторий, покрытый славой и кровью, останавливается перед непреступными стенами Пскова, Дмитрий видит, как при его приближении широко открываются ворота столицы. И, что всего удивительнее, — властителем Кремля делает его не победа, а поражение.

Тем не менее, с военной точки зрения, старый гетман был тысячу раз прав. Его ошибка заключалась лишь в том, что он забыл о переменах, происшедших в социальном строе Московского царства. Он забыл и о тирании власти, и о соперничестве бояр, и о смене династии, и о слухах, ходивших в народе; он игнорировал недавние аграрные законы, и колебание старых нравов, и честолюбие одних, и ненависть других; одним словом, он не учитывал того фатального сцепления причин, которое вызвало целый ряд кризисов и привело страну к упадку. Душа святой Руси была больна; страшные силы вырвались из оков; небо покрылось темными тучами... Приближалась грозная буря. Час Дмитрия пробил.

Отвага заменяла у «царевича» стратегию. Его лучшими союзниками были обстоятельства смутного времени. Он гипнотизировал людей целью, стоящей перед ним: ведь он намерен был идти на Москву и короноваться в Кремле. Вместо того чтобы замышлять военные планы, он прибег к помощи другого средства.

Поднять его до трона должно было общее восстание, поддерживаемое верными людьми. Дмитрий выступал не в качестве завоевателя; он шел в качестве жертвы и мстителя. Гордый своим происхождением, законный наследник своих предков, он ссылался на присягу, данную Ивану IV. Горе тем, кто нарушил ее! Его дело, таким образом, становилось святым, национальным; оно переходило в руки народа. Именно он, простой народ, должен очистить свою совесть, совершить суд, взяться за оружие, низвергнуть насильника — Годунова и восстановить права истинного государя.

В Северской области этот язык должны были понять лучше, чем где бы то ни было. Здесь агенты Дмитрия развили энергичную деятельность и нашли чрезвычайно благоприятную почву. Неопределенная, долгое время находившаяся в пренебрежении область, расположенная по границе Московского царства, испытала на себе всю тяжесть опричнины с ее анархией. Преступники, разбойники, нищие сделали ее своим убежищем в надежде на привольную жизнь вдали от центральной власти. Однако мало-помалу, по мере роста населения, на Северскую область наложила свою тяжелую руку администрация. Но стеснения с ее стороны казались здесь тем более невыносимыми, чем менее ждали их. Притом же эти строгости были часто чрезмерны, непоследовательны и несправедливы...

Ужасный голод, сопровождаемый болезнями и нищетой, разразившийся в 1601 году, увеличил число недовольных и тех обойденным счастьем людей, которым нечего было терять. Такие люди при каждой перемене надеются получить хоть что-нибудь. Голодная, невежественная и грубая чернь легко поддавалась соблазну. Надо было только разжечь те инстинкты, которые таились в ее недрах. Ратомский и его агенты как раз занялись этим. Их успехи заставили Дмитрия из-

брать Северск первоначальным центром своей деятельности. Тем самым он избегал большой военной дороги, уставленной крепостями. Никто не противодействовал наступлению армии через Днепр. Полки, об отправлении которых к Северску говорил Хрущев, не были сосредоточены у Днепра, чтобы воспрепятствовать переходу неприятеля через реку. Сказалась ли в этом слепая вера Бориса в перемирие 1602 г., или же он чересчур презирал того, кто разыгрывал роль его соперника, — трудно решить. Во всяком случае, эта ошибка скоро оказалась непоправимой.

Едва переправившись на левый берег, поляки отпраздновали вступление на чужую территорию религиозной церемонией. Капелланам было достаточно нескольких недель, чтобы смягчить грубость своей паствы. Лицом к лицу с открывшим свои недра Московским царством, перед таинственным и полным опасности будущим, к голосу духовника прислушивались внимательнее, чем обыкновенно... Дмитрий с интересом наблюдал богослужение. Правда, он не смешивался с молящимися, чтобы не скомпрометировать себя. Но несколько раз он проходил около палатки капеллана, а затем тайком просил у него молитвы и благословения. Остановка, вызванная этой церемонией, была непродолжительна. Немедленно по окончании богослужения армия, разделенная на две части, тронулась в поход по двум разным дорогам. Дмитрий, со своими «товарищами», легко преодолевая встречные препятствия, двигался вперед через дремучие леса и болота, пока на горизонте не вырисовались заостренные башни Моравска. Эта ничтожная крепость неожиданно приобретала чрезвычайную важность: под ее стенами должен был разыграться первый акт великой и памятной драмы.

31 октября казаки и поляки, отделившись от главной армии, потребовали от жителей Моравска безусловной сдачи. Письма Дмитрия, переданные на конце сабли, произвели магическое действие. Гарнизон крепости принял его сторону. Под первым впечатлением страха к «царевичу» была отправлена депутация. Ей было поручено выразить Дмитрию покорность. Простой народ, видимо, подготовленный заранее, только этого и ждал. В этой сдаче чувствовалось как бы трепетание страсти. Долго сдерживаемый энтузиазм прорывался наружу. Ворота города распахнулись. Жители массой высыпали навстречу Дмитрию. Расположившись по обе стороны дороги, они плакали от радости и изливали свои чувства в наивных возгласах. «Встает наше красное солнышко, давно закатилось оно... Возвращается к нам Дмитрий Иванович», -- говорили в народе. Въезд царевича в город был вступлением властелина, который возвращается в свое государство, окруженный народом. По обычаю старины, Дмитрию поднесли хлеб-соль и ключи города с золотой монетой. Священники окропили его святой водой и подвели приложиться к наиболее чтимым иконам. Наконец, ему передали двух закованных в цепи воевод, виновных в том, что они хотели подавить народное движение. Остаток дня проведен был в стрельбе в знак народной власти. Этот легкий и блестящий успех превосходил самые смелые ожидания сторонников Дмитрия. Перед чем остановится теперь отвага?

Совершенно такие же сцены повторились и в Чернигове 4 ноября. Но здесь общая радость впервые была омрачена прискорбными событиями, которые ясно показали Дмитрию, какие хищные инстинкты скрывались в его армии. По выражению москвичей, Чернигов был их воротами. Захватом его открывался свободный путь к столице. Город был хорошо укреплен, снабжен пуш-

ками, большим количеством пороха, ядер и всяких припасов. При приближении Дмитрия в Чернигов, точно так же, как и в Моравске, произошло возмущение простонародья против воеводы, князя Татева. Народ был соблазнен обещаниями «царевича», воевода же остался верен своей присяге. Однако, видя враждебное настроение толпы, он заперся со стрельцами в крепости, предоставив город мятежникам. Тогда последние решили, что победа им обеспечена, стоит только призвать казаков, которые покончат с гарнизоном и воеводой. Однако случилось то, чего они совсем не ожидали. По первому же знаку мятежников казаки, шедшие в авангарде, помчались к городу; но князь Татев встретил их сильным огнем, расстроившим их ряды. Для грабителей этого было вполне достаточно. Они и не подумали идти приступом на крепость: перед ними была более легкая добыча. Под предлогом возмездия казаки обрушились на беззащитный город и дали волю своей алчности. Приведенные в ужас жители бросились с жалобами к Дмитрию. Немедленно появились его адъютанты. На следующий день прибыл и сам он. Но ему оставалось лишь констатировать совершившийся факт. Нарушение дисциплины было вопиющее; царевич был возмущен; на казаков сыпались упреки, угрозы и приказания вернуть награбленное добро. Однако, несмотря на весь этот шум, удалось вернуть потерпевшим лишь самую ничтожную часть добычи. Так жители Чернигова были награждены за свое усердие. Что же касается князя Татева, то он скоро согласился примкнуть к новому государю.

Таким образом, к Дмитрию перешли две русские крепости. Конечно, это был пока скромный успех; однако моральное значение его было огромно. Известие, что царевич победоносно идет на Москву, распространилось повсюду. Чем более его история казалась

чудесной, тем охотнее ей верили. К Дмитрию сотнями стекались крестьяне, бродяги и нищие. Они падали согласно народному обычаю ему в ноги, а затем становились под его знамена. 12 ноября прибыли десять тысяч донских казаков; спустя несколько дней подошло еще четыре тысячи запорожцев; они были завербованы еще раньше и ожидались с нетерпением. Общая численность армии к этому времени, видимо, достигла тридцати восьми тысяч человек. Это могло бы представить внушительную силу при условии сплоченности, дисциплинированности и подчинения вождям. Но в этой массе было много элементов, не признававших никаких правил и склонных к розни.

Восьмидневная стоянка у Чернигова доказала это более чем достаточно. У Дмитрия часто не хватало денег — главного нерва всякой войны; но его приверженцы не хотели служить даром. С казаками еще можно было сговориться: они соглашались на продолжительные отсрочки. Поляки же, наоборот, были неуступчивы — как относительно суммы вознаграждения, так и в вопросе сроков его выдачи. В тот день, когда не хватило жалованья, в войске вспыхнул мятеж, сразу принявший угрожающие размеры. Наиболее дерзкие бунтовщики завладели одним из знамен, выстроились около него и вышли из лагеря, направляясь к Польше. С ними уходили надежды Дмитрия на победу. Царевич бросился вслед за поляками; но ни обещания, ни угрозы не помогли. Мятежники желали не слов, а денег. Они не отдавали знамени и не думали возвращаться. Дмитрий совершенно пал духом. В страшном волнении, расстроенный, с глазами, полными слез, он обратился к капелланам. Он хотел бы отомстить за свое бесчестие. Он спешил исповедаться во всех своих грехах. Но что делать? С чего начать? Царевич окончательно терял голову. С великим трудом удалось его

успокоить. Полное самообладание вернулось к нему только тогда, когда бунтовщики возвратились в лагерь.

Дневник отца Левицкого рассказывает нам об этом эпизоде; однако иезуит не сообщает, каким образом достигнуто было умиротворение. Весьма вероятно, этому помогло золото, наконец, раздобытое в Чернигове.

Дмитрий воспрянул духом так же легко, как раньше поддался отчаянию. 21 ноября его армия стояла уже у Новгород-Северского. Но напрасно царевич мечтал и здесь добиться легкого успеха. Одним из начальников местного гарнизона был Петр Басманов. Историки нередко изображали его великим стратегом. Каковы бы ни были военные способности Басманова, он обладал сильным характером. Его отличала грубая энергия; вдобавок он носил имя, прославленное в летописях опричнины. Когда вдали показался овраг, Басманов прибег к тактике, обычной для русских при таких обстоятельствах. Запылали посады, подожженные со всех четырех концов. Жители, как попало, сбились в крепость. Авангард царевича не имел здесь того успеха, как в других городах. Его встретили насмешками, полными грубого остроумия. О массовом переходе людей на сторону Дмитрия не было и речи. Лишь отдельным перебежчикам удалось выбраться из крепости, но и это скоро прекратилось.

Дело принимало серьезный оборот. Крепость была неприступна. Пришлось начать регулярную осаду. Стали рыть рвы и строить машины, прежде чем идти на штурм. Осаждающие с жаром принялись за дело; в течение нескольких дней подготовительные работы были закончены. Загрохотали импровизированные батареи, и при сильном морозе раза три-четыре днем и ночью армия царевича бросалась на стены Новгорода. Конница, спешившись, поддерживала атаку. Натиск нападающих казался непреодолимым. Но каждый раз

удачно наведенные пушки защитников города производили такое опустошение в рядах врагов, что те волей-неволей вынуждены были отступать. Положение становилось критическим. Сведущие люди говорили о необходимости бить брешь. Однако это было невозможно за неимением пушек крупного калибра.

Дмитрий сердился. Им опять овладевало уныние. Он с горечью жаловался на неудачи и высмеивал трусость поляков. Те отвечали ему грубостями. Конечно, этот обмен «любезностями» не облегчал взятия крепости.

Неудачи осады были скрашены добровольной сдачей нескольких окрестных городов. С 10 по 12 декабря Путивль, Рыльск, Севск, Курск и Кромы прислали выборных с заявлением о своем полном подчинении и признании царем Дмитрия Ивановича. Во всем бассейне Десны, Сейма и дальше Дмитрий становился народным героем. Число его приверженцев заметно возрастало. Толчок к этому исходил от казаков. Отдалившись на берегах Днепра от главной армии, они шли к месту соединения обходными путями. На своем пути они встречали население, готовое слушать их и следовать за ними. Оно было истомлено московскими поборами; оно стремилось к социальному освобождению. Эта масса шла к Дмитрию не с пустыми обещаниями, но с осязаемыми доказательствами своего рвения. Народ приводил к царевичу сторонников Годунова и отдавал их в полное его распоряжение. Жители Путивля обнаружили особое усердие: они выразили готовность драться против Басманова и доставили пушку. Среди этой смены успехов и неудач внезапно распространился слух, что приближается армия Бориса: таким образом, войско Дмитрия рисковало очутиться между двух огней.

Слух оказался верным. Годунов долго колебался. Весьма вероятно, он чувствовал отвращение к войне с

каким-то темным искателем приключений. Однако когда другие средства не привели ни к чему, он увидел себя вынужденным принять унизительный вызов. Призрак облекся в плоть и кровь. С ним воскресло роковое имя. «Царевич» становился грозным. У него было достаточно силы, чтобы оспаривать у Бориса власть над государством. В какие-нибудь четыре месяца Дмитрий успел перейти Днепр, водвориться в русской области и словно околдовать ее население. Было более чем своевременно начать действовать против него. При таких обстоятельствах Борис ударился в противоположную крайность. Он сконцентрировал значительные силы у Брянска. Командование ими он поручил сыну опального боярина Федору Мстиславскому, который снискал его доверие своими обещаниями. Эта-то армия и двинулась против Дмитрия.

Все шансы победы были на стороне московского государя. Войска его, набранные из русских, татар и немцев, были менее утомлены и более многочисленны. Кроме того, Мстиславский мог напасть на армию Дмитрия с фронта и тыла, загнать ее к несокрушимым стенам Новгорода и раздавить в кольце из огня и железа. Ни одним из этих преимуществ Мстиславский не воспользовался. После незначительных стычек и безукоризненных переговоров серьезное дело завязалось лишь 31 декабря 1604 г. Его кровавые перипетии описали Борша и Маржерет. Один из авторов — соратник Дмитрия, другой — пособник Мстиславского. И тот и другой по-своему определяли число сражавшихся и изображали маневры войск. Историки с присущей им проницательностью пытались соединить оба рассказа; однако этим они лишь добились того, что совершенно запутали картину. Не лучше ли признаться в том, что противоречия непримиримы? Не проще ли ограничиться данными, одновременно приводимыми обоими

очевидцами? Избирая такой путь, мы можем утверждать с полной достоверностью, что честь этого дня принадлежит полякам. Стремительные атаки их поколебали русских, так что победа осталась за Дмитрием. Князь Мстиславский, сам раненый в схватке, поспешно очистил поле сражения. Не подобрав даже мертвых, он начал отступление под защиту окружающих лесов. Его парчовое знамя и несколько пушек остались в руках победителей. Маржерет заканчивает свой рассказ следующим странным замечанием: «В заключение можно сказать, что у русских, точно отнялись руки для ударов». Борша, хотя и более сдержанно, но также отмечает, что русские были обращены в бегство с удивительной легкостью.

Что касается Дмитрия, то в своем торжестве он видел проявление высших сил. В порыве энтузиазма он приписал победу помощи частицы святого креста, которую он получил от капелланов. За несколько дней до сражения Дмитрий встретил одного из них и обратился к нему со следующими словами: «Я дал обет: если Господь благословит мои усилия — воздвигнуть в Москве церковь в честь святой Девы. Вам я и думаю ее передать». Ободренный этим признанием, иезуит упомянул о драгоценной реликвии, недавно отправленной из Польши и предназначенной для царевича. Дмитрий, как всегда в таких случаях, обнаружил благочестивое нетерпение: он потребовал немедленно доставить ему святыню и повесил ее к себе на шею. После победы, вызывая в своей памяти великую тень Константина, он решил, что находится под покровительством неба, подобно сопернику Максенция.

В конце концов, надо признаться, что, за исключением нескольких блистательных атак польской кавалерии, бой не был особенно жарким и не дал решительной победы самозванцу. Виноват в том был не

Дмитрий. Его план заключался в том, чтобы преследовать врага, отрезать ему отступление и разбить его силы. Поляки требовали другого. Лишний раз они доказали, что на первом месте у них стояло жалованье, а потом война. А так как у Дмитрия пока не было, чем платить им, то они и отказались ему повиноваться. Победа обошлась царевичу дорого: вспыхнуло новое возмущение, еще более серьезное, чем предыдущее.

Лозунг мятежников был тот же, что и раньше. Они требовали возвращения в Польшу. Чтобы удержать жолнеров, Дмитрий, по словам Борша, прибег к опасному средству. Был заключен договор с ротой Фредра. Этот отряд пользовался бóльшим вниманием, чем остальные: на этот раз он получил свое жалованье, но зато обязался спасти положение. Однако оказалось, что все это были напрасные старания и ложные расчеты.

Тайное соглашение Дмитрия с избранной ротой обнаружилось. 10 января вспыхнул новый мятеж в войске. Ничто не могло сдержать анархии; лагерь пришел в полный беспорядок; все было разграблено: жизненные припасы и амуниция, пушки и знамена. Гетман, отважно рискуя собой, выступил посредником. Однако ему удалось добиться от мятежников только успокоения на несколько часов. В следующую же ночь буря поднялась еще сильнее. Было невозможно остановить ее неистовства. Среди криков было решено немедленно вернуться в Польшу всем жолнерам; тотчас же мятежники тронулись в путь.

Тот же гетман, который убеждал других остаться, 14 января сам отправился в Польшу. Это не было отказом от участия в деле. Столь странное совпадение Мнишек объяснял тем, что получил новые повеления короля, с которыми желает сообразоваться. Другим предлогом служила для Мнишека необходимость защитить

дело претендента перед сеймом. По-видимому, волнение военного времени и случайности битв мало привлекали старого и немощного воеводу. Немедленно он был заменен Адамом Дворжицким.

Однако было легче избрать нового начальника, нежели удержать под знаменем распадающуюся армию. При виде возрастающего количества дезертиров Дмитрий тревожился все более и более. Он бросался от одной палатки к другой, умолял не оставлять его... Но всюду он встречал отказ, а часто и оскорбления. На этот раз он опять со своим горем обратился к капелланам и со слезами просил их содействия. Они обещали ему, что бы ни случилось, остаться на своем посту. Таково было их решение; они не изменили ему. Дмитрию оставалось только воспользоваться им.

Когда настал удобный психологический момент, экипаж иезуитов тронулся по московскоїї дороге. Видимо, этот пример положил конец колебаниям многих. Около двух тысяч поляков согласились следовать за царевичем и разделить его участь; дезертиров оказалось всего около восьмисот человек.

После пережитых бурных сцен Дмитрий не решился оставаться под Новгородом и снял с него осаду. Впрочем, он не видел никакого неудобства в том, чтобы оставить позади себя крепость в руках неприятеля. Его главной целью было возможно скорее дойти до Москвы. Именно там он рассчитывал добиться легкой и полной победы. Сопровождаемый шайками казаков и расстроенными батальонами поляков, он направился в Севск, чтобы там привести свою армию в больший порядок. Этот город был новым этапом на пути к столице. Как и вся Комарницкая область, город был вполне предан царевичу. Несколько дней отдыха в Севске дали Дмитрию возможность оглянуться назад и учесть свое положение.

Два обстоятельства омрачали его настроение и заботили его чрезвычайно. Во-первых, бегство поляков могло возобновиться; во-вторых, среди самих русских уже ходили слухи относительно отречения царевича от православия. Таким образом, Дмитрий видел себя между двух огней. Ему грозило или быть покинутым одними, или же стать ненавистным для других за свое латинство. Все это он считал следствием интриг Замойского и Януша Острожского. Не имея возможности бороться против них из недр Московского царства, Дмитрий предоставлял это нунцию Рангони: он заклинал прелата принять его под свою защиту. С этой просьбой он отправил особого гонца из Севска в Краков. Однако в то время, как царевич предпринимал меры против одной стороны, враги грозили ему с другой. Дмитрию предстояла новая битва.

Князь Мстиславский не терял из виду своего врага и собирался отплатить ему за понесенное поражение. После неудачи при Новгороде Борис Годунов, чтобы поддержать дух войска, обошелся с побежденными, как с победителями [1]. Он обратился к армии со словами поощрения. Все, от военачальника до последнего солдата, получили от царя щедрые подарки. Мстиславский пользовался уходом придворного лекаря, присланного из Москвы. Это было исключительной милостью, которая оказывалась в чрезвычайно редких случаях. Оправившись от своей раны, князь быстро реорганизовал армию. Его помощником был Василий Шуйский, расследовавший некогда Угличское дело и представлявший собой идеальный тип предателя.

Правительственная армия двинулась к Севску небольшими переходами.

[1] Дата сражения отнесена к 21 декабря, по старому стилю.

В конце января она, как выяснилось, стояла уже в окрестностях города.

Узнав об этом, окружающие Дмитрия разделились на два лагеря. Поляки, более правильно оценивая положение вещей, хотели вступить с годуновцами в переговоры, выиграть время и действовать путем соблазна. Однако такая медлительность была не по нраву казакам.

Эти рубаки сгорали от желания драться. Дмитрий стал на их сторону. В конце концов, никто не сомневался в победе. 30 января 1605 года полки самозванца весело выступили против неприятеля, чтобы сразиться с ним около небольшой деревеньки Добрыничей.

И на этот раз исход сражения нам известен лучше, нежели его подробности.

Борьба шла между качеством и количеством, так как Мстиславский имел значительный перевес силы. И, бесспорно, качество потерпело поражение. Вначале поляки стремительно бросились в атаку. Несясь на своих легких и быстрых скакунах, эти пылкие всадники заставили отступить московские войска. Может быть, они и разбили бы их, если бы не неожиданное отступление запорожских казаков во время самой горячей схватки. Казаков было около семи тысяч. В тот момент, когда все рассчитывали на их поддержку, они бросились в бегство, даже не будучи атакованы. Эта неожиданная паника показалась настолько подозрительной, что распространился слух, будто казаки были подкуплены московским золотом.

Подобно царевичу и Борша слагает на казаков ответственность за позор и поражение. Но что сказать об образе действий поляков? Пусть они блестяще открыли сражение. Однако не чересчур ли скоро они пали духом? Не слишком ли поторопились они последовать за казаками? Борша истолковывает действия

своих соотечественников с большим великодушием: они будто бы обратились в бегство, чтобы вернуть дрогнувших казаков.

Этот благородный мотив остался неизвестным Маржерету. «Окутанная пороховым дымом русская армия, — говорит он, — выпустила от 10 до 12 тысяч зарядов и произвела в рядах поляков такое опустошение, что они в большом смятении бросились назад». И это еще не все: «Остатки польских сил приближались с большой поспешностью к полю сражения, но, видя беспорядочное отступление своих, сами обратились в бегство...» Противоречивые рассказы очевидцев создают такое впечатление, что при Добрыничах возникла та необъяснимая паника, которая порой неожиданно охватывает армию, отнимает у нее веру в свои силы и причиняет более вреда, чем оружие врага. Эта паника была настолько же общей, насколько и стремительной: беглецы, минуя лагерь, бросили амуницию, багаж, оружие, повозки. Объятые, как и остальные, паникой, оба иезуита захватили только принадлежности своей капеллы. Вскочив на лошадей, предоставленных в их распоряжение Дмитрием, несмотря на свою неопытность, они поскакали во весь опор с опасностью переломать себе ноги и разбиться насмерть.

Князь Мстиславский торжествовал победу. Но для ее полноты необходимо было захватить самозванца.

Таким образом, мятеж был бы обезглавлен, а Польша лишилась бы своего орудия. Это имело бы существенное значение.

Годунов того и желал; такой успех прекращал всю войну. Но как можно было достигнуть этого? Что сталось с самим царевичем? Видя полное свое поражение, Дмитрий поспешно бежал. Свою безумную скачку он прекратил, чтобы перевести дух, лишь в Путивле. Туда он прибыл 3-го февраля. Вокруг него собрались

остатки армии. Его соратники возвращались к нему, разбитые усталостью, без силы, неспособные к сопротивлению. Эта кучка беглецов могла бы стать легкой добычей московских войск. Еще несколько часов, небольшое, последнее усилие — и с Дмитрием было бы покончено. «Враг мог бы гнаться за нами, — говорит Лавицкий, — догнать, перебить и зажечь лагерь. Но ему помешало Провидение: он остановился от нас, не дойдя мили, и не решился воспользоваться своей удачей».

И действительно, медлительность Мстиславского была весьма подозрительна. Почему не догадался он о полном разгроме побежденных? Почему не оставил он свои обозы, не двинулся за врагом форсированным маршем и не нанес ему последнего удара?

Бесспорно, была трудная задача; но она выдвигалась неизбежным ходом вещей. А вместо этого московский князь медлил. Он не дошел даже до Путивля; он остановился на полудороге около Рыльска и начал бомбардировать этот город, рискуя оказаться между двух огней. Благодаря такому образу действий Дмитрий был спасен.

Когда остатки армии царевича соединились в Путивле, оказалось возможным определить размеры катастрофы. Сам Дмитрий не видел выхода из создавшегося положения. Он был опечален; он почти приходил в отчаяние. Что будет с ним без денег и без людей, лицом к лицу с неприятелем? Продолжать ли эту войну или вернуться в Польшу? Попытаться ли выиграть дело при помощи ловкости и отваги, или же отказаться от короны, как от недостижимой цели? Перед Дмитрием вставала дилемма Гамлета. Ответить на вопрос было в его власти, но он сам не знал, что сказать.

Во время одного разговора с капелланами царевич поделился с ними своими мыслями и сомнениями.

Сначала заговорили о недавнем поражении. По мнению обоих отцов, казаки не были ни единственными, ни главными виновниками несчастья. В оценке недавних событий иезуиты стали на более возвышенную точку зрения: они внушали царевичу мысль о сверхъестественном вмешательстве. Во время сражения один солдат изнасиловал русскую женщину. Этот возмутительный соблазн произошел публично и требовал возмездия неба. «Вот в чем скрыты причины несчастья, — говорили капелланы. — Преступления людей навлекают гнев Божий; этим и объясняется поражение». Дмитрий легко усвоил эту точку зрения; он был возмущен отвратительным поступком солдата и долго распространялся на эту тему. Но в конце своей тирады он опять поставил мучительный вопрос, который ему хотелось разрешить прежде всего. Надо ли продолжать войну или нет? У иезуитов не было склонности отвечать на это. Их миссия была точно определена нунцием Рангони: политика и война были вне их компетенции. Поэтому они отослали Дмитрия к его товарищам по оружию; сами же ограничились своим обычным заключением, что надо положиться на Господа Бога, вольного в жизни и смерти.

Эта неопределенность царила недолго. В течение четырех месяцев пребывания Дмитрия в Путивле события следовали одно за другим с такой быстротой, что скоро он забыл свои неудачи. Царевич вновь принялся за дело, развивая необычайную энергию. Иезуитам часто приходилось встречать Дмитрия, говорить с ним и наблюдать его. Их впечатления бросают луч света на эту личность.

Дмитрий обладал даром доверяться, не выдавая себя. Он скрывал политические тайны, но в то же время любил распространяться относительно своих планов и вопросов, имеющих общий интерес. Его смелая

мысль залетала далеко, притом он умел представить свои проекты в увлекательном виде. Капелланы, возвращаясь к себе после таких бесед, набрасывали свои впечатления на бумагу. Они явно находились под очарованием легкой и живой речи претендента; она льстила наиболее дорогим их надеждам; она опережала все события... Обаяние было тем более сильно, что в их глазах Дмитрий был настоящим сыном Ивана IV. Если бы они в том и сомневались, их скоро убедил бы тот горячий прием, который встречал царевич у жителей Московского государства. Сопротивление исходило сверху и поддерживалось силой. Народные же массы, предоставленные сами себе, легко шли за Дмитрием. Их увлечение носило стихийный характер. По одному подозрению в помощи изменникам двое воевод были немедленно изрублены. Голос Годунова не встречал отзвука; на анафемы патриарха Иова никто не обращал внимания. Московское правительство могло проклинать самозваного царевича и отождествлять его с Гришкой Отрепьевым сколько ему было угодно; народ считал Дмитрия истинным царевичем и восторженно провозглашал его государем. Сам Дмитрий, более предусмотрительный, чем в Польше, всячески старался доказать, что он не имеет ничего общего с Гришкой Отрепьевым. В Путивле был приведен человек, обвиняемый в колдовстве. Свидетели удостоверили, что он и есть истинный носитель того имени, которое было неожиданно пущено в оборот Годуновым. Далее мы увидим, какова была цена этого показания.

В глазах народной массы истинным царевичем мог быть только усердный ревнитель православия. Дмитрий прекрасно знал это; поэтому он заботливо хранил тайну своего отречения. Украдкой же, по крайней мере с иезуитами, он оставался верным католиком и даже гордился строгим выполнением католических обрядов.

Не только на Рождество, но и на Пасху, когда за его спиной уже не стоял воевода сандомирский, он исповедывался по своей инициативе. Постоянно мечтая о короне, он заявлял на исповеди, что близок день его венчания на царство. Иногда он отваживался давать благочестивые советы окружающим его полякам и отсылать их к капелланам для разрешения от грехов. Тем не менее его благочестие носило, по преимуществу, внешний, почти декоративный характер. Таким образом, он грешил тем же самым, в чем упрекал других. Чтобы добиться успеха, он обычно давал обеты. Часто он просил благословения. Рангони рассказывает, что перед сражением он падал на колени и произносил такую молитву: «Господи, если дело мое правое, помоги мне и защити меня; если же оно неправо, да свершится суд Твой надо мной». Припомним, с каким чувством он принял частицу святого Креста. После победы она стала Дмитрию еще дороже. Он начал воздавать ей религиозное поклонение и, по русскому обычаю, произносил перед ней свои клятвы. Когда чудотворную икону курской Божьей Матери переносили в Путивль, царевич выделялся среди всех остальных ее почитателей своим усердием.Он вышел ей навстречу, заставил обнести ее крестным ходом вокруг города и постоянно хранил этот образ около себя. Даже болезнь не помешала ему разыграть роль глубоко верующего человека. В первых числах мая Дмитрий схватил лихорадку. Ввиду отсутствия врача и какой бы то ни было помощи он не знал, к чему прибегнуть. Тогда ему предложили камень безоар. Капелланы запаслись этим камнем; молва приписывала ему чудесные свойства. Дмитрий охотно согласился сделать опыт. Частица драгоценного лекарства была опущена в чашу с водой. Окружающие больного преклонили колена. Дмитрий широко осенил себя крестным знамением и произнес:

«Отче наш»... Затем он проглотил лекарство. Скоро Дмитрий выздоровел; после этого он стал поклонником чудодейственного камня.

Вопрос о соединении церквей, видимо, не возбуждался в Путивле. Он был исчерпан уже при переговорах с Рангони и в соглашении с Мнишеком. Тем не менее царевича занимали религиозные проблемы; при случае он готов был даже разыграть роль реформатора. Особенно охотно мысль его обращалась к одному предмету. Благодаря долголетнему общению с монахами, Дмитрий отлично изучил эту среду. К ней он не питал никакой слабости. Напротив, ничто не могло сравниться с его глубоким презрением к черному духовенству. Выслушивая его обличительные речи против монахов, можно было убедиться, что царевич пережил сам все то, о чем говорит. Внешность не обманывала Дмитрия. Наоборот, показное благочестие возбуждало его негодование. По мнению царевича, русские монахи пустой формализм ставят выше самых важных религиозных обязанностей. Впрочем, то был еще самый легкий упрек, который он им делал. Его отвращение к монахам вызывалось другими, более серьезными их недостатками. Дмитрий обвинял иноков в том, что они предаются беспутной жизни, коснеют в невежестве и праздности и пренебрегают своими уставами настолько, что порой не помнят ни имени их создателя, ни происхождения своих монастырей. Всякий раз, как разговор касался этой темы, Дмитрий становился неистощим. В его речах чувствовались горечь и гнев; можно было подумать, что он замышляет против монахов какие-то суровые меры. Однажды, после жестоких нападок на монастыри, царевич обратился к иезуитам с вопросом: «Что делать? Как бы разом искоренить все это зло?» Положение было щекотливое. Русские насторожились; но капелланы предпочли пре-

доставить вопрос на собственное усмотрение молодого реформатора.

Несмотря на свой интерес к религии, Дмитрий отдавал явное предпочтение другой области идей: он был фанатическим приверженцем научного знания. Пребывание за границей дало ему возможность сравнить с этой стороны Россию с Польшей.

Польша Ягеллонов с ее коллегиями и школами до очевидности была выше невежественной и отсталой Москвы. Дмитрий прекрасно понимал это. Он мечтал распространить образование в государстве, которым ему предстояло управлять. На этот счет у него были совершенно определенные планы. Его бесповоротным решением было насадить в России школы и академии. Он отправит за границу русских молодых людей. Чтобы создать разом элементарные школы и курсы высших наук, он вызовет в Москву множество учителей и учеников. Такая мера была бы самой действенной, и, если бы Дмитрий встретил более энергичную поддержку, весьма вероятно ему удалось бы и добиться большего, чем Годунову.

Спустя столетие, на повороте русской истории, Петр Первый не найдет ничего лучшего, как сделать то же самое, что предлагал Дмитрий.

Эта любовь к науке была чужда всякой афектации; в ней не было и ничего вульгарного. Она основывалась на глубоком личном убеждении. Сам Дмитрий был одарен тонким умом и быстрой восприимчивостью. Он легко схватывал любой вопрос как в деталях, так и в его целом. Его феноменальная память никогда ему не изменяла. Развитием этих способностей Дмитрий весьма мало был обязан школе. Его литературный багаж ограничивался несколькими текстами из Библии, особенно из Нового завета, спутанными и отрывочными сведениями из истории и географии. Царевичу были

известны имена и великие деяния Македонского, Александра Великого, Константина и Максенция. В случае нужды, он делал ссылки на Геродота. Даже в походное время на его столе раскладывались плоскошария. Он умел ими пользоваться. Склонясь над картой, он показывал капелланам путь в Индию через Московское царство. Он сравнивал его с морским путем, огибающим мыс Доброй Надежды, и отдавал предпочтение первому. Что касается языков, то Дмитрий не знал латыни; русским же он владел лучше, чем польским. Только при помощи родного языка мог он сноситься с московскими боярами, многие из которых никогда не открывали ни одной книги и не написали ни единой строки.

Однако все то, что знал Дмитрий, не могло идти в сравнение с тем, что он хотел знать. Он желал получить основательное образование. В Путивле на досуге он сделал довольно странную попытку. 20 апреля Дмитрий приказал позвать обоих иезуитов. К их великому изумлению, в присутствии нескольких русских он начал говорить им об истинной мудрости и о путях к ее достижению. По его словам, государь должен отличаться в двух областях: в искусстве войны и в любви к наукам. После такого вступления царевич без околичностей заявил, что хочет заняться изучением наук: капелланы же должны оказать ему помощь. Застигнутые врасплох, оба отца не знали, что ответить. Они опасались, как бы вождь армии не оказался плохим учеником, как бы он не забыл о грамматике, торопясь в сражения. Однако Дмитрий не принял никаких отговорок и согласился лишь на короткую отсрочку. На другой день, хотя и решив уступить, иезуиты еще раз попытались уклониться. Однако все отговорки были напрасны. Увидев в руках отца Андрея книгу, Дмитрий взял ее. То был Квинтилиан. Без дальних слов он

пригласил духовников сесть и передал книгу отцу Андрею. «Пожалуйста, читайте эту книгу, — сказал он, — и объясните мне некоторые ее места. Я с удовольствием буду слушать вас». Первый урок, по всем показаниям, ограничился самыми элементарными объяснениями, но живо заинтересовал любознательного ученика. Дмитрий окончательно решил осуществить свой план занятий. Были организованы регулярные курсы. Утром один час посвящался философии, вечером же — грамматике и литературе. Оба наставника преподавали на польском языке, секретарь записывал за ними и переводил на русский язык, чтобы облегчить труд усвоения. Дмитрий держался, как настоящий ученик. Стоя с непокрытой головой, он серьезно повторял свой урок. Однако это ревностное учение продолжалось недолго. Русские начали с недоверием относиться к частым и продолжительным свиданиям царевича с иезуитами. Стали распространяться неблагоприятные для Дмитрия слухи, и через три дня занятия были прерваны. Дмитрий никогда больше не возобновлял своих уроков. Но его отношение к обоим иезуитам осталось прекрасным. Отец Андрей постоянно служил ему секретарем для переписки на латинском языке. Правда, отношение это испытывало некоторые колебания. Когда счастье улыбалось Дмитрию, он пытался отдалиться от капелланов; однако несчастье опять быстро сближало его с ними, и временное охлаждение вознаграждалось еще большим вниманием и лаской. Тогда с благодарностью царевич припоминал услуги, оказанные ему отцами. Он приглашал их к своему столу и по русскому обычаю поднимал чашу за здоровье генерала, отца провинциала и всей армии Иисуса. В такие минуты язык Дмитрия развязывался. Он устремлял свой взор в будущее и обычно возвращался к своей любимой теме о культуре и прогрессе. Он с нетерпением

ждал того момента, когда одновременно в различных частях его страны будут основаны многочисленные коллегии. Его живо интересовали их деятельность и даже расходы на их устройство. Речи Дмитрия были весьма определенны; поэтому отцы полагали, что они накануне создания новых школ, почему они и просили необходимых полномочий для устройства этого дела.

Даже в повседневной жизни Дмитрий был предупредителен и любезен. Его манеры отличались тонкой утчивостью. Он желал, чтобы капелланы пользовались теми же удобствами, что и он. Он осведомлялся об их здоровье, заботился об их экипаже и лошадях, дарил им ткани и образа для капеллы и даже уплачивал их текущие мелкие расходы. Особые знаки симпатии придавали еще большую цену этому вниманию. Однажды, надев священнический баррет, Дмитрий смотрелся в зеркало. «Этот головной убор удивительно идет вам, — сказал ему один поляк, — однако вас должна украшать корона». «Что касается меня, — ответил царевич, — то я не отказываюсь от мысли когда-нибудь впоследствии постричься в монахи». Нетрудно догадаться, каких монахов он имел в виду.

С другой стороны, каковы бы ни были личные чувства Дмитрия, ему было выгодно поддерживать добрые отношения с иезуитами. Благодаря своей деятельности оба отца приобрели значительное влияние в армии. Их палатка служила капеллой и была открыта. Солдаты собирались там, чтобы прослушать мессу, проповедь или получить наставление. Приходилось полными пригоршнями бросать добрые семена в эту невежественную и грубую массу. В течение Рождественского и Великого постов религиозное рвение этой паствы удвоилось. Большие праздники справлялись весьма торжественно и сопровождались пальбой из пушек и военной музыкой. Во время Пасхи для солдат было

устроено драматическое представление Страстей Господних. Оно преисполнило русских величайшим восхищением. Каждый день нес капелланам заботы: они посещали больных, ухаживали за ранеными, обходили перед сражением ряды и отважно шли впереди войска к стенам осаждаемых городов. Таким образом, между солдатами и двумя священниками создавалась крепкая духовная связь. Дмитрий скоро заметил это и был достаточно предусмотрителен, чтобы извлечь пользу из своих наблюдений.

Деятельность иезуитов почти исключительно ограничивалась средой поляков. С русскими, бывшими в армии, приходилось соблюдать некоторую осторожность, довольствуясь хотя бы мирным сожительством с ними. Дмитрия и без того подозревали в латинизме; предрассудки в среде его соотечественников чересчур глубоки, чтобы можно было думать о сближении. Что касается казаков, то они были заняты исключительно тем, как бы больше получить добычи, и, за немногими исключениями, не интересовались религиозными разногласиями.

Напротив, простой народ был более доступен влиянию иезуитов — особенно в Путивле, где армия стояла в течение долгого времени. Черная ряса здесь не внушала к себе страха. Многие присутствовали на проповедях и службе духовников; наиболее же смелые проникали к ним и на дом. Тут многое возбуждало любопытство посетителей: самые обычные предметы в их глазах были чудом. Особенно интересовал их священнический баррет. Они внимательно рассматривали его со всех сторон, пробуя даже примеривать его на себя. Скоро иезуиты стали известны всему городу. Дети показывали на них пальцами и бежали им навстречу, когда выходили из дому. Некоторые жители, быть может, подученные поляками, попросили у капелланов,

чтобы научили их читать и писать. Один священник простер свою любознательность до того, что захотел изучить латинский язык. Некий молодой человек предложил сопровождать своих будущих наставников до самой Москвы. Все эти выражения симпатии трогали сердца иезуитов. Они не скрывали своего расположения к русскому народу и питали беспредельные надежды. Им хотелось видеть возможно больше работников на ниве, на которой зрела уже жатва.

События, видимо, оправдывали эти надежды. Поражение дало претенденту больше, чем победа.

# Глава II

# ПОБЕДОНОСНОЕ ШЕСТВИЕ К МОСКВЕ 1605 г.

Собственно говоря, после поражения при Добрыничах, московская кампания была закончена. Крупных сражений больше не было. Происходили только стычки, да шла безрезультатная осада нескольких укрепленных мест.

Итоги кампании заключались в следующем. Дмитрий располагал лишь остатками польских эскадронов, небольшим количеством казаков и русскими крестьянами, вооруженными наспех и кое-как. Наоборот, у Годунова были значительные силы. К его услугам на самом театре войны оставались две вполне готовые к делу большие армии. Одна из них, одержавшая победу при Добрыничах, находилась под начальством князя Мстиславского и Шуйского. Другая во главе своей имела Шереметьева. Она стояла лагерем у Кром и должна была осаждать эту крепость. Несмотря на бесспорные внешние преимущества, положение Годунова готово было стать критическим: в его руках была лишь материальная сила, душа же народа отвернулась от него.

Первое время царевичу приходилось только пользоваться ошибками неприятеля. Вместо того чтобы нанести решительный удар, князь Мстиславский медлил перед осажденным Рыльском. Эта крепость одной из

первых перешла на сторону самозванца. Она осталась верна Дмитрию и тогда, когда счастье ему изменило.

Упорное сопротивление Рыльска содействовало широкой популярности царевича. Со стороны московского правительства была допущена и другая, столь же серьезная ошибка. Вся Комарницкая область, помогавшая самозванцу, была разграблена. Алчные солдаты выжгли ее и затопили кровью. Эти ужасные репрессии были на руку Дмитрию. Преследуемые, как дикие звери, не надеясь ни на прощение, ни на жалость, несчастные жители области искали убежища в Путивле. Там их ожидал хороший прием. С другой стороны, целые города под влиянием казаков, идущих на Москву, открыто становились на сторону Дмитрия. В течение короткого времени семь крепостей, присоединившись к царевичу, отправили ему своих воевод в цепях.

Одна из этих крепостей носила ненавистное имя Борисгорода. Дмитрий с великолепной самоуверенностью назвал ее Царьгородом [1].

В то время, как число приверженцев претендента возрастало с каждым днем, армия Мстиславского малопомалу слабела и таяла.

Из перехваченных писем Дмитрий с радостью узнал об этом.

Письма были адресованы Борису Годунову и дышали глубоким унынием. В армии, стоящей перед Рыльском, все было увлечено общим течением. Было невозможно бороться против дезертирства, принявшего характер повального явления. Что же касается тех, кто оставался еще под царскими знаменами, то их нечем было кормить. Снабжение войска провиантом встречало непреодолимые трудности. Воеводы, не видя

[1] 7 крепостей, поименованных в письме, были: Воронеж, Оскол, Белгород, Валуйки, Борисгород, Елец и Ливны.

другого средства, отваживались даже советовать роспуск армии. Эту меру, казалось, оправдывала недавняя неудача, не предвещавшая ничего хорошего для будущего. Дело в том, что Мстиславский попытался было произвести решительный штурм крепости. Однако князь Долгорукий выпустил против идущих на приступ большое количество снарядов. Тогда победитель при Добрыничах, «чтобы не проливать христианской крови», как говорит летопись, счел своим долгом бить отбой и отступил к Севску и еще дальше.

Мстиславскому не пришлось долго отдыхать. Борис Годунов был выведен из терпения плохими вестями, которые шли к нему со всех сторон. Отступление Мстиславского возмутило его. Перед лицом опасности царь не хотел, чтобы войска его оставались без дела. В силу этого Мстиславский получил приказ соединиться с Шереметьевым, который незадолго до этого обложил Кромы. Эта маленькая крепость, окруженная деревянными стенами и башнями и расположенная среди болот и тростниковых зарослей, недавно перешла на строну Дмитрия. Борис Годунов хотел возможно скорее взять ее обратно. Находясь на полдороге между столицей и театром войны, она имела крупное стратегическое значение. Оставаясь в руках врага, она мешала московской армии двинуться на юг и настигнуть там самозванца, так как это грозило прервать сообщение между армией и сердцем страны. Наоборот, в руках Годунова Кромы преградили бы самозванцу путь на Москву через Калугу и принудили бы его отступить на правый берег Оки, усеянный крепостями. Таким образом, естественный ход событий заставлял противников встретиться у Кром.

После соединения двух армий осаждающие имели на своей стороне численное превосходство. Помимо того, они располагали семьюдесятью пушками. Но московское

правительство напрасно опиралось на превосходство материальных сил. Оно забывало, что гарнизон крепости находился под командой атамана Корелы. Это был один из популярнейших героев донской вольницы. Между своими он слыл за колдуна, так много гениальности и отваги было в этом человеке с самой невзрачной внешностью. Кореле удалось пробраться к осажденным с сильным подкреплением. С помощью казаков и стрельцов в течение короткого времени он смастерил неприступную крепость. Земля ему служила всем: и материалом для укреплений, и местом убежища, и наилучшей защитой. Он копал рвы, рыл траншеи, прокладывал подземные ходы. Таким образом под землей возник целый город, темный и лишенный свежего воздуха, но прекрасно защищенный. Суровые дети степей вели там веселую жизнь. Они создавали военные планы, не опасаясь быть захваченными врагом, который не решался проникнуть в эти запутанные катакомбы. Наоборот, казаки, будучи прекрасными стрелками, часто устраивали вылазки, которые всегда увенчивались успехом. Десять или двенадцать раз осаждающие пытались идти на приступ, но каждый раз их отбивали с значительными потерями. Положение становилось все интереснее. Кучка храбрецов удерживала две большие армии. Маржерет со своим солдатским остроумием, метким словом заклеймил беспомощность царского войска. «Оно стояло перед Кромами и являлось только мишенью для насмешек».

Нигде эта неудачная осада не отозвалась сильнее, нежели во временной резиденции «царевича». В самом деле, несмотря на поражения, Дмитрий остался господином Северской области. Кромы служили ему аванпостом. Его окружали верные жители Путивля. Все это так хорошо защищало его, что московская армия никогда не решилась бы напасть на него. И тем не менее

его-то и хотел захватить Годунов. Царь прекрасно понимал, что семя восстания воплотилось в таинственном царевиче, он знал, что надо поразить его, дабы одним ударом покончить со смутой. Годунов говорил об этом открыто и не прятал своих карт.

Менее вероятно, чтобы царь замешан был в той попытке низкого убийства, ответственность за которую поляки хотели возложить на него. Это покушение было совершено при следующих обстоятельствах. В Путивль из Москвы явились три старых монаха, подозрительных на вид. Их поведение показалось настолько странным, что они были арестованы и заключены в тюрьму. Там их обыскали. У них нашли зажигательные грамоты Бориса Годунова и письма патриарха Иова. Царь обещал жителям Путивля полную амнистию, если они доставят ему Дмитрия живым или мертвым и истребят поляков. Патриарх предавал самым страшным проклятиям самозваного царевича и его соучастников. Что касается монахов, то они имели приказ распространять эти грамоты среди народа и тайно организовать заговор. Злоумышленники были арестованы вовремя. Один из них, подвергнутый пытке, признался во всем. Открытие этого заговора сослужило Дмитрию неожиданную службу. В обуви монахов были найдены конфиденциальные письма, которые были заготовлены ими для тех, кто их послал. Здесь они откровенно признавались: «Дмитрий — истинный сын Ивана IV; бесполезно бороться против правого дела». Это беспристрастное свидетельство могло только поднять авторитет царевича.

В то же самое время Дмитрий постарался использовать относительное спокойствие, царившее в Путивле. После приступа отчаяния он вновь обнаружил мужество и снова обратил свой взор на золоченые купола Кремля. Они влекли его к себе с неодолимой силой.

С новой энергией царевич принялся за политические и военные приготовления. Его усилия не носили характера разбросанности и случайности. Наоборот, в его деятельности чувствовалось единство; она направлялась уверенной и твердой рукой. Тем не менее замечалось уже изменение в том первоначальном плане, который Дмитрий излагал когда-то в Брагине князю Вишневецкому. Очевидно, это вызывалось самими обстоятельствами, хотя до той поры царевич всегда, по мере возможности, следовал указаниям Сигизмунда.

В самом деле, из своего вынужденного убежища «царевич» поддерживал непрерывные связи с Польшей. Он отсылал письма воеводе сандомирскому, членам семьи Мнишека, кардиналу Мацейовскому, нунцию Рангони. Он сообщил им о себе, держал их в курсе событий и при случае просил помощи.

Князь Татев, бывший черниговский воевода, был даже отправлен на варшавский сейм, в качестве представителя будущего московского царя. Здесь его благоразумно держали в некотором отдалении, так что он не имел случая слышать неудобные выражения, направленные против его господина. Более всего Дмитрий добивался в Польше моральной поддержки. Пребывание в Кракове давало ему возможность добрых отношений с двором и магнатами. Что касается военных сил, то он понимал, что найдет их в другом месте, и притом на более дешевых и сходных условиях.

Сигизмунд стоял на другой точке зрения. Припомним, что нашествие на Москву с казаками и татарами король считал безумием и химерой. Вот почему, находясь в пределах Речи Посполитой, Дмитрий заботился о том, чтобы привлечь в свое войско некоторое количество поляков. Однако в течение похода большинство этих буйных волонтеров, разочаровавшись в своих надеждах, бросили свою службу. Было безрассудно рассчитывать, что на их место явится много других.

Сила вещей заставила Дмитрия вернуться к программе, которую так энергично критиковали при краковском дворе. Эту программу он развил до грандиозных размеров. От степей Днепра и Дона до Уральских гор на востоке и до берегов Крыма на юге, все казаки и татары должны быть призваны к оружию. Заранее были указаны места, где им надобно будет соединиться. Эту корыстолюбивую массу, жадную до добычи, предполагалось направить по дороге к Москве, с приказом оставлять на своем пути гарнизоны и подкреплять себя добровольцами. Таким образом, столица неожиданно будет окружена значительными силами и в то же самое время отрезана от провинциальных областей. Таков был гигантский и смелый план, который вырисовывается на основании обрывков корреспонденции Дмитрия. Черты этого плана обнаружились и в действительном ходе вещей.

23 марта в бассейны рек Дона, Волги, Терека и Урала были отправлены гонцы от Дмитрия. Начиная с 30 апреля, к царевичу стали поступать донесения о прибытии в близком будущем новых сил на подмогу.

Донские казаки не ограничились одной своей помощью. Они оказали Дмитрию большую услугу и тем, что привлекли на его сторону других союзников. Мы имеем в виду сильную орду ногайских татар. Годунов хотел ограничить пределы ее кочевий Черным и Каспийским морями и подчинить власти одного князя, вассального, Москве. Однако, видимо, он вел неудачную игру и был побежден в искусстве двойственной политики. В полном согласии с русскими летописями Дмитрий обвиняет царя в том, что тот посеял разногласие между татарами. Годунов сначала обратил свое внимание на князя Истерека, намереваясь сделать из него своего ленника. Он отправил ему в подарок дорогую саблю с предсказанием, что это оружие должно поразить

врагов Руси, а равно и тех, кто не сумеет владеть им. В то же самое время, чтобы лучше обезопасить себя, Борис благосклонно относился к сопернику Истерека.

Последний, предчувствуя предательство или опасность, решил предупредить ее. С семьюдесятью другими князьями он объявил себя приверженцем Дмитрия. Соединившись с донскими казаками, которые вели с ним переговоры, он принес присягу в верности царевичу и дал в качестве заложников своих собственных детей.

Это приобретение имело большую ценность. Дмитрий повелел передать Истереку свою горячую благодарность с приказанием двинуться в поход.

3 мая настала очередь крымских татар. Эти воинственные хищники получили из Путивля подарки, прибытия которых оттуда они, наверное, не ожидали. Это было прекрасным средством привлечь их на свою сторону и заставить признать притязания Дмитрия на московский трон.

Агитация претендента распространялась даже на самые отдаленные области; он располагал многочисленными приверженцами, в изобилии имел средства и легко достигал успеха. Все это вызывает совершенно понятное изумление. Возникает целый ряд вопросов, на которые невозможно дать исчерпывающего ответа. И прежде всего, кто был автором этого грандиозного плана?

Ведь он был так тонко рассчитан и, по существу, проникнут русскими началами. В целом своем он является созданием человека, прекрасно ориентирующегося в политике Кремля и глубоко знающего страну.

Кто давал деньги на личные расходы претендента, кто доставлял ему средства на посольства и организацию армии? Каким образом Дмитрий, недавно побежденный, мог так скоро оправиться? Откуда бралась у

него столь твердая уверенность в возможности немедленно начать новую кампанию?

Так или иначе, но тотчас после поражения Путивль сделался центром, в котором сосредоточилась самая энергичная и успешная деятельность самозванца.

Правда, противники Дмитрия допустили некоторые важные промахи; несомненно, движение, возбужденное самозванцем среди казаков, значительно пополнило его ряды новыми бойцами. И все-таки одним этим нельзя объяснить ни столь быстрой метаморфозы в армии «царевича», ни единодушия, обнаруженного его сторонниками в дальнейшей деятельности. Очевидно, во всем этом сказалась работа каких-то скрытых сил, судить о которых мы можем только по их проявлениям.

Пока Дмитрий предавался своим мечтам, а войска его стягивались к Ливнам, над Москвой разразилась непоправимая катастрофа. 5 мая в Путивль прискакал гонец из русского стана. То был Авраамий Бахметев. Он спешил предложить «царевичу» свои услуги и объявить ему о смерти Годунова. Это событие было чревато самыми серьезными последствиями. Нужно было быть слепым, чтобы не понять этого. Дмитрий был вне себя от радости: его главный враг сходил со сцены в самый критический момент, накануне новой кампании. Смерть Бориса была для «царевича» дороже всякой победы: Дмитрий боялся только одного: как бы радостный слух не оказался ложным. Но скоро все опасения его рассеялись. Новые гонцы, заодно с русскими пленными, подтвердили совершившийся факт; наконец, письма из Ливен от 9 мая устранили последние сомнения на этот счет. Воевода ливенский сообщал Дмитрию все подробности события. По его словам, 29 апреля Борис принимал иностранных послов. Вдруг с ним случился жестокий припадок; кровь хлынула у него изо рта, из ноздрей, из ушей и даже из глаз; она

выступила каплями из всех пор его тела. Царь упал навзничь с трона и, спустя несколько часов, скончался. Патриарх Иов едва успел совершить над умирающим обычный обряд пострижения в схиму.

Скоропостижная смерть Бориса, естественно, вызывала всякие подозрения. Конечно, с одной стороны, она избавляла Годунова от жестоких нравственных тираний; но, с другой, еще выгоднее была она для Дмитрия. Понятно, что всякий объяснял это событие по-своему. Одни говорили, что царь был отравлен ядом, присланным из Путивля; другие толковали о самоубийстве Бориса. Официальная версия, в общем, совпадала с передачей ливенского воеводы; она же была принята Дмитрием и поляками его свиты, а затем перешла и в русские летописи. Оно и понятно: в сущности, она была самая безобидная из всех.

Впрочем, в Кракове, по-видимому, уже давно ждали подобной развязки. Доказательство этого мы находим в письмах великого маршала польского двора. Настоящее имя его было Сигизмунд Мышковский; но почему-то он украсил себя экзотическим титулом маркиза де Мирова и поддерживал с итальянскими князьями живую переписку. 6 января 1604 года он писал кардиналу Альдобрандини и герцогу Мантуи. В этих письмах, за целый год до события, он сообщает о смерти Годунова. Всего удивительнее то, что он воспроизводит все подробности этого происшествия. По его словам, бояре постарались ближе узнать Дмитрия, который был в то время в Польше; после этого они убедились, что он подлинный сын Ивана IV. Тогда в Московском Кремле разыгралась трагическая сцена. Весть о появлении царевича была сообщена Годунову. В ответ на это бояре услышали от царя надменные речи... Тогда они пришли в раздражение, выхватив оружие, они умертвили того, кто являлся в их глазах

уже не более как похитителем чужой власти. Конечно, трудно представить себе что-либо более необычное, нежели эти россказни, передаваемые польским маркизом. Однако они все же имеют известное симптоматическое значение: вспомним об их источнике и хронологической дате... В самом деле, кто собирал эти слухи, чтобы передать их после этого так далеко, куда-то в Италию? Сановник польского двора, близкий к королю человек, посвященный во все тайны политики. Очевидно, что подобные толки ходили в Кракове уже давно и многим казались вполне правдоподобными.

Как бы то ни было, нечего и думать о том, чтобы примирить между собой все эти противоречивые версии. Во всяком случае, внезапная смерть Бориса Годунова разразилась как гром над его семьей и сторонниками. Царь оставил после себя детей — Федора и Ксению; сыну было всего 16 лет. При таких условиях руководящая роль должна была принадлежать вдове царя, которая и была объявлена правительницей. Однако с именем ее были связаны самые мрачные воспоминания. Мария Григорьевна была дочерью кровожадного героя опричнины и наперсника Грозного — Малюты Скуратова. Тем не менее правительство поспешило привести подданных к присяге: в тексте этой клятвы имя правительницы упоминалось наряду с обоими ее детьми. Так осуществилась заветная мечта Годунова: царский венец переходил к его потомству. Но суждено ли было Борису явиться основателем новой династии? Не пришлось ли ему оказаться только отцом злополучной жертвы самозванца? Могла ли наскоро созданная монархия противостоять бурям смутного времени? Способна ли она была выдержать борьбу с претендентом, засевшим в Путивле? В этот критический момент единственной опорой Годуновых являлась армия, стоявшая у Кром. Кто же мог поддержать

в этой армии преданность долгу? Единственный человек, на которого рассчитывали Годуновы. Но и этот человек изменил законному правительству.

Действительно, первые шаги нового правительства были продиктованы безусловным доверием к Петру Басманову. Его верность, находчивость и, наконец, счастье были, казалось, вне всякого сомнения. Ведь устоял же он против всех искушений самозванца! Ведь спас же он Новгород, явился в Москву триумфатором и приобрел обаяние среди войска! Фактически Басманов был главнокомандующим русской армией: ему не доставало только соответствующего титула. Во всяком случае, Басманову были вверены честь русского знамени и судьба новой династии; если же князь Катырев-Ростовский и был поставлен выше его, то исключительно во имя формально-иерархических соображений.

В первых числах мая были отозваны в Москву трое воевод — Мстиславский и Василий и Дмитрий Шуйские, которые бесславно теряли время, стоя под Кромами. На их место были отправлены новые лица в сопровождении митрополита новгородского, Исидора. Прежде всего прибывшие воеводы должны были привести войско к присяге; затем правительство предоставляло им полную свободу действий.

Прибыв по назначению, Басманов убедился, что возложенная на него миссия далеко не так проста. Дух русского войска уже заметно поколебался. Дезертирство производило страшные опустошения в его рядах; опытных воинов приходилось заменять простым мужичьем. Между осаждающими и осажденными установились тайные отношения. Обе стороны по уговору производили мнимые приступы или обращались в бегство, причем серьезной опасности подвергался лишь тот, кто не был посвящен в тайну. Естественно, возникал вопрос, не было ли тут молчаливого потворства

со стороны самих воевод, или, по крайней мере, не относились ли они слишком беззаботно к своим обязанностям?

Неизбежным следствием такого положения явилась смута в рядах армии. Она назревала уже давно, тлея, как искра под пеплом. По свидетельству Голицына, поводом для взрыва послужила именно присяга. Формулировка, привезенная Басмановым, показалась войску двусмысленной и коварной. До той поры и Борис Годунов, и патриарх Иов неизменно отождествляли Дмитрия с расстригой, Гришкой Отрепьевым. Теперь же, когда нужно было целовать крест новому царю, имя Гришки уже не упоминалось; присяга говорила только о разбойнике, выдающем себя за царевича Дмитрия Угличского. Вполне возможно, что таким приемом московское правительство пыталось предупредить всякие недоразумения. Однако явно рассчитанное умолчание о расстриге было принято в Кромах за ловушку. Значит, это не Гришка Отрепьев, говорили здесь, его не смеют назвать ни этим именем, ни каким-либо другим. Но в таком случае, почему же не может быть он настоящим сыном Ивана IV? Кто знает, не ускользнул ли он действительно из преступных рук Годунова? Эта мысль распространялась все шире и шире. Она находила себе благополучную почву в общем возбуждении... Немудрено, что в момент присяги в русском войске заметно было зловещее колебание...

Все дело довершила военная хитрость, придуманная Запорским: она окончательно подорвала бодрость духа среди осаждающих. Запорский подошел к Кромам с сильным отрядом поляков и казаков. Уже с Троицы он ждал удобного момента, чтобы прорваться в крепость и соединиться с осажденными. Однако ему не хотелось терять людей. Поэтому он догадался отправить гонца к Кромам, снабдить его письмами. В них

он ободрял осажденных и, обещая им победу, говорил о скором прибытии на выручку к ним сильных подкреплений. Гонцу было приказано как бы нечаянно натолкнуться на аванпосты осаждающих: здесь, конечно, его должны были задержать. Посланный Запорского блестяще выполнил свое опасное поручение. Он был схвачен и обыскан; письма были прочитаны, а затем его подвергли пытке. Под пытками гонец, разумеется, подтвердил тревожные известия. Это вызвало в московском лагере настоящую панику. Словом, хитрость Запорского увенчалась полным успехом.

17 мая все колебания, наконец, разрешились. По-видимому, в этот день произошло нечто вроде сражения. Последний удар армии Годуновых был нанесен ее собственным вождем. Бой должен был вот-вот завязаться; может быть, он уже и начался. Вдруг Басманов переходит на сторону Дмитрия. Он провозглашает его законным наследником и истинным потомком царей русских; при этом он первый целует ему крест в знак верности. Возникает вопрос, было ли это условлено заранее, или вся сцена разыгралась совершенно неожиданно? Современники ничего не говорят нам по этому поводу. Они хранят полное молчание относительно отношений, которые должны были иметь место между вождями обоих армий. Во всяком случае, несомненно, что этот мирный исход как нельзя лучше соответствовал желаниям войска. Твердость армии уже давно поколебалась. С обеих сторон протягивались руки друг к другу. Очевидно, все уже были за Дмитрия и ждали только условного знака, чтобы заявить об этом открыто. Теперь под Кромами стояла уже одна армия; она вся готова была защищать дело царевича. Правда, несколько воевод запротестовали было против подобной массовой измены; но против них живо были приняты меры. Кое-кому из них удалось бежать:

эти люди поспешили в Москву с вестью о новом ударе. Другие были задержаны: их связали и привели в Путивль как преступников. В числе этих последних оказался Иван Годунов, близкий родственник покойного Бориса. В несчастье он не забыл своего достоинства. Другие ползали у ног Дмитрия: он один отказался склонить перед ним голову. В наказание его бросили в тюрьму.

Побратавшись под стенами Кром с защитниками Дмитрия, войско Годуновых пожелало выразить свою покорность и самому царевичу. 22 мая с этой целью в Путивль отправилась многолюдная депутация; во главе ее стоял князь Иван Голицын.

Этот угодливый боярин показал удивительную гибкость. Всецело предавшись самозванцу, он не находил достаточно сильных выражений, чтобы заклеймить память Бориса. По его словам, русское войско было скорее жертвой заблуждения, нежели само виновно в чем бы то ни было. Его обошли предательским образом и, не будь этой двусмысленной присяги, быть может, и доныне оно было бы слепым орудием Годунова. Но правда восторжествовала. Русские люди признали своего истинного царя; верность ему они сохранят навеки. Словом, князь Голицын рассыпался в извинениях и обещаниях всякого рода; он с готовностью присягнул Дмитрию; в заключение он сообщил об отъезде в Москву особых гонцов, которые должны были подготовить там общественное мнение к приему царевича. С своей стороны, Голицын умолял Дмитрия немедленно идти туда же и возложить на свою голову наследственный венец.

В день своего отречения от веры самозванец увидел перед собой, вдали, лучезарную корону. Теперь ее ему предлагал московский боярин от имени всего

русского народа... Легко себе представить, с какой радостью встретил Дмитрий эту мысль.

Начиная с мая, Дмитрий был уже настоящим господином положения. Успехи его следовали друг за другом с какой-то головокружительной быстротой. Напрасно стали бы мы искать объяснения этому в русских летописях; все они вращаются в каком-то заколдованном круге. По их свидетельству, во всем виноват был один Басманов. Он заранее угадал неизбежное торжество Дмитрия. Неосторожная фраза Семена Годунова открыла ему глаза; тогда он поспешил стать на сторону сильнейшего. Так же тщетно обращаемся мы и к письмам самого Дмитрия. Когда дело идет о татарах или казаках, самозванец бывает очень словоохотлив. Но чуть речь коснется его отношений с русскими, он становится крайне скуп на слова. Прибегнуть к догадкам? Отчего нет, когда можно опереться на какой-нибудь документ! Однако в данном случае, насколько мы знаем, существует только одно подобное свидетельство. В довершение всего, мы имеем его не из первых рук и касается оно лишь избранной группы бояр.

В то время по Польше путешествовал некий Петр Аркудий. Это был уроженец Корфу, бывший воспитанник школы св. Афанасия. Несколькими годами раньше он, как известно, сопровождал Льва Сапегу в Москву: здесь он тщетно искал старые греческие рукописи. Аркудий был доверенным римских пап по делам восточной церкви. После своего прибытия в Краков он вел долгие переговоры с кардиналом Мацейовским и воеводой Мнишеком. Эти вельможи живо интересовались вопросом об унии православных с Римом. Много говорилось здесь о «рутенах», но еще больше — о жителях Московского государства. Между прочим, речь зашла и о Дмитрии; в общем, здесь намечались весьма заманчивые религиозные перспективы. Аркудий питал

самые розовые надежды. Ему казалось, что уния русской церкви с Римом является совсем нетрудным делом: только бы не навязывали православным католических обрядов. Он был убежден даже, что этот союз будет прочнее всякого другого, так что, увлекаясь своей мечтой, он настаивал, чтобы папа Павел V заранее запасся должным количеством жнецов, которым придется потрудиться на этой богатой ниве. После краковского совещания Аркудий живо заинтересовался царевичем Дмитрием. Он собирал о нем сведения со всех сторон; в связи с этим епископ виленский Бенедикт Война и сообщил Аркудию содержание того документа, о котором мы упомянули выше. По свидетельству этого документа, между царевичем и боярами имели место правильные отношения и даже установилось нечто вроде обоюдного договора. Бояре обещали самозванцу престол; однако они ставили при этом известные условия. Сущность их сводилась к следующему.

Вера православная остается нерушимой.

Самодержавная власть государя сохраняется, и Дмитрий пользуется теми же правами, что и его отец.

Впрочем, бояре выражали пожелание, чтобы русские люди получили те же самые вольности, какими пользуются поляки.

Звание сенатора не могут получать иноземцы; однако эти последние могут приобретать в России недвижимую и всякую другую собственность. Государь волен допускать к своему двору людей какого угодно национального происхождения.

Те иноземцы, которые будут служить царю, получают право в интересах своей веры устраивать себе церкви на русской земле.

Со своей стороны, Дмитрий, как известно, озабоченный вопросом о борьбе с исламом, сохранял за собой право по своему усмотрению заключать союзы с

иностранными державами против турок. Что касается вопроса о даровании вольностей, он не принимал на себя никаких определенных обязательств по этому поводу. Все ограничивалось обещанием, что на это будет обращено серьезное внимание.

Сообщения Войны были переданы кардиналу Сан-Джорджио, в Рим. Петр Аркудий дополнил их собственными комментариями, где особенно подчеркивал допущение иноземцев в Русское государство и разрешение им строить свои церкви. Эти условия он признавал в высшей степени благоприятными для католиков. Аркудий указывал, что эта политика открытых дверей имеет в виду главным образом интересы католицизма. По его мнению, раз латинянам удастся проникнуть в Москву, едва ли возможно будет удалить их оттуда. Словом, «царевичу» приписывались самые лучшие намерения; разумеется, он менее всего склонен был рассеивать эти иллюзии. Но, допустим, что договор с боярами был действительно заключен. В таком случае он создавал для «царевича» довольно рискованное положение. Правда, Дмитрий, как мы видели, оставлял за собой свободу действий; тем не менее он сам давал в руки боярам оружие против себя. В один прекрасный день его союзники могли потребовать реальной награды за свое рвение.

Каков бы ни был характер отношений Дмитрия с боярами, все это дело происходило втайне и потому не могло оказать непосредственного влияния на массы. Совсем иное значение имели манифестации под Кромами. После них дорога на Москву была открыта перед самозванцем. Что же видел Дмитрий перед собой? Столицу — в смятении; противников, которые явно растерялись; наконец, сторонников, которые готовы были к самой горячей защите его дела. Выступление самозванца из Путивля было назначено на 25 мая. Дмитрий

тронулся в путь не спеша. Между тем бояре старались подготовить все для должного его приема в Москве.

Поход самозванца, точнее, его военная прогулка, длился около месяца. Для капелланов Дмитрия он был неисчерпаемым источником изумления. Еще недавно они с грустью наблюдали вероломство поляков; теперь они совершенно позабыли об этом, видя, с каким восторгом встречает русский народ весть о приближении Дмитрия. На стоянках, словно по волшебству, раскидывались роскошные шатры; городской люд и поселяне толпами теснились на пути царевича; воеводы встречали его с хлебом-солью, и тысячи голосов ликующими кликами приветствовали возлюбленного государя — красное солнышко, кровного сына Ивана IV... Казалось, могучее чувство, долгое время сдерживаемое внешними силами, сокрушало ныне всякие преграды и в стихийном разгуле вырывалось наружу. Сама природа точно принимала в этом участие: теплое майское солнце заливало своими лучами волнующиеся и пестрые толпы народа. Здесь смешивались татары и казаки, польские всадники и московские дворяне. Все они торжественно вели в Кремль последнего представителя дома Рюриков.

Еще в Кромах Дмитрий распустил часть русского войска; другую он направил в Орел, куда шел и сам. При ближайшем осмотре оборонительных сооружений Корелы капелланы могли только изумляться изобретательности знаменитого казацкого атамана. Впрочем, и осаждающие не могли пожаловаться на недостаток у них военных сил: лагерь их был превосходно укреплен; палатки имелись в большом количестве и были вместительны; осадные машины и метательные снаряды были запасены в изобилии. Приходилось только удивляться тому, что наступательные действия русского войска были так мало успешны.

Между тем армия Дмитрия неуклонно двигалась вперед под страшным зноем, поднимая облака пыли. Конечно, люди были крайне утомлены; в довершение всего, в Орле оба иезуита заболели лихорадкой. Дмитрий, который был уведомлен об этом, показал чрезвычайную заботливость по отношению к больным. Он поручил их попечению властей города и щедро снабдил деньгами на всякие нужды. Четырехдневный отдых оказался достаточным для больных. Они почувствовали себя лучше и вскоре догнали главную часть армии, достигшую уже Тулы. Это был довольно крупный город; снабжен хорошими укреплениями и переполнен войском, всегда готовым отбить какой-нибудь татарский набег. Между прочим, здесь проживало около семисот поляков. По большей части, это были военнопленные или те, которые остались в живых после войны с Баторием. Эти поляки не менее восторженно, чем русские, встречали нового государя. Дмитрий не уклонялся от приветствий. Напротив, он охотно принимал выражения энтузиазма и любви; ему хотелось, чтобы весть о нем разнеслась возможно дальше... До самой Сибири скакали его гонцы, провозглашая выработанный самозванцем текст присяги: отныне священные узы должны были связать русский народ с царицей Марией Федоровной и царем Дмитрием Ивановичем. Конечно, все это было очень смело; но успехи Дмитрия в самой Москве, по-видимому, внушали ему самые светлые надежды.

И, действительно, молва о сказочных триумфах самозванца уже давно проникла в столицу. Поэтому здесь царили смятение и страх. Отправив Басманова под Кромы, Годуновы лишились главной своей опоры; когда же этот воевода изменил законному правительству, он тем самым отнял у Москвы всю ее военную силу. Каждый день приносил Годуновым все новые и новые

удары. Сторонники правительства покидали его один за другим; движение, возбужденное самозванцем в областях, приобретало стихийный характер; в конце концов, единственным оплотом Годуновых оставалась Москва, точнее, — Кремль, ибо та партия, которая еще держалась около законной власти, почти не находила себе опоры в народе. Уполномоченные, присланные князем Голицыным из Кром, вели свою пропаганду с блестящим успехом. Престиж Дмитрия все возрастал, по мере того как в Москву стекались беглецы, готовые признать его законным царем. Между тем правительство действовало согласно традициям Бориса Годунова. Зачинщики смуты подвергались жестокому преследованию; в некоторых случаях их даже казнили. Подобная политика свидетельствовала о том, что Годуновы совершенно не понимают опасности положения; с другой стороны, они обнаруживали явную неспособность использовать в своих интересах некоторые благоприятные условия. Что значили кровавые репрессии против могучего народного чувства?! Что могло сделать правительство, когда власть его была уже поколеблена, когда оно окружено было предательством и стояло лицом к лицу с гибелью?! В сущности, оставался лишь один способ изменить настроение масс. Как мы знаем, вдова Ивана IV была еще жива. Свидетельство матери Дмитрия Угличского могло быть убийственным ударом для самозванца. Голос Марии Федоровны мог отрезвить народ и укрепить пошатнувшуюся власть законного правительства. Окончательно ли растеряны были Годуновы, или же не доверяли они царице-инокине — трудно сказать. Факт тот, что они так и не обратились к матери Дмитрия за помощью. Единственное свое спасение они видели в чисто внешних репрессиях.

Вот что происходило в Москве. Понятно, что организация обороны города шла недостаточно энергично.

Между тем 10 июня в окрестностях столицы, в Красном Селе, явились двое агентов Дмитрия — Пушкин и Наум Плещеев. Под самым носом правительства они стали склонять народ в пользу самозванца и распространять его зажигательные грамоты. Несомненно, масса была подготовлена к этому заранее. Так или иначе, агитаторы были встречены с восторгом. Народ повлек их, как триумфаторов, в самую Москву. Скоро на зов набата к Лобному месту собрались огромные толпы. Сторонники Годуновых были уже совершенно бессильны. Никто не обращал внимания на их протесты. Вот почему, несмотря на все их противодействие, послание Дмитрия было прочитано тут же, на площади, всенародно.

Эта грамота была составлена с удивительным искусством. Она носила отпечаток какой-то особой, воистину царственной сдержанности. Адресована она была князьям Федору Мстиславскому и Василию и Дмитрию Шуйским, другими словами, тем самым трем воеводам, которые не столько осаждали, сколько берегли крепость Кромы. Далее Дмитрий обращался к боярам, знатным людям, служилому сословию, купцам и, наконец, всему народу.

Центральным пунктом послания являлось обращение к народной совести. Ведь все клялись служить верно царю Ивану IV и его потомству: сам Бог тому свидетель. Ныне, во имя Бога, опираясь на святую присягу, Дмитрий требовал себе законных прав русского государя. Он не хочет унижаться до доказательств своего царского происхождения. Достаточно одного его слова: он свидетельствует, что чудом, по воле Божьей, спасся от гибели. Что касается Годунова, то послание Дмитрия не щадит его: оно клеймит его именем изменника, тирана, насильно захватившего власть. По отношению ко всем остальным Дмитрий

обнаруживает готовность поставить крест над прошлым; он знает, что одни совершенно добросовестно верили Годунову, а другие сами не думали, что творят по своему невежеству. Вот почему он дарует всем полное прощение. По словам царевича, единственной целью он ставит — вернуть отеческий престол без пролития крови. Он указывает на многие города, которые уже выразили ему свою покорность; почему бы и другим не последовать такому примеру? При этом, желая придать своим словам большую убедительность, Дмитрий напоминает, что армия его представляет грозную силу. В ней русские идут заодно с поляками и татарами; со всех сторон подходят все новые и новые подкрепления, стягиваясь к Воронежу... Этот могучий поток скоро зальет своими волнами всю русскую землю. Только нагайских татар он не подпустит ближе; он не хочет, чтобы они грабили государство. Совсем не так действовал, бывало, Годунов: всем известно, как он предал Северскую область разгрому и без пощады истреблял мнимых мятежников... В заключение, Дмитрий обещает народу мирное, счастливое царствование, при этом он сулит нечто заманчивое каждому классу населения. Горе лишь тем, кто дерзнет ему противиться: пусть боятся они суда Божия и опалы его царского величества...

По прочтении грамоты Дмитрия толпа заволновалась. Тотчас же начались беспорядки. По-видимому, кем-то заранее были даны директивы, так как народ немедленно, всей массой, устремился к царскому дворцу. Здесь чернь оглушительным криком стала требовать низложения Годуновых. Молодой Федор с матерью и сестрой были вытащены силой из своих палат. Их отвели в прежний боярский дом и оставили там под стражей. Еще решительней расправился народ с Вельяминовыми и Сабуровыми — родней Годуновых. Их сразу посадили в тюрьму. За этими беспорядками

последовали дикая гульба и грабеж. Царские подвалы были полны вина и меда: немудрено, что здесь главным образом и праздновали герои дня свою победу. Еле-еле удалось спасти от расхищения неприкосновенную собственность царей... Зато народ натешился вдосталь, бросившись громить дома некоторых бояр и иноземцев. Тут происходили самые буйные сцены. Грабители выламывали двери, расхищали из покоев все добро, угоняли лошадей и скот и чуть не купались в хмельных напитках. Толпа с восторженным ревом вышибала дно из бочек с вином... Спокойствие воцарилось в городе только тогда, когда все были мертвецки пьяны.

Этот день имел решающее значение. Толчок был дан; дальнейшее движение развивалось уже в силу инерции. Между тем Дмитрий все еще стоял в Туле; его войско также не торопилось вперед... Но в Москве народ уже присягал новому царю; в Тулу направлялись одна за другой делегации, умоляя Дмитрия пожаловать в славную столицу. Не меньшее рвение обнаруживали бояре и должностные лица. Они наперебой, один перед другим, старались угодить новому государю. Всем святым они клялись, что Дмитрий — подлинный сын Ивана IV. Все это как нельзя лучше отвечало намерениям самозванца: он радовался манифестациям, которые приобретали какой-то стихийный характер. Теперь он мог совершить действительно бескровный вход в Москву. Несомненно, мирное вступление в столицу являлось как бы высшим свидетельством его царственных прав.

В ожидании окончательного торжества, верный данному слову, Дмитрий никому не мстил за прошлое и даже не поминал его. Все приходившие к нему встречали одинаково благосклонный прием. При «царевиче» находился архиепископ рязанский Игнатий: он

приводил к присяге новых верноподданных Дмитрия. Грек по происхождению, Игнатий был раньше епископом эриссонским, близ Афона; подобно многим своим соотечественникам, он явился искать счастья в Россию. Здесь Борис Годунов пожаловал ему епархию. Когда паства Игнатия в Туле заявила о своей преданности царевичу, он немедленно последовал ее примеру и первым из всех иерархов прибыл засвидетельствовать Дмитрию Ивановичу свои верноподданнические чувства и готовность послужить ему. Этот шаг оказался для Игнатия чрезвычайно удачным.

Путь на Москву был свободен. Столица готова была к приему своего государя. Если у Дмитрия и были еще противники, то они скрывались, не осмеливаясь выступить явно. Только несколько лиц стояли поперек дороги Дмитрию, стесняя его и внушая некоторое беспокойство. Первое место принадлежало здесь Годуновым. Стоял вопрос, как поступить с низложенной правительницей? Как быть с низвергнутым царем? Оставить их в живых было опасно; для казни, собственно говоря, не было повода. Затруднение разрешилось совершенно неожиданно. Покинутая всеми, вдова Бориса, в отчаянии, решила покончить с собой. Она приняла яд и заставила сына сделать то же самое. Оба умерли 20 июня: уцелела одна лишь несчастная Ксения, брошенная всеми на произвол судьбы.

Так изображают эти загадочные события сторонники царевича Дмитрия. Русские летописи совершенно иначе освещают дело. По их свидетельству, из Тулы в Москву были нарочно присланы князья Голицын с Мосальским. Им было поручено поскорее свести счеты с Годуновыми. Уполномоченные самозванца отправили царскую родню в ссылку; что касается молодого Федора с матерью, то они были задушены. Ксения осталась в живых: но, как мы увидим вскоре, не на радость

себе уцелела юная царевна. Так или иначе, внезапная гибель Годуновых явилась как нельзя более кстати; несомненно, она оказала большую услугу делу Дмитрия. Однако встает вопрос, был ли он сам повинен в этих убийствах? Кому принадлежала здесь инициатива — царевичу или кому-нибудь другому? Отдал ли Дмитрий определенные распоряжения или же только дал понять своим уполномоченным, каковы его желания? Приходится признать, что для решения этих вопросов у нас нет положительных данных. Во всяком случае, насильственная смерть несчастных Годуновых представляется едва ли оспоримым фактом.

Гораздо легче уловить следы личного влияния Дмитрия в тех строгих мерах, которые приняты были против высшего духовенства. Может быть, здесь сказалось мстительное чувство бывшего монаха; с другой стороны, подобные меры могли быть продиктованы как соображениями политической предосторожности, так и заботой о своем достоинстве. В самом деле, мог ли оставаться при дворе нового царя патриарх, ставленник Годунова? Ведь еще так недавно он громил самозванца анафемой; ведь столько раз он предавал его проклятию и обрекал геенне огненной. Конечно, Дмитрий совсем не был расположен оставить это безнаказанным. По его распоряжению, Иову было сообщено, что он лишается своего сана. С патриарха сняли его пышные обличия; после этого, одетый в простую рясу, он был отвезен в Старицкий монастырь. Все современники подтверждают этот факт; нам кажется, что истинные мотивы Дмитрия в данном случае достаточно ясны. Менее понятен смысл тех мер, которые одновременно были предприняты по отношению к архимандритам Варлааму и Василию. Пришлось и им сложить с себя сан и отправиться в ссылку. Что имел Дмитрий против них? Почему не оставил он их на своем посту?

Упоминание об этой мере самозванца мы находим у Арсения, архиепископа галасунского; к сожалению, он не касается скрытых мотивов Дмитрия. Во всяком случае, однако, это свидетельство само по себе не вызывает сомнений. При своем положении в Москве Арсений должен был иметь самые точные сведения о церковных делах. Сам он был родом из Фессалии. Некогда вместе с Иеремией II он прибыл в Москву и принимал участие в учреждении патриаршества в России; после этого ему не захотелось расстаться с гостеприимным Кремлем. Ему не пришлось раскаяться в этом. Он был назначен хранителем Архангельского собора. Благодаря такому положению Арсений находился в постоянных отношениях с двором и официальными сферами. Ссылку Варлаама и Василия он описывает как очевидец; при этом добросовестность его показаний решительно не допускает сомнения.

Пока все это происходило в Москве, войско Дмитрия выступило из Тулы 24 июня и тронулось к Москве при всевозрастающем энтузиазме народа. Шатры, устроенные для царя в Серпухове, возбудили еще больший восторг поляков, чем бывало раньше. Просторные, убранные с невиданной роскошью, с башнями по бокам и массивными дверями, эти сооружения имели вид маленьких крепостей. Внутри стены были увешаны коврами. Особенно изящно была обставлена столовая палата. Здесь Дмитрий мог угощать сколько угодно сотрапезников. Бояре предусмотрительно прислали ему из Москвы целый штат поваров с обильным запасом всякой снеди.

Торжественный въезд в Москву свершился 30 июня. Стоял великолепный летний день. Древняя столица с радостью принимала нового царя. Годуновых не желал никто. Все симпатии народа принадлежали действительному герою дня... Вот разом зазвонили все

колокола московских церквей; мерные удары их языков возвещают о приближении кортежа. Какая смесь одежд, манер и лиц! Шествие под звуки военной музыки открывают семьсот поляков. Это — последний остаток первоначальных сил Дмитрия. Рыцари озираются с воинственным видом; блестящее вооружение их искрится на солнце. За ними следуют стрельцы в красных, с золотом, кафтанах; далее — московская конница с трубами и барабанами. Между тесными рядами войск время от времени показываются роскошные кареты, запряженные шестерней дорогих лошадей или иноходцев в богатейших попонах... Появляется внушительная масса православного духовенства: тут архиепископы и епископы, попы и архимандриты. Одетые в длинное и широкое облачение, они несут в руках иконы или евангелия. Особо шествует архиепископ рязанский Игнатий со своими четырьмя священосцами. Но кто же является центром всеобщего внимания? При виде кого народ испускает восторженные клики и обливается радостными слезами? Конечно, то сам Дмитрий. Кто осмелился бы в этот момент отнестись к нему с недоверием, как к самозванцу? Вся страна его приветствует; вся Русь кается перед ним и встречает его, как государя. Это он — чудесно спасенный царевич, он — угличский заложник, истинный отпрыск Рюрикова дома. И, в самом деле, не царь ли всей святой Руси этот человек, шествующий под сенью православия ко двору своих предков, словно на крыльях несомый народной любовью?

По обычаю, процессия остановилась на некоторое время у Лобного места, где всего несколько недель назад были всенародно заявлены права Дмитрия. Тот же обычай требовал, чтобы отсюда царь отправился поклониться трем главным святыням Кремля. На глазах благочестивых подданных Дмитрий клал земные

поклоны перед иконами Успенского собора и проливал горячие слезы в Архангельском соборе над гробницами Ивана IV и Федора. Тут же покоилось тело Бориса Годунова. Движимый сыновьим чувством, Дмитрий приказал удалить этот прах из усыпальницы царей и предать его земле за пределами Кремля. В Успенском соборе отец Терентий приветствовал «самодержца всея Руси» речью; ритор, искушенный в библейском стиле, он на этот раз превзошел самого себя. Устами его говорил как бы весь русский народ; в его словах заключалось все значение этого исторического дня. По пути во дворец Дмитрий намеренно обошел дом Годуновых; тут же отдан был приказ срыть его немедленно. Так уничтожались последние следы этого эфемерного величия. Можно ли было, однако, вполне довериться народному чувству? И был ли новый властелин в полной безопасности в своих кремлевских покоях?

Едва закончилось триумфальное вступление Дмитрия в Москву, как в столице уже возник заговор против нового царя. Это явилось как бы отрезвляющим призывом вернуться к действительности. Конечно, никто не решился бы открыто противостоять стихийному увлечению народа. Предатель ковал свои планы тайно. Однако замысел его обнаружился. В этом эпизоде все представляется загадочным. Главой заговора был Василий Шуйский, этот подлинный сфинкс тогдашней Москвы. Некогда он служил Годунову, затем признал законным царем Дмитрия; но едва лишь ему удалось попасть в милость к новому государю, как он опять уже начал плести свою паутину. В письме от 14 июля отец Андрей в самой неопределенной форме обвиняет Шуйского в распространении враждебных царю толков: по его словам, князь Василий старается представить Дмитрия простым орудием в руках поляков и иезуитов; он называет его врагом истинной веры и

уверяет, что самозванец собирается разрушить православные церкви. Другие свидетели предъявляли к Шуйскому более определенные обвинения. Если верить им, князь Василий прямо говорил, что Дмитрий вовсе не сын Ивана IV, а беглый монах Гришка Отрепьев. Во всяком случае, несомненно, что вопросы, возбужденные Василием, имели чрезвычайно важное значение. Этим и объясняется, почему Дмитрий решил безотлагательно осведомить об этом деле наиболее видных сановников своего государства.

Все это происходило в первых числах июля, тотчас после торжественного въезда Дмитрия в Москву и накануне его венчания на царство. По-видимому, целью Шуйского было воспрепятствовать утверждению самозванца на престоле. Трудно сказать, однако, надеялся ли он уже тогда сам заменить Годунова на московском троне... 9 июля бояре и высшее духовенство собрались на чрезвычайное совещание; предметом его должно было явиться дело Шуйского. Сам царь выступил в роли обвинителя. Речь, произнесенная им, была настоящим образцом ораторского искусства. Клеветнические наветы Шуйского рушились; негодование судей было настолько единодушно, что, в результате совещания, виновному был вынесен смертный приговор. Решение суда было утверждено Дмитрием. Сама казнь должна была состояться на следующий день.

10 июля все было готово для исполнения смертного приговора. Бесчисленные толпы народа собрались посмотреть на страшное зрелище. Шуйский уже готовился положить голову на плаху. Палач уже замахивался своим топором... Но, вопреки всеобщему ожиданию, осужденный избег гибели: оказалось, царь помиловал его. Чем было продиктовано это внезапное решение? Явилось ли оно актом великодушного порыва? Подсказано ли оно было необходимостью или политическим

расчетом?.. Трудно ответить на это вполне определенно. Во всяком случае, если царь надеялся на признательность Шуйского, то он горько заблуждался. Дело измены продолжало зреть.

С внешней стороны, этот акт милосердия, которым начал Дмитрий свое царствование, являлся как будто благоприятным предзнаменованием. Теперь государю предстояло освятить свою власть делом сыновней любви и благодатью торжественного миропомазания... Москва готовилась к этим знаменательным событиям.

# КНИГА ТРЕТЬЯ

## АПОГЕЙ

# Глава I

# ВЕНЧАНИЕ ДМИТРИЯ НА ЦАРСТВО 1605 г., 31 июля

## I

Победоносное вступление Дмитрия в Москву явилось кульминационным моментом всей его эпопеи. После этого в течение нескольких месяцев самозванец мог отдаваться опьяняющим впечатлениям своего головокружительного успеха.

Неприятный эпизод с Василием Шуйским был скоро предан забвению. Теперь совсем иные чувства волновали народ. В Москве ожидалось прибытие царицы Марии. Мать Дмитрия приняла монашество в Выксинской обители св. Николая, где была наречена Марфой. Этим и ограничиваются наши сведения о ее пребывании в монастыре. Каменные стены этих обителей так же верно хранили тогда всякие тайны, как могилы. Однако продолжительное заточение не уничтожило горьких воспоминаний вдовствующей царицы. Ведь на ее глазах разыгралась кровавая угличская драма; ведь в своих объятиях держала она невинную жертву злодейства; наконец, могло ли изменить ей материнское

чувство? До этого момента Марфа хранила молчание, скрывая все у себя на сердце. Когда волнение, вызванное слухами о самозванце, достигло своего апогея, бывшая царица имела, по некоторым сведениям, какие-то таинственные переговоры с Борисом Годуновым. Но в глазах народа ее авторитет оставался пока ничем не поколеблен. Никто еще открыто не обращался к ней с каким-либо запросом, и сама она воздерживалась от каких бы то ни было заявлений. Теперь Дмитрий решительно апеллирует к ней; он хочет, чтобы мать во всеуслышание произнесла свое слово.

Итак, слово принадлежало матери. Однако могла ли несчастная женщина свободно открыть всем истину? Обладала ли она достаточным мужеством, чтобы высказать свое действительное убеждение? Что значило объявить Дмитрия настоящим сыном Ивана IV? Это значило вернуть себе прежнее положение царицы. Что ждало Марфу, если бы она обличила самозванца? Она навлекла бы на себя самые ужасные кары. Если Марфа не обладала бесстрастием истинного стоика, ей, конечно, трудно было выдержать роль неподкупного судьи. Противники ее уверяли впоследствии, что, посредством всяких посулов и угроз Дмитрий постарался привлечь ее на свою сторону. Ну, что ж, — игра стоила свеч! Но, даже допуская возможность предварительного соглашения между сторонами, мы должны признать, что объективных доказательств этого мы не имеем. Поэтому восстановить такого рода живую картину немыслимо. Сохранились лишь ее фон и рама. Впрочем, для народной массы не существовало подобных вопросов. В женщине она видела мать, и суд этой матери признавала безапелляционным.

Встреча Дмитрия с Марфой была обставлена с явным расчетом возбудить сочувствие и умиление народа. В конце июля царь выехал в Тайнинское, навстре-

чу матери, которая уже приближалась к Москве. Самое свидание, по словам Лавицкого, произошло в поле. Свидетелями его были русские и поляки, собравшиеся отовсюду. Словом, во всей этой сцене не было будто ничего, заранее подготовленного или искусственного; напротив, она отличалась видимой простотой и поэтому казалась трогательной. Едва взглянув друг на друга, Марфа с Дмитрием залились слезами. Сын бросился к ногам матери; та, в свою очередь, горячо обняла его... Можно было подумать, смотря на них, что перед ними открывается новая жизнь. Все это произвело самое благоприятное впечатление на народ. И, в самом деле, если даже Дмитрий с Марфой разыгрывали комедию, они артистически выполнили свои роли... Понятно, каким волнением был охвачен народ, когда он завидел царя с непокрытой головой, сопровождавшего поезд своей матери. Казалось, сыновнее чувство всецело владеет Дмитрием: только оно могло подсказать ему столь трогательные выражения нежности. Близилась ночь: царскому поезду пришлось остановиться. Во время этой стоянки Дмитрий никак не мог наговориться с матерью. Оба плакали — ясное дело, от радости. Эти слезы были красноречивее всяких слов.

Въезд в Москву состоялся на следующий день, т. е. 28 июля. Торжественно благовестили колокола; несметные толпы народа собрались отовсюду. Дмитрий сопровождал поезд верхом на лошади; как и раньше, он старался держаться рядом с каретой Марфы. Одобрительный гул зрителей встретил царевича в Кремле. Всеобщее умиление еще увеличилось, когда Дмитрий с матерью направились в Успенский собор. Здесь они клали земные поклоны и щедро раздавали милостыню. Это зрелище окончательно покорило народ. Ни один царь не выказывал подобного отношения к своей матери.

Очевидно, в данном случае в Дмитрии говорил голос крови; природа заявляла свои права... Последние сомнения рассеивались. Дмитрий старался всячески поддержать это настроение: для этого он окружил царицу самым почтительным и нежным вниманием. Марфе были отведены роскошные покои в Вознесенском монастыре; ей прислуживала огромная свита. По возможности, всякий день царь на глазах у всех посещал мать. Благочестивым людям оставалось только радоваться.

Возвращение Марфы было только началом; за ним последовал целый ряд мер для восстановления попранной справедливости. Конечно, прежде всего эти меры коснулись Нагих. Дядья царицы и трое ее братьев были возвращены в Москву из ссылки. Пришлось тем самым, которые когда-то — официально, по крайней мере, — удостоверяли смерть царевича в Угличе, увидеть теперь своего племянника в Кремлевском дворце, здравым и невредимым... По-видимому, впрочем, это нисколько их не смущало. Вернулись и Романовы. Их встретили, как триумфаторов; царь всячески старался выказать по отношению к ним внимание и предупредительность. Кое-кто из изгнанников успел уже умереть в ссылке: останки их были теперь перевезены в столицу. Мы знаем, что самым выдающимся представителем дома Романовых был боярин Федор Никитич, в монашестве Филарет; по-видимому, он только и ждал такого оборота дела. Раньше он находился под строгим надзором в обители, куда был сослан. И вот, с некоторого времени, поведение Филарета резко изменилось. Невольный инок стал говорить только о мирских делах; он начал вспоминать об охоте с соколами, о собачьей травле, о верховой езде... Порой он намекал на возможность какого-то возмездия и вместо благочестивых молитв отводил свою душу в веселых шутках. Как раз в это время откуда-то вынырнул Дмит-

рий. Это совпадение было очень знаменательно, и впоследствии стало совершенно понятно, отчего произошла столь резкая перемена в настроении Филарета. Вместе с Романовыми были восстановлены в своих правах и другие боярские роды, подвергшиеся опале Годунова; все они заняли в Кремле свое прежнее положение. Словом, происходила вполне определенная реакция против политики Годуновых. Все эти акты милости служили как бы подготовкой к великому торжеству, которое должно было совершиться вскоре.

Три дня спустя по прибытии царицы, т. е. 31 июля, состоялось венчание и помазание Дмитрия на царство. Этот обряд явился высшим завершением всех усилий самозванца; разумеется, в глазах народа царевич поднимался отныне на недосягаемую высоту. Нужно было возможно скорее восстановить в Московском государстве нормальный порядок; все жаждали увидеть, наконец, на престоле такого государя, который был бы осенен благодатью церкви. Что такое царь московский? Это то же самое, что византийский базилевс: это — священная особа, окруженная ореолом сверхчеловеческого величия. Подобно императорам Востока, он приемлет свою власть от Вседержителя Бога; понятно, что самый акт передачи этой власти должен быть обставлен самым торжественным ритуалом. Так образуются священные узы между царем и народом, между избранником Всевышнего и всем православным миром.

Перед коронованием новообращенному католику Дмитрию нужно было проделать некоторую тайную процедуру. Дело в том, что в пылу увлечения, в критический момент своих домогательств, царевич обещал своим духовникам исповедаться у них перед венчанием на царство. Отец Андрей вменяет Дмитрию это желание в особую заслугу; однако обо всем дальнейшем он хранит самое досадное молчание. Допустим,

впрочем, что исповедь, по самому своему существу, могла остаться тайной. Но как должен был поступить Дмитрий при святом причащении? Этот момент являлся необходимой составной частью обряда венчания: разумеется, для царя, как тайного католика, это создавало большие затруднения. Как быть ему — принять ли святые дары из рук православного патриарха, или же нарушить открыто традиционный ритуал? Еще накануне своего отречения от веры Дмитрий поведал папскому нунцию свои сомнения по этому поводу. Рангони запросил Рим. Но курия не спешила с ответом. Так тянулось более года. По-видимому, это не особенно смущало Дмитрия. По крайней мере, мы не знаем, чтобы он напомнил еще раз о своем затруднении или настаивал на скорейшем ответе. Обычная уверенность в себе не изменяла ему и здесь.

Успенский собор в Москве занимал то же положение, что и Римский собор во Франции. По обычаю, освященному веками, венчание русских царей происходило именно в этом храме. Каждый из знатнейших бояр должен был выполнять при этом особую роль. Между прочим, стремясь придать возможно больше пышности обряду коронования, правительство позаботилось о скорейшем назначении нового патриарха. В этот сан был возведен архиепископ рязанский Игнатий. Вообще, Дмитрий намерен был использовать этот исторический момент как нельзя лучше.

В одеянии, усыпанном драгоценными камнями, царевич шествовал в Успенский собор во главе блестящей процессии. Путь царя устлан был бархатным ковром малинового цвета, затканным золотом. Впереди царя шел священнослужитель, крестообразно окропляя эту via sasra. Представ перед алтарем, Дмитрий позволил себе некоторое новшество. Он произнес речь, в которой изложил всю свою историю, рассказал о сво-

ем происхождении, изобразил свои бедствия и чудесное спасение. Чем дальше он говорил, тем смелее звучала его речь: присутствующие как бы ободряли оратора своим благоговейным молчанием. Многие плакали, по словам капелланов. Пусть даже эти слезы не были особенно обильны; во всяком случае, не раздалось ни одного протестующего голоса. Очевидно, общественное мнение признало Дмитрия достойным царской короны.

После этого на сцену выступил патриарх Игнатий. Прочитав молитвы, полагающиеся по чину, он совершил над Дмитрием священное миропомазание. Затем он вручил ему знаки царского достоинства — венец Ивана IV, скипетр и государственное яблоко. Наконец, он возвел его на престол Иванов, Василиев, Владимиров. Здесь высшие сановники государства, не исключая самого патриарха, стали чередой проходить перед царем: склоняясь ниц, они лобызали ему руку, помазанную святым елеем. Разве не было это действительным апофеозом? Перед лицом Бога и людей, в сердце страны русской, под сводами всеми чтимой святыни избранный цвет нации простирался перед новым царем. Эти люди были вполне свободны и, однако, провозглашали Дмитрия своим государем и великим князем. Что могло быть более убийственным ударом для клеветников? Разве этот плебисцит не был безапелляционным приговором? Неужели царский венец переходил к обманщику? В таком случае заблуждалась вся Россия, а с ней жертвой ошибки был и весь свет.

Между тем Дмитрий старался теснее связать себя с прошлым. Он стремился вызвать великие тени своих предшественников; он хотел поставить себя под их защиту. Усыпальница русских царей лучше всего могла служить этим целям. Согласно обычаю, немедленно по короновании Дмитрий отправился в Архангельский

собор. Здесь он простерся ниц перед прахом великих князей, перед гробницами Ивана IV и Федора. Весь этот обряд был обязателен; за ним последовало некоторое дополнение. У придела св. Иоанна Климака царя ожидал архиепископ Арсений. Дмитрий опустился перед ним на колени. Архиепископ возложил на его голову шапку Мономаха; при этом провозгласил Axios. Хор подхватил этот напев. Таким образом, чело нового царя осенила сама древность.

Церемония закончилась богослужением в Успенском соборе. Служил патриарх Игнатий с многочисленным духовенством. Конечно, царь присутствовал в храме. Все обряды совершались с торжественностью и пышностью, свойственными столь выразительному ритуалу православной церкви. Дым кадил возносился к небу вместе с молениями священнослужителей. Между тем для Дмитрия наступал критический момент. Перед ним стояла дилемма: принять причастие по православному обряду или же отказаться от него к соблазну всех. Иного выхода не было. Так как скандала в церкви не произошло, приходится допустить, что Дмитрий приобщился как православный. Во всяком случае, относительно этого эпизода в нашем распоряжении нет достаточно определенных свидетельств. Сообщения русских на этот счет так же не ясны, как и показания поляков. Можно было бы ждать большего внимания со стороны иезуитов, капелланов Дмитрия. Но и они ничего не в состоянии сказать. По их словам, в храме было такое множество зрителей, что им самим не удалось видеть церемонии, происходившей перед алтарем. Выдает себя скорее сам Дмитрий, хотя, может быть, косвенным образом и бессознательно. Вскоре по поводу коронования Марины он будет энергично доказывать, что если его невеста не пожелает причаститься по православному обряду, ее невозможно будет вен-

чать на царство. Это производит такое впечатление, будто царь судит по собственному опыту, желая, чтобы его будущая супруга подчинилась тому условию, которое выполнил он сам.

Церковный обряд кончился. За ним последовало светское торжество по всем правилам этикета. Из Успенского собора бояре и другие сановники государства отправились во дворец поздравить царя и засвидетельствовать ему свою верноподданническую преданность. То же самое сделали начальствующие лица польского отряда. Согласно желанию, выраженному Дмитрием, поляков сопровождали оба капеллана. Избранная московская знать и гордые сыны Польши смешались в одну раболепную толпу перед троном нового царя. Все почтительно целовали ему руку. По-видимому, они были счастливы воздавать ему такую честь и готовы верно служить ему в будущем. Это была, несомненно, внушительная, но несколько однообразная картина. Некоторое оживление в этот церемониал внес лишь отец Николай, обратившийся к Дмитрию с кратким, но прочувственным словом. Иезуит в Кремле, обращающийся с речью к царю на польском языке, — конечно, это было нечто невиданное и неслыханное. Легко себе представить, какое впечатление эта сцена должна была произвести на присутствующих. Впрочем, речь отца Николая была самого невинного свойства. Вся она состояла из общих фраз и обычных в таких случаях пожеланий. Однако Дмитрий выслушал ее с очевидным удовольствием. Он сам перевел из нее несколько фраз для русских слушателей и сумел тут же, без всякой подготовки, ответить иезуиту в самом милостивом тоне.

Прием во дворце закончился роскошным пиром. За столом к капелланам пробрался один из поляков и конфиденциально сообщил им нечто по поручению Дмитрия. Царь по-прежнему выражал иезуитам свое

благоволение; повторяя свои обещания, он напоминал о своих планах относительно поселения их в Москве. Как и раньше, он сожалел, что приходится еще ждать благоприятного случая, и снова говорил о своих намерениях устроить в России католические школы и церкви. Дмитрий шел еще дальше. Он высказывал свою радость по тому поводу, что венчание его на царство состоялось в праздник св. Игнатия Лойолы, т. е. 31 июля. В этом случайном совпадении он видел благоприятное предзнаменование. В заключение всего он сообщал об отправлении им посольства в Рим. Под впечатлением этих ласковых речей, среди всеобщего ликования будущее, естественно, рисовалось иезуитам в самых радужных красках. Перед сиятелями на ниве Христовой открывалось необозримое поле. Московское государство должно было явиться дверью дальше, на Восток; за ней поднялась дорога, ведущая в глубины Азии. Давно пора было проникнуть в эти таинственные области; давно стремилось христианство покорить себе варварские племена и низвергнуть их идолов. Смелый, почти химерический план Поссевина, казалось, становился осуществимым, и сердца обоих духовников преисполнялись самых светлых надежд.

Так приветствовала Москва своего нового государя. Между тем до других городов, не исключая самых отдаленных, уже донеслась весть о вступлении Дмитрия Ивановича на прародительский престол. Приходилось и им выразить молодому царю покорность. Патриарх Игнатий не щадил сил, содействуя этому. Он рассылал свои грамоты повсюду, даже в Сибирь. В них он приказывал собирать народ и духовенство, объявлять о перемене правления, звонить во все колокола и служить молебны за царицу Марфу и сына ее, Дмитрия. Вскоре слух об удивительных событиях в Москве проник и за границу.

## II

Прогремев по всей русской земле, имя царя Дмитрия обошло затем всю Европу. В то время не было еще тех телеграфных проводов, которые ныне разносят повсюду весть о событиях мировой жизни. Молва распространялась медленней; зато она везде оставляла след в виде документов. Для нас небезынтересно выяснить, откуда шли сведения о новом русском царе, как распространялись они за границей, проникая и в Рим, и в Венецию, и во Флоренцию, и ко двору Рудольфа II, и даже в палаты Генриха IV.

Центром, куда стекались все известия из Москвы, являлся Краков. Здесь эти сообщения распространялись между Вавельским замком, домом нунция и обителью св. Варвары. Главным источником всех этих данных являлись капелланы, сопровождавшие Дмитрия во время похода. Правда, король получал донесения и от собственных своих агентов. Однако этот материал не предавался гласности, тогда как письма отцов Николая и Андрея ходили по рукам. Корреспонденция обоих иезуитов носила, в сущности, интимный характер. Как начальникам, так и своим собратьям в Польше они писали без всяких задних мыслей, с полнейшей искренностью. Очевидно, единственной целью их являлось излить свою душу перед друзьями. И отец Николай и отец Андрей охотно рассказывают о том, как служат они при польском войске. Они сообщают обо всех своих затруднениях, о всех заботах и надеждах. С этой стороны данные их чрезвычайно поучительны. В соответствии со своей миссией и в силу вещей они, естественно, касаются порой общегосударственных дел. Понятно, что Дмитрию посвящается при этом немало внимания. Иезуитов интересует все — и его внешность,

и его способности, и его планы. Как сказано было выше, оба капеллана были убеждены, что перед ними — подлинный сын Ивана IV. Глас народный казался им высшим судьей в этом деле. В необычном походе царевича на Москву они видели действие каких-то провиденциальных сил. В их глазах стратегическое искусство значило тут меньше, нежели влияние невидимых и таинственных факторов. Вот почему их никогда не покидают надежды; они не падают духом даже при серьезных неудачах, когда сама судьба словно смеется над ними. По прибытии в Москву Лавицкий написал свои записки: они открываются появлением Дмитрия в Польше и заканчиваются описанием торжества 31 июля 1604 года. Рядом с корреспонденцией обоих иезуитов, в которой встречаются иногда досадные пробелы, эти записки могут служить весьма ценным материалом; они порой резюмируют ее содержание, а иногда и дополняют новыми подробностями.

Понятно, что вести от обоих иезуитов встречались с радостью в обители св. Варвары. Ведь приходили они из такой дали, и притом сообщали столько интересного! Письма отцов Андрея и Николая читались с жадностью; содержание их скоро становилось известным всем друзьям; быть может, узнавал о них и сам король. Вполне вероятно, что оригиналы их передавались нунцию. Конечно, это было драгоценной добычей для Рангони. Он неизменно снимал с них копии, а порой оставлял себе и подлинники, которые посылал затем в Рим. Таким-то путем и попадали некоторые из этих писем в собрание Боргезе, хранящееся в Ватиканском архиве. Обыкновенно, впрочем, Рангони пользовался ими только как материалом при составлении своих депеш, этими данными он дополнял те сведения, которые получал из придворных сфер или же от самого Дмитрия. В этом смысле нунций играл роль постоянного посредника между иезуитами и курией.

Был еще другой путь, по которому проникали вести из Москвы в Италию, чтобы оттуда распространиться по всему тогдашнему миру. Надо помнить прежде всего, что оба капеллана писали время от времени в Рим, своему генералу, отцу Клавдио Аквавива. Но то были официальные донесения, которые обыкновенно поступали в исключительное распоряжение высших сфер церковной администрации. Очевидно, что не здесь находился второй центр внешней пропаганды. Таким центром был известный нам Антоний Поссевин. Ему писал Стривери, провинциал польских иезуитов; его корреспондентом был и Каспар Савицкий, духовник Дмитрия; наконец — правда, не слишком-то часто — получал он письма и от обоих иезуитов, сопровождавших царевича. Мы знаем, что Поссевин был не только писатель, но и делец. Он был еще полон воспоминаний об Иване IV и Стефане Батории. И вот, на старости лет, этот неутомимый боец с юношеским жаром хватается за мысль использовать для своих целей нового московского царя. Поссевин жил в то время в Венеции. Он был занят печатанием своей Bibliotheca у Бареццо и поддерживал постоянные сношения с итальянскими князьями и французскими дипломатами. Переход Генриха IV в католичество содействовал сближению обеих сторон. Надо заметить, что участие Поссевина в этом деле уже было оценено по заслугам. Появление Дмитрия заставило Поссевина опять вспомнить о своих планах, касавшихся славянства и всего Востока. Между прочим, во время продолжительных разговоров с отцом Николаем в Путивле царевич выразил желание получить от Поссевина Библию на славянском языке. Дело в том, что Дмитрию напомнили о сношениях этого иезуита с Иваном IV: по обычной своей любезности, он попросил передать Поссевину его просьбу. Но очевидно, что здесь чаша была уже

переполнена: достаточно было этой последней капли, чтобы ее содержимое хлынуло наружу.

Поссевин был совсем не такой человек, чтобы хранить под спудом те сведения, которые получал он из Москвы. Напротив, он решил во что бы то ни стало использовать настроение неофита — Дмитрия. Просьба о Библии явилась как нельзя более удобным случаем для этого. Конечно, Поссевин мог бы послать Дмитрию Библию Острожского издания — разумеется, если только у него сохранился экземпляр, подаренный ему князем Константином. Однако это великолепное издание страдало одним недостатком: оно вышло из типографии, принадлежавшей православным... Вот почему Поссевин предпочел снабдить Дмитрия другими назидательными книгами, в которых он был совершенно уверен. Эту посылку он сопроводил письмом, полным самых заманчивых предложений. Он говорил о необходимости дружественного союза России с Польшей и о совместной расправе обеих держав со Швецией. Он рисовал картину крестового похода против турок и изображал проповедь Евангелия в Казани, Астрахани и Азии. По его словам, Дмитрий может явиться новым Соломоном. Он воздвигнет храм лучше Иерусалимского святилища. Это будет храм духовный, где найдут себе спасение все, имеющие быть обращенными к истинной церкви.

Эта программа должна была найти осуществление в России; что касается Европы, то прежде всего нужно было познакомить ее с этими грандиозными планами и заручиться, если можно, ее сочувствием. И вот Поссевин шлет повсюду свои письма. Между прочим, он обращается к герцогу Урбинскому, Франческо-Мария II. Он рассказывает ему всю историю Дмитрия; он старается обратить на него внимание герцога. Но главные усилия его направлены на Флоренцию и Па-

риж. Поссевин вступает в переписку с Фердинандом об учреждении типографии.

Одной из главных, и притом постоянных, забот Поссевина являлось распространение хороших книг на народном языке. Он огорчался, видя, как мало сделано в этом отношении для русских. А между тем какая благородная задача для истинного Медичи — принять под свое покровительство народ с великим будущим, чтобы открыть перед ним новые горизонты! Что касается Генриха IV, то здесь мечты Поссевина залетали еще дальше. Старый иезуит уже думал о том, как между королем Франции и русским царем возникнет благородное соревнование... Конечно, они будут стараться превзойти один другого в делах благочестия. Только это и нужно церкви, и, разумеется, она останется в выигрыше.

Вскоре мы увидим, что Поссевин обратится и к папе Павлу V, чтобы еще полнее и шире развить ему свои планы относительно Москвы. Но пока он старается не терять времени. Он апеллирует ко всему миру; с этой целью он издает краткое, но весьма содержательное сочинение — Relazione. Эта книжка появилась в Венеции в конце 1605 года. Она была проникнута самым горячим энтузиазмом. Автором ее был будто бы Бареццо-Барецци; однако, несомненно, что под именем своего издателя скрывался не кто иной, как сам Поссевин. Ведь только он один из всех итальянцев вел переписку с двумя иезуитами, отправившимися в Москву; а Relazione, в сущности, только резюмирует их письма. Обработка этого материала и вступительные замечания, которые предпосланы книжке, слишком явно выдают того, кто сам когда-то побывал при московском дворе. Вполне понятно, что в Кракове повсюду открыто говорили об этой книжке, как о детище Поссевина. Сам автор заботился о ее распространении:

и, действительно, ему удалось сделать ее весьма популярной. Один монах издал ее на испанском языке; другие переводили ее на французский, немецкий и латинский языки. Таким образом, история Дмитрия приобрела известность на Западе.

В сущности, Поссевин являлся только своего рода резонатором, предавшим гласности сообщения иезуитов, находившихся в войске Дмитрия. Но эти лица говорили обо всем, как очевидцы. Благодаря этому их письма представляют неоспоримую ценность. Но, и помимо них, были в самом Кракове такие люди, которые ловили всякие известия о царевиче и немедленно передавали их за границу. Это были придворные, дипломаты и агенты всякого рода.

Мы уже упоминали о маркизе де Мирова, маршале королевского двора. Самое положение позволяло ему ясно видеть все происходящее во дворце и, когда нужно, сообщать самые точные сведения на этот счет. Маркиз вел постоянную переписку с кардиналом Альдобрандини, с великим герцогом Тосканским и герцогом Мантуи. В то время в Италии еще живо интересовались всем, что касалось Востока. Поэтому польский маркиз подробно рассказывал в своих письмах и о Борисе Годунове, и о Дмитрии Ивановиче. Конечно, для итальянского слуха эти имена звучали несколько дико; но они нисколько не смущали читателей Петрарки и Данте. В Польше находилось несколько итальянцев, которые действовали на дипломатическом поприще, имея отношение к русским делам. Таковы были Нери Джиральди и Серниджи. Оба они посылали свои донесения канцлеру тосканскому Белизарио Винти.

Но самым деятельным и, отчасти, даже беспокойным из этих агентов являлся капитан Жан ла Бланк. Это был настоящий предтеча газетных репортеров нашего времени. Карьера этого человека была не совсем

обычна. Уроженец Лангедока, он сперва представлял собой кальвиниста чистейшей воды, по словам Поссевина. Затем он потерял все свое состояние и принужден был покинуть родину в 1580 году. Может быть, его эмиграция являлась лишь одним из частных эпизодов в истории тех религиозных войн, которые терзали в то время Францию. Злополучный изгнанник нашел себе убежище в Швеции. Здесь он поступил на службу к Сигизмунду, причем ла Бланк до такой степени привязался к этому ревностному католику, что последовал за ним из Стокгольма в Краков. Занятия военным делом не поглощали всего времени у ла Бланка; поэтому он старался использовать свой досуг возможно выгоднее для себя. Впрочем, на поприще политических комбинаций ему, положительно, не везло. Он долго носился с проектом союза между Польшей и Швецией под покровительством Генриха IV. Но этот план провалился самым позорным образом. Потеряв все надежды с этой стороны, ла Бланк перенес свою энергию в область международной корреспонденции. Политический репортаж сделался, в конце концов, его профессией. В 1617 году ла Бланк с гордостью заявлял епископу люсонскому Ришелье, будущему кардиналу, что, по поручению Генриха Великого, а затем царствующего короля и его матери он осведомлял их величества обо всех событиях, совершавшихся в северных государствах. Действительно, около 1604 года в числе его клиентов, помимо нунция Рангони, был французский посланник.

Царица лагун, славившаяся богатством и торговыми оборотами, была в то время своего рода обсервационным пунктом. Здесь Запад входил в соприкосновение с Востоком и с самой Москвой. Представителем христианнейшего короля Франции в Венеции являлся Филипп Канэ де Френ. Это был раскаявшийся гугенот.

Между ним и Поссевином существовали самые дружеские отношения. Канэ заинтересовался славянскими делами. Он внимательно читал все донесения ла Бланка, которого признавал человеком честным и осторожным в выборе средств. С другой стороны, сообщения иезуитов помогали ему проверять данные ла Бланка; таким образом, в его собственных депешах проходит перед нами вся история Дмитрия. В Париже этот материал поступал в распоряжение первого советника государства, Вилльруа, который докладывал о нем самому Генриху IV.

Но рвение Канэ не ограничивалось посылкой в Париж подробных депеш. Не довольствуясь осведомлением короля о том, что происходило в московском государстве, он старался увлечь бывшего гугенота широким планом католической пропаганды на Востоке. В его изображении Генрих IV становился апостолом истинной веры среди русских. По соглашению с Павлом V, он должен отправить в Москву специального легата; при этом иезуита, облеченного такой миссией, необходимо возвести в сан кардинала. «Обращение к истинной вере великого Русского государства, пространство коего почти беспредельно, явится великим завоеванием католической церкви, — писал Канэ к Вилльруа 12 июля 1605 года. — Когда известие (о вступлении Дмитрия в Москву) подтвердится, я полагал бы, что было бы весьма уместно для Его Величества обратиться к Папе с просьбой об отправлении отца Поссевина в эту страну с миссией легата. Ведь он так долго и успешно действовал там во времена Григория XVII и Сикста V. Этому легату следовало бы пожаловать шляпу кардинала, чтобы придать еще больше авторитета его миссии. Во всяком случае, мне известно, что сам Поссевин весьма далек от этой мысли. Он уже решил на целый год удалиться в Лоретту, как только за-

кончено будет печатание его трудов. Но меня занимают больше интересы церкви, нежели личные планы этого человека. Ввиду этого прошу Вас извинить меня, если я слишком смело сообщаю Вам о том, что считаю важным для славы Божьей, а также для достоинства и имени Его Величества, к чести которого должна послужить рекомендация столь достойного кандидата». Однако Генрих не внял убеждениям своего посла. Он оставил Поссевина при своих книгах, а Москву — при ее церкви. Тем не менее образ Дмитрия запечатлелся в памяти короля. Поэтому, когда Маржерет вернется из России, Генрих заставит его рассказать подробнее всю эту необыкновенную историю.

В Праге слухи о торжестве Дмитрия породили комбинации совершенно иного свойства. У Рудольфа II были также свои агенты в Москве. Такими лицами являлись Лука Паули и Генрих Логау. Разумеется, они были в курсе всех событий. До нас дошла некоторая часть их донесений. Однако этот материал представляет слишком большие пробелы, без которых почти невозможно судить о действительной осведомленности обоих агентов. Может быть, пражский двор пользовался преимущественно теми данными, которые шли из Кракова. Папский нунций в Праге Феррери переписывался иногда с Рангони. Агент пармского правительства, Фома Ронкароли, также пересылал своему государю письма отцов Николая и Андрея. Теми же польскими источниками пользовался и венецианский посол при пражском дворе Франческо Соранцо. Во всяком случае, Габсбурги всегда внимательно следили за тем, что происходит в Москве. По мнению Соранцо, императорское правительство выказывало к новому царю большую симпатию, нежели когда-то к Борису Годунову. Было, впрочем, весьма простое средство проверить это настроение пражского двора. Как известно,

Годунов всячески старался связать себя родственными узами с Австрийским царствующим домом. Однако все его домогательства встречались холодными или уклончивыми ответами. Совершенно иначе относилось то же правительство к Дмитрию. Сами Габсбурги готовы были предложить ему в невесты одну из эрцгерцогинь. Найти ее было совсем не трудно: так много было дочерей у Карла Штирийского. Сочетавшись подобным браком, московский царь стал бы шурином польского короля; следствием таких матримониальных комбинаций мог бы явиться тройственный союз держав... Однако все эти проекты рушились: Дмитрий был верен своей пылкой страсти к Марине.

Восходя, таким образом, к первоисточникам, откуда распространялись за границу вести о новом московском царе, мы легко можем объяснить себе, почему эти сообщения были столь благоприятны для него и как сумели они создать ему популярность в такой короткий срок. Враги Дмитрия пока еще молчали; они должны были заговорить впоследствии. Теперь же слышались только речи его друзей, разносившиеся далеко по всем направлениям. Между тем неопытные наблюдатели являлись жертвой известного оптического обмана. Мы помним, чего желал так горячо Канэ де Френ, о чем мечтали Поссевин и иезуиты — спутники Дмитрия. Именно это и было труднее всего осуществить. Между тем религиозный вопрос вставал перед Дмитрием во всем своем объеме. Уклониться от его решения было немыслимо.

## III

Теократическая идея еще господствовала в России в XVII веке. В силу этого царь обязан был жить в добром

согласии с духовенством; вообще, взаимоотношения церкви и государства должны были сохранять самый дружественный характер. Совершенно естественно, что Дмитрий без колебаний принял на себя роль православного царя: всякие обещания католикам с его стороны приходилось держать пока в строгой тайне. Конечно, тем самым создавалось фальшивое положение; однако Дмитрий выходил из него с удивительным искусством.

Первое затруднение, возникшее перед ним, относилось к области иерархических вопросов. Как известно, восточный кесарь был немыслим без патриарха. Дмитрий считал себя кесарем; при таких условиях он ни за что не хотел расстаться со своим духовным alter ego. Еще в начале своей карьеры, в Кракове, он говорил о Московском патриаршестве; он рассуждал как человек, знающий цену этому институту и желающий воспользоваться им в своих интересах. Опыт Бориса Годунова был у него перед глазами. Он и поспешил последовать этому примеру.

Мы помним, что до своего вступления в Москву Дмитрий повелел низложить патриарха Иова. Не мог же ставленник Бориса быть главой русской церкви: на этом посту Дмитрий хотел видеть более надежного человека. Вот почему немедленно по водворении своем в Кремле он созвал епископов, архимандритов и игуменов и «посоветовал» им избрать нового патриарха. Предложение царя было мотивировано ссылками на преклонный возраст Иова и на слабость его зрения. Царь говорил только о благе церкви; он не выдал ничем своих мстительных чувств, ни словом не упомянул о наказании патриарха. Подобная тактика царя несколько примирила с ним членов собора: она хоть отчасти, оправдывала в их глазах суровые меры, принятые против Иова. Сановники церкви не стали противиться

убеждениям царя: и на них действовало обаяние его сказочно создавшейся власти. Присутствующие вполне одобрили мысль царя. Они ответили, что признают мудрым рвение благочестивейшего государя и великого князя всея Руси, Дмитрия Ивановича: да совершится воля его; пусть будет так, как он приказал. Как эти, так и последующие подробности сообщает архиепископ Арсений. Это — свидетель-очевидец. Он сам был одним из членов собора и не имеет никаких причин скрывать от нас истину [1].

Приняв совет царя, епископы собрались в Успенском соборе, где, после обычных обрядов, приступили к выборам. При первом голосовании сан патриарха был сохранен за тем же Иовом. Однако не нужно рассматривать это как серьезный протест против распоряжения царя; скорее, это было последней данью почтительности по отношению к прежнему патриарху. Действительно, на том же собрании решение было пересмотрено. Доводы Дмитрия оказали свое действие. Слепой старец был лишен сана, и все присутствующие, словно по тайному уговору, избрали на его место Игнатия, архиепископа рязанского. Конечно, главным доводом в его пользу и величайшей его заслугой являлась преданность Дмитрию. Протокол избрания был немедленно утвержден царем. Около 10 июля, по вступлении нового патриарха на престол, в Кремле было устроено торжественное пиршество с раздачей подарков. По словам Арсения, епископы вернулись с этого празднества вполне довольные исходом дела.

Несомненно, избрание Игнатия явилось победой официальной кандидатуры. Вот почему, несмотря на единогласный вотум, сам патриарх смиренно заявлял,

[1] С осторожностью нужно относиться лишь к хронологическим датам Арсения.

что он призван был к власти волей царя. Это ясно показывает нам, кто желал возложить на Игнатия почетный сан, кто упростил выборы и почему так уступчивы были члены собора. Конечно, налицо было вмешательство светской власти в церковные дела; но никого в Москве это не поражало. Таковы были традиции прошлого. И Дмитрий лишь следовал по пути, предуказанному его предшественниками.

Игнатий являлся именно тем человеком, какой нужен был царю. Это была бесцветная личность, трудно поддающаяся характеристике. Впрочем, в Игнатии ясно выступали две черты — крайняя гибкость и ненависть к католицизму. Игнатий был заклятым врагом латинян; при этом он нисколько не скрывал своих взглядов. Как всегда после своего избрания, новый патриарх обратился к пастве с особым посланием, которое предназначалось самой широкой гласности. И что же? Игнатий, нимало не смущаясь, ставит поганых латинян на одну доску с магометанами, причем тем и другим выражает пожелания всяческих бед. Впрочем, Игнатий не ограничивался теоретическими рассуждениями. Он хотел и на практике вести борьбу с католицизмом. На этой-то почве и разыгралось любопытное столкновение между ним и князем Адамом Вишневецким.

В сентябре 1605 года этот магнат прибыл в Москву, чтобы поздравить своего бывшего протеже с успехом и вернуть себе отнятые московским правительством владения. Как известно, Вишневецкий был ревностным сторонником православия; поэтому вместе с ним прибыла в Москву целая свита духовенства. Эти священнослужители, уверенные, что находятся в дружественной стране, смело явились в церковь. Однако, к великому их удивлению, их не пустили дальше дверей. Доступ в самый храм был прегражден. В объяснение им было сказано, что все их поведение — латинское;

на головах у них нет скуфей, и водят они с собой польских певчих. Как же можно пустить их в православную церковь? Желая во что бы то ни стало проникнуть внутрь, духовенство Вишневецкого кое-как раздобыло себе требуемые головные уборы. После этого, пройдя в храм, эти гости запели молитвы. Присутствующие в церкви были поражены: они слушают, смотрят с удивлением, недоумевают, наконец возмущаются... Напевы западных пришельцев кажутся им чудными; у иереев — камилавки без каймы, имеющей символическое значение. Все это — латинство, которое нетерпимо в православном храме. Известили патриарха. Разумеется, он не остался в стороне. Приезжее духовенство предано было анафеме; мнимые его сообщники — посажены в тюрьму. Только заступничество князя Адама выручило несчастных из беды; однако больших трудов стоило гордому магнату утихомирить гнев Игнатия.

Дмитрий не протестовал против этих мер. Вражда патриарха к латинянам служила ему прикрытием; по-видимому, он даже не против того, чтобы сознательно пользоваться подобным прикрытием. За ним самим оставалась полная свобода действий, и, в сущности, ему нечего было бояться будущего: ведь мы знаем, что насколько Игнатий ненавидел католиков, настолько же он был и покладист. Новоявленный патриарх был, собственно говоря, чужим на Руси; ему ничего не стоило перейти из одного лагеря в другой, и только одного не упускал он из виду никогда: то были его личные интересы. Едва ли этой византийской душе были свойственны какие-либо благородные побуждения. Борис Годунов пожаловал ему епархию; Игнатий не задумался изменить своему покровителю и примкнуть к Дмитрию. Впоследствии так же просто он перешел на сторону самозванца, именовавшегося Дмитрием II.

Когда положение Игнатия в Москве стало слишком рискованным, он перебрался в Польшу. Здесь его приняли с почетом. Сигизмунд III назначил ему пожизненную пенсию. И что же? Игнатий совершенно забыл о своей ненависти к католицизму. Он примкнул к унии и прожил свои последние годы в Виленском монастыре св. Троицы; здесь у него установились такие трогательные отношения с униатами, что некоторые из них признают его святым. Конечно, в 1605 году гороскоп Игнатия никому еще не был известен; никто не смог предвидеть его будущих измен... Однако истинная натура этого человека не могла быть тайной для того, кто возвел Игнатия в высокий сан русского патриарха.

Конечно, Дмитрий мог вполне положиться на Игнатия и твердо рассчитывать на его усердие. Тем не менее политика царя по отношению к высшему духовенству отличалась величайшей сдержанностью. Он сам шел навстречу иерархам; он ни в чем не посягал на их права; напротив, они были еще приближены к его особе. На торжественных приемах в Кремле царь неизменно появляется в окружении высших сановников церкви. Дмитрий приглашает их к царскому столу; он осыпает их своими милостями. Казалось, для духовенства вернулись счастливые времена Федорова царствования. С учреждением Сената, о чем будет сказано ниже, первенствующее место в нем заняли иерархи. Пастыри душ стали ближайшими советниками государя; согласно заветам старины, они являлись заступниками угнетенных и сирот. Любопытно отметить, что Дмитрий оставил на своих местах всех иерархов, которые успели сделать свою карьеру до него. Он разрешил себе лишь одно исключение из этого правила. Но и оно было сделано в интересах Федора Романова. После возвращения из ссылки этот невольный инок не пожелал ни снять рясы, ни отказаться от своего нового

имени Филарет. Жена его также удалилась в монастырь; при таких условиях ничто не мешало Филарету мечтать о мире. Царь поспешил удовлетворить это честолюбивое желание. Однако Романову нужно было дать приличествующее положение. Для этого, без дальних разговоров, Дмитрий устранил митрополита ростовского Кирилла Завидова. Конечно, это был совершенно произвольный и антиканонический акт; но в данном случае царь действовал как бы под давлением самих иерархов. Дмитрий предоставил им решающий голос и, вообще, отнюдь не хотел проявить своей инициативы [1].

Со своей стороны, высшее духовенство, по-видимому, было довольно своим новым государем. По крайней мере, оно всячески старалось показать это. Истинное настроение иерархов выяснилось в одном чрезвычайно серьезном случае. Дмитрий был непоколебим в своем решении жениться на Марине. За исключением двух лиц, все высшее духовенство, с патриархом во главе, пошло навстречу этому желанию: решено было сочетать русского царя с полячкой-католичкой. Пойти на это в 1606 году, в Москве, в этом сердце святой Руси, значило проявить крайнюю снисходительность. Разумеется, Дмитрий был чрезвычайно доволен уступчивостью своих иерархов. Что касается обоих представителей оппозиции, то по отношению к ним он выказал величайшую терпимость.

Как мы знаем, Дмитрий намерен был реформировать монастырский быт. Но он убедился очень скоро, что здесь немыслима радикальная ломка. Напротив, приходилось вооружиться терпением. И что же? Ожесточенный противник монастырей сумел побороть себя;

[1] Дата назначения Филарета в ростовские митрополиты точно не установлена.

он решил считаться с данными условиями. Вот почему он уже не обращался к своим духовникам за советом по вопросу о том, как преобразовать обители, которые он называл притонами тунеядцев. И он был прав. Разве мог он взять на себя задачу Петра Великого? Для духовного регламента не настало еще время. Россия не поняла бы его языка. Немудрено, что тот, кто в Путивле казался столь смелым новатором, в Кремле следовал рутине. Монастырский быт остался неприкосновенным. Царь не провел в этой области ни одного улучшения, не принял ни одной принудительной меры. Мы знаем, что богатства монастырей возбуждали зависть Ивана III и Ивана IV; Дмитрий не поддался корысти: все эти сокровища остались нетронутыми в руках своих обладателей. Каковы бы ни были личные убеждения нового государя, он таил их про себя; в своей общественной деятельности он неуклонно следовал заветам и преданиям своих предшественников. Между прочим, Дмитрий предпринял паломничество в Троице-Сергиевскую лавру; здесь он благоговейно склонялся перед мощами св. Сергия, заступника и молитвенника московских князей. В памятниках того времени мы находим указание на щедроты царя, изливаемые на монастыри. Дмитрий подтверждает их старые права и жалует новые; он освобождает их от налогов и повинностей всякого рода; дарует им всевозможные административные льготы; представляет им привилегии в продаже соли и торговле рыбой. Правда, в одной немецкой хронике имеется упоминание об особом фискальном проекте, который будто бы намеревался провести Дмитрий в ущерб черному духовенству. Однако это свидетельство остается совершенно одиноким; притом же мы не находим никакого документального его подтверждения. В окончательном итоге, монашеская братия, столь многочисленная на Руси, могла только

радоваться, имея такого государя. Дело не меняется, если даже допустить, что Дмитрий действительно взял из казны Троицкой лавры те 30 000 рублей, о которых так будет жалеть впоследствии Палицын [1].

Даже за пределами своего государства Дмитрий слыл горячим защитником православия. В справедливости этого мнения прежде других убедилось Львовское братство. Здесь начата была постройка церкви; из-за отсутствия средств дело приостановилось. Тогда члены братства решили отправить особую делегацию к царю, чтобы просить его о помощи. Как мы знаем, все эти братства в Польше представляли собой боевые организации православных людей. Правительство относилось к ним весьма недоверчиво; что касается католиков, то братства вели с ними ожесточенную борьбу. Как только Сигизмунд III узнал о решении Львовского братства, он приказал приготовить цепи для дерзких просителей и потребовал выдачи виновных. Мы не знаем, что ответил Дмитрий польскому королю. Достоверно лишь то, что просьба Львовского братства была удовлетворена царем, который отпустил делегацию домой не с пустыми руками.

Зашевелилась и восточная церковь. Патриархам слишком хорошо был известен путь на Москву; щедроты русских царей заранее учитывались этими иерархами при составлении своих смет и бюджетов. Можно ли было не обратиться к новому государю, который столь чудесным образом воскрес из мертвых? Как же было не ждать от него богатых благодарственных жертв? Как только патриарх иерусалимский Софроний узнал о том, что «открылся» настоящий сын Ивана IV, он поспешил отправить к нему особое послание: очевидно,

[1] По свидетельству князя Катырев-Ростовского Дмитрий отправил в ссылку монахов Чудова монастыря.

у него не хватало терпения подождать, пока экспедиция царевича даст более или менее определенные результаты. Теперь представлялся самый удобный случай укрепить завязавшиеся отношения. Между московским патриархом и князем Адамом Вишневецким произошел конфликт. Для того чтобы ликвидировать это дело, иерусалимский патриарх отправил в Польшу трех уполномоченных. Им было приказано заехать в Москву и передать Дмитрию письмо Софрония.

Это послание представляет собой своего рода шедевр восточного стиля. Автор его то парит в высотах, то неуклюже спускается в низины материальных расчетов. Письмо начинается изображением того, как вся Палестина, теснясь в храмах, славословит Всевышнего за чудесное воскрешение потомства русских царей. Ныне, в лице Дмитрия, вновь обретает человечество драгоценное сокровище, бывшее под спудом столько времени. Горячие моления возносятся к небу: да поможет Господь царевичу восстановить свои права на престол без пролития крови, минуя ужасы войны. Когда же Дмитрий воссядет на прародительском троне, пусть не забудет он Св. Гроба Господня; пусть памятует он о его величии и о его нуждах. Пусть следует он по пути Ивана IV и Федора, сложивших тяжкое бремя с двух восточных церквей. Здесь тон патриарха меняется: перо святителя переходит в руки дельца. Он напоминает, что церковь иерусалимская — кругом в долгах. Эта задолженность достигает огромных размеров (5 000 червонцев), а кредиторы неумолимы: они требуют 50% за сто.

Но разве можно перечесть все эти финансовые бедствия? Один лукавый заимодавец, выманив у Софрония вексель в тысячу золотых, вместо денег навязал ему пару арабских коней. С такой заменой можно было бы, пожалуй, и примириться, но беда в том, что

благородными скакунами завладел князь Адам... Напрасно патриарх старался вернуть их — он лишился и лошадей, и денег. Все эти злоключения должны были возбудить жалость: к этому чувству и взывает трогательное заключение послания. Нам нечего добавить к его тексту. Конечно, письмо патриарха дошло по назначению и хранится в Московском архиве.

Между тем, несмотря на почти всемирную славу Дмитрия как ревнителя православия, отношения царя к духовенству были хороши только внешне. Лишь один патриарх дал Дмитрию очевидные доказательства своей непоколебимой верности. Рассчитывать на подобную преданность со стороны других было трудно. Большей частью иерархи выражали притворную радость и ликовали по заказу; в глубине души они таили недовольство. Недоверие царя к духовенству еще возросло, когда епископы львовский и пржемышльский тайно донесли на Дмитрия и объявили его врагом церкви [1].

Дмитрий чувствовал, что почва колеблется под его ногами. Поэтому он тщательно избегал всего, что могло бы выдать его вероотступничество: теперь он был уже гораздо осторожнее, чем во время похода. Первыми почувствовали эту перемену двое иезуитов. Правда, они вообще держались на известном расстоянии; потому и отдаление их произошло почти незаметно. Напротив, оно было так тонко обставлено, что являлось как бы простым следствием случайности.

Впрочем, оба иезуита легко с этим примирились. Они были поглощены исполнением своих обязанностей. Каждый день они демонстративно отправлялись пешком в обширное помещение, служившее им походной часовней. Обедня сопровождалась музыкой. По

[1] Русские архиреи считали одним из главных врагов Дмитрия Феодосия, епископа астраханского.

воскресеньям произносились проповеди и пелись гимны. По вечерам солдаты собирались снова и пели за вечерней псалмы. Капелланы насчитывали около трех тысяч поляков, живущих в России. Большинство из них составляли военнопленные, пережившие походы Батория; тут же были и ливонские эмигранты. Некоторые из них сохранили свою веру, другие перешли в православие. Все были лишены религиозной поддержки в течение пятнадцати, двадцати, даже тридцати лет. Вид священника будил в них самые дорогие воспоминания; он переносил их на родину. Все они умоляли капелланов не покидать их больше. Было решено соорудить костел; этот план возбудил настоящий энтузиазм.

Кроме поляков, отцы иезуиты нашли в Москве еще доктора-католика Эразма. Рудольф II прислал его в 1604 г. Борису Годунову. С первой же встречи завязалась дружба. Старый врач, как настоящий ученый, дрожал за свои книги. Он поспешил назначить иезуитов наследниками своей библиотеки и подарить им экземпляр Тита Ливия.

Таким образом, сами занятия способствовали некоторому отдалению капелланов от царя. Иезуиты выжидали. Таковы были инструкции, полученные ими в Кракове; да и собственное их мнение согласовалось с видами духовного начальства. «Мы не в Путивле», — писали они, отмечая сдержанность Дмитрия. В этой перемене они не видели никакой немилости; напротив, получив аудиенцию, они встречали со стороны царя необыкновенно радушный и ласковый прием. Так, в конце декабря 1605 г. иезуиты были внезапно вызваны во дворец. Ради предосторожности они отправились туда ночью. И сразу же точно перенеслись в Путивль. Царь бросился им на шею; он говорил, что счастлив их видеть; он сравнивал эту минуту с моментом своего

коронования и со встречей матери. Пользуясь удобным случаем, капелланы подали ему записку о некоторых своих нуждах; тут же они преподнесли ему молитвенник и другие священные предметы, присланные из Кракова. Тогда в царе проснулся неофит, полный рвения и пылкой веры. Он приходил в экстаз перед частицами святых мощей; принимая благословение, он склонялся до земли, как бывало раньше, накануне сражений. Затем мысли Дмитрия перешли к другому предмету. Он стал говорить о своих профессиональных планах, о посольстве в Риме; одного из иезуитов он непременно хотел включить в это посольство; затем он прочел свое письмо к Павлу V и рассыпался в похвалах и выражениях благодарности папе. Капелланы удалились вполне удовлетворенные.

Такие аудиенции давались редко — раз в три или четыре месяца. Но в промежутках между ними царь поручал своим доверенным подтверждать обещания, данные когда-то капелланам. По его словам, планы будущего остаются неизменными; но с осуществлением их надо повременить: Борис Годунов слишком много распространил клеветы. Православные еще преисполнены предрассудков: новшества не пройдут безнаказанно. Такая медлительность не казалась капелланам ни подозрительной, ни достойной осуждения. Они сами слишком близко стояли к делу, да и, кроме того, внешние отношения к ним были проникнуты величайшей предупредительностью. Царь не только требовал, чтобы иезуиты ни в чем не нуждались; он живо интересовался ими и, как в Путивле, посылал то материи на церковные облачения, то золотую чашу, то драгоценную икону. Отцы вооружались терпением и понемногу устраивались. Они просили себе в Кракове подкрепления: хотелось, чтобы к ним прислали третьего священника для церковных треб и брата Конрада, москвича

родом, для связи с русскими. Из Польши им были присланы книги: Контроверзы Беллармина, Анналы Барония, Проповеди св. Винцента Феррье. Отец Андрей отважно принялся за славянский язык; он мечтал обратить русских в истинную веру и, полный воодушевления, восклицал порой от всего сердца: «Отчего я не москвитянин?» Еще ничто не омрачало этих светлых надежд.

# Глава II

# ДМИТРИЙ И ПАПЫ 1604–1606 гг.

## I
## Дипломатические миссии

Никогда не надо забывать, что политика пап по отношению к царям всегда вдохновлялась идеей единения церквей.

Вспомним послание Сикста IV к Ивану III, Григория XIII к Ивану Грозному, инструкции Бонумбра, донесения Поссевина. Через все века проходит традиционная нить программы, которая никогда не меняет своего основного направления. Однако дело не двигалось с места. Павел V попробовал шагнуть вперед.

Странная вещь, никто как-то не замечал, что вопрос о Дмитрии оставался открытым в Риме до июня 1605 г. У Климента VIII не было времени, а, может быть, и желания разбираться в нем. На первые авансы Дмитрия, т. е. на его смиренное письмо от 24 апреля 1604 г., папа ответил уже известным милостивым посланием, где, намеренно избегая политики, ограничивался стереотипно-благочестивыми фразами. Но не того добивался Дмитрий. Он не прочь был следовать за папой по пути аскетизма; он охотно распространялся о

своих «духовных утешениях»; он заявлял о своей преданности святому престолу и о готовности повергнуть к его подножию свою юность, здоровье и самую жизнь. Но ему хотелось получить за все это награду в виде реальной поддержки со стороны папы. Поэтому его письмо от 30 июля проникнуто одновременно и благочестием, и чисто мирскими помыслами. Климент VIII оставил это обращение без ответа. Можно истолковать такое молчание как угодно. Духовником и другом папы был знаменитый историк кардинал Бароний. Может быть, это он оберегал Климента от досадных разочарований. Может быть, его шокировала одна двусмысленная фраза, вырвавшаяся у Дмитрия. Излагая свои просьбы, неофит благодарил папу за помощь, которую тот ему «предложил». Это значило перепутать роли. Проситель забылся и навязывал свои действия первосвященнику. Как бы то ни было, Климент VIII уже не обмолвился ни единым словом до самой своей смерти, последовавшей в марте 1605 г.

Тотчас же собрался конклав, и между французской и испанской партиями разгорелась отчаянная борьба. Победа французов оказалась слишком мимолетной. Пребывание на папском престоле кардинала, избранного на семидесятом году жизни под именем Льва XI, длилось только 27 дней. Однако в новом конклаве, столь же бурном, Франции опять удалось провести своего кандидата. 16 мая 1605 г. Камилл Боргезе стал преемником Медичи и принял имя Павла V.

Новый папа был красивый, статный мужчина эффектной внешности. Его находили сравнительно молодым — ему было только пятьдесят два года. Утонченная изысканность его манер не мешала ему быть упорным защитником своих прав и суровым ревнителем закона. Лев XI не слишком часто появлялся в римском обществе: он довольствовался тесным кругом

своих приближенных и друзей. Великий герцог Тосканский ничего хорошего не ждал от такого папы в будущем. Он считал его недостаточно подготовленным для своей высокой роли. Венецианский посланник Агостино Нани был менее проницателен. Не предчувствуя появления знаменитого интердикта, он выражал Льву XI пожелания прожить «годы Петра» на благо христианства. Папа был человеком сильного телосложения и имел превосходное здоровье; порой ему докучал лишь ревматизм в левом предплечье. Он много гулял и принимал пищу дважды в день. Все это сулило долгую жизнь, о чем подробно извещал Дожа.

Избирательный период приостановил, как это всегда бывало, всякие дела в Ватикане. Кардинал дю Перрон, сам бывший в числе избирателей, писал французскому королю Генриху IV: «Из-за кончины папы здесь отложены все очередные вопросы; вся жизнь сосредоточилась в конклаве». Забыт был и царь московский. Никто не думал о нем, пока папский престол оставался незанятым. Зато сейчас же после своего избрания Павел V поспешил выяснить себе это темное дело. Еще будучи кардиналом, он слышал в римской курии разговоры о претенденте. В руках его были депеши Рангони и письма отцов иезуитов. Римское общество живо интересовалось этим необыкновенным государем, и кардинал Сан-Джорджио в следующих словах резюмировал зарождающиеся надежды своих соотечественников: «Благодаря Дмитрию мы посмеемся, а турки заплачут». Поэтому уже 4 июня кардинал Валенти поручает Рангони навести подробнейшие справки о личности Дмитрия; пусть он позондирует общественное мнение и главным образом разузнает об отношении к этому вопросу со стороны короля. «Чем полнее и точнее будет расследование, — говорит он, — тем угоднее то будет Его Святейшеству». 16 июля отправляется

новая настойчивая депеша, на этот раз шифрованная. Валенти только что узнал о смерти Бориса Годунова. Успехи Дмитрия приобретают почти чудесный характер, и святому отцу желательно быть осведомленным обо всем как можно скорее: его тревожит мысль о будущем. Если вся страна признает нового государя, что надо сделать, «дабы утвердить его в католической вере и сохранить его преданность святому престолу»? Рангони предложено поразмыслить по этому вопросу.

И так как нунций медлил со своим ответом, Павел V сам отправил грамоту к Дмитрию 12 июля 1605 г. Очевидно, он был менее недоверчив, чем Климент VIII, и не обладал его сдержанностью. Ему казалось, что надо, наконец, подать признаки жизни и обеспечить за собой симпатии новообращенного.

Наконец, в последних числах того же месяца была получена столь желанная депеша Рангони. Помеченная 2 июля 1605 г., она была адресована папе и заключала двадцать семь страниц большого формата. Нунций только и ждал случая, чтобы выдвинуть своего протеже: приказание папы приходилось ему как нельзя более кстати. Относительно происхождения Дмитрия Рангони воспроизводил полностью приведенное выше донесение князя Адама Вишневецкого.

Это донесение приобрело официальный характер: король Сигизмунд познакомил с ним сенаторов, оно же циркулировало в придворных сферах. Поэтому и нунций принимает его без всяких оговорок. Его доверие не имеет границ: в этой страшной истории ничто не поражает и не шокирует Рангони. Его личные сношения с Дмитрием начались в апреле 1604 г. Начиная с этого времени, нунций уже говорит, как очевидец. Он рассказывает о прибытии претендента в Краков, о свидании его с королем, об отречении от православия и о приезде московского посольства. Сведения о

выступлении в поход и о военных успехах Дмитрия Рангони черпает из писем отцов иезуитов. Все это уже известно читателю; мы пользовались теми же источниками, что и Рангони; конечно, мы не пренебрегали при этом и самим Рангони.

Но внешней победы еще недостаточно для утверждения законных прав. В государстве с наследственной властью право на престол дается только рождением. Что же нужно было думать и что действительно думали в Польше о Дмитрии? Был ли он настоящим сыном Ивана IV; являлся ли он бесспорным наследником царей? Вот в чем заключалась вся суть вопроса; но Рангони не разрешает его. В польском обществе, говорит он, существуют два мнения. Во главе скептиков стоят Замойский и Януш Острожский; однако их взгляд на Дмитрия внушен эгоизмом и личными интересами. Большинство шляхты, в том числе краковский воевода, высказываются в пользу Дмитрия. Что же касается короля — он осыпал претендента милостями и подарками; он горячо сочувствует царевичу; он готов принять его послов. Утверждают, что, в случае необходимости, Сигизмунд поднимет за него оружие. Следует ли из этого, что в глазах короля Дмитрий является законным царем московским? Нунций лишь намекает на это; от категорического ответа он уклоняется. Он предпочитает настойчиво указывать на благородный и прямой характер юного государя. Какая пылкость, какое благочестивое рвение! Ведь Дмитрий готов пойти против турок; ведь он собирается провозгласить в Москве унию.

За эту депешу Рангони удостоился получить 23 июля весьма милостивую благодарность. Донесение нунция имело решающее влияние на ход событий: отныне политика папы по отношению к Дмитрию определилась. Собственно говоря, святой престол не узнал от

Рангони ничего нового. Но его сообщение являлось полным перечнем фактов, подкрепленным защитительной речью в пользу Дмитрия. Капитальным недостатком депеши был ее чрезмерный оптимизм. Вспомним речи, произнесенные в сейме; вспомним неуверенные умолчания самого Сигизмунда. Сопоставив все это с утверждениями Рангони, мы увидим, насколько нунций далек был от истины. Эта дипломатическая неосторожность была тем более прискорбна, чем менее Ватикан склонен был ее заподозрить.

У папы должно было сложиться такое впечатление, будто Дмитрий воплощает в себе идеал московского царя, о каком давно мечтают в Риме. Он — ревностный католик; он — сторонник унии; предан святому престолу и враждебно настроен к исламу. Кроме того, у него существует дружба с Польшей, и король Сигизмунд признает его — по крайней мере фактически — настоящим государем. Какая блестящая будущность! Павел V увлекся мыслью о религиозном просвещении славян. Для этой цели был предпринят целый ряд мер. Завязалась живая корреспонденция с Москвой; затем предполагался обмен посольствами. За дело принялись, не мешкая. При этом постарались заручиться помощью со всех сторон.

Уже 4 августа папа пробует оказать воздействие одновременно на несколько лиц. В особых посланиях он обращается к королю польскому, к кардиналу Мацейовскому, к воеводе Мнишеку. Павел V поглощен одной идеей: он хочет поддержать Дмитрия, чтобы воспользоваться этим орудием, ниспосланным свыше, и ввести в России католичество. Поэтому, одобряя все, сделанное до сих пор, он предлагает удвоить усилия: пусть король всей своей силой помогает царю; пусть кардинал воспламеняет его веру, а воевода постоянно руководит им...

Сигизмунд III.
Король польский

Тогда в скором времени в Москве можно будет провозгласить соединение церквей. Уже подумывали о посылке в Москву представителя папского престола; и здесь инициатива принадлежала самому папе. 5 августа составляется, на всякий случай, верительная грамота на имя графа Александра Рангони. Но об этом пункте надо было предварительно условиться с нунцием.

В принципе Рангони был заранее согласен на все комбинации, намечаемые в интересах нового царя. С того самого дня, когда Дмитрий пал к его ногам, нунций проникся к нему особым расположением: мало того, он возлагал на него самые светлые надежды. Новообращенный очень умело поддерживал их; он любил открывать свое сердце духовному отцу. Между ними шла переписка. Дмитрий — или тот, чья рука водила его пером, — владел назидательным стилем и искусством таинственных намеков. Среди рассказов о сражениях он нередко начинает исповедывать свою веру или проявлять порывы религиозного рвения. Он толкует то о Проведении, то о дьяволе; разумеется, нунцию предоставляется защищать своего ученика от козней злого духа. Однако среди благочестивых метафор слышатся мотивы иного рода: Дмитрий взывает о защите против Замойского и Януша Острожскаго; он просит ходатайствовать за него перед папою, королем и сенаторами. И нунций принимал близко к сердцу нужды своего корреспондента. Горячей предупредительностью он старался искупить ледяную сдержанность Климента VIII. Политика Павла V лучше согласовалась с видами нунция. Конечно, он поспешил одобрить как самую идею посольства, так и выбор уполномоченного лица.

Но отъезд графа Александра несколько замедлился. Однако сношения с Москвой продолжались иным способом. Частным секретарем Рангони был аббат

Луиджи Пратиссоли. Его-то он и отправил к царю. Эта скромная личность никому не внушала подозрений; понятно, его миссия могла пройти незамеченной. Зачем Пратиссоли ехал в Кремль, трудно сказать. Официальные депеши о нем совершенно не упоминают; его командировка была секретной. Не предстояло ли ему скромно намекнуть на кардинальскую шляпу, которую Дмитрий должен в скором времени испросить для нунция — своего покровителя? Может быть, мы напрасно возводим на Рангони этот поклеп. Письмо, которое вез с собой Пратиссоли, ничего прямо не говорило, но тон его был весьма знаменателен. Перед нами — предвкушение полной победы, плохо прикрытое личиной монашеского смирения.

Нунций не писал Дмитрию со времени его коронования. Долго сдерживаемый восторг, наконец, прорывается целым потоком слов: Рангони рассуждает и о неисповедимых путях, и о таинственных предначертаниях, и о божественной справедливости, и о милости неба. Отправленные с аббатом подарки внушают пославшего их духовные сравнения. Пусть Дмитрий получит крест, ибо Христос был истинным вождем московского похода. Освященные четки, по-итальянски называемые короной, принадлежат ему по праву, как победителю. Латинская библия откроет ему лучезарные горизонты: не избранник ли он Всевышнего, подобно величайшим ветхозаветным царям? И как Давид и Израиль, он будет счастлив, доколе останется верен своей миссии. Отеческая заботливость нунция простирается еще дальше: он когда-то подарил Дмитрию икону Мадонны, почитаемой в Реджио, и перстень с ее именем. Он узнал, что эти вещи затерялись, и вот посылает царю снова точно такие же, сопровождая их самыми трогательными наставлениями. Между различными афоризмами проскальзывает серьезное

напоминание о соединении церквей: Дмитрий сам обещает совершить это дело; он дал слово перед Господом; от этого зависят слава и мир его царствования. Однако же торопиться ни в чем не надо, необходимо действовать с осторожностью и лишь после зрелого размышления. Что же касается политических советов, то их можно резюмировать в двух пожеланиях: пусть Дмитрий сохранит дружеские отношения с Польшей и с сыновней доверчивостью вручит свою судьбу новоизбранному папе.

Говорить таким языком может только человек, вполне убежденный. Если это письмо и не доказывает большой проницательности Рангони, оно, по крайней мере, свидетельствует в пользу его полнейшей искренности и доверия к своему ученику. Прием, оказанный посланцу Рангони, еще более укрепил это доверие. Пратиссоли не мог нахвалиться своим пребыванием в Москве. Около 16 октября царь принял присланные ему дары; в знак особого своего удовлетворения он сам ответил аббату милостивыми словами. За этим последовали другие знаки внимания. Иезуиты через Бучинского просили позволения показать Пратиссоли столицу. Дмитрий дал им больше, нежели они просили. Он поместил аббата у них в доме, и тот получил полную свободу выходить, когда ему угодно, бывать всюду и принимать у себя, кого захочет. Обычай изолировать дипломатов был еще в ходу, но на этот раз стеснения подобного рода не применялись. В начале ноября Дмитрий пригласил к себе итальянского аббата, польского посланника Гонсевского и обоих иезуитов: странная компания за столом царя! Пратиссоли покинул Москву 22 декабря, обремененный великолепными подарками. Он вез Рангони самые хорошие вести. Конечно, после этого нунций менее всего склонен был изменить своим московским симпатиям. В этом вскоре пришлось

убедиться одному из царских наперсников, отправленных в Краков.

Достигнув высших почестей, Дмитрий в затруднительную минуту воспользовался правами «искреннего друга» нунция и отрядил к нему Бучинского с письмом, помеченным 15 ноября 1605 г. Два обстоятельства, в которых Рангони мог быть ему полезен, тревожили царя. Прежде всего он предвидел затруднения, которые могли возникнуть для польки, ставшей царицей в православной стране. Но он надеялся, что папское разрешение уладит дело. Если Марине будет позволено причаститься в день коронования из рук патриарха Игнатия, а затем посещать русские церкви и поститься по средам, никто не станет требовать большего. С другой стороны, всякий раз, как Дмитрий касался области внешней политики, поляки восставали против его титулов и тем парализовывали всю его энергию. Он величал себя царем милостью Божьей и Цесарем; когда же Сигизмунд III именовал его попросту великим князем, он обижался и взывал против этого нового Мардохея. И вот Ян Бучинский явился в Краков, чтобы излить перед нунцием огорчения царя. Протестант с князем римской церкви занялись обсуждением обоих вопросов. Однако они не пришли ни к какому практическому заключению.

В бумагах Рангони сохранился след этих переговоров. Там имеется особая записка по поводу императорского титула. Она не помечена определенным числом и не носит никакой подписи; однако ее пронизывает специфический дух эпохи: идеи ее стары; новы лишь смелость автора и сама форма. Какой-нибудь лукавый легист священной империи прибег бы точно к таким же приемам, защищая интересы Фридриха Барбароссы; и он не мог бы лучше использовать византийские предания. Дмитрий, оказывается, исходит из двух

принципов: выше себя он ставит только Бога. Он считает себя верховным законодателем своего государства — чем-то вроде воплощенного закона. Затем он утверждает, что государи вольны присваивать какие угодно титулы. Начав с этого, он уже ни перед чем не останавливается. История Рима оправдывает в его глазах свободу в выборе любого звания; а величие царского сана освещает для него самые высокие притязания. Московская держава так же обширна, как Ассирия, Мидия и Персия; она так же могуча, как Рим. Можно ли отказать главе ее в наименовании, даваемом татарским ханам? Позволительно ли отрицать за ними право на ту честь, которой легионы награждали победоносных вождей? Ведь существуют положительные постановления, подтвержденные грамотами, признанные императорами и папами; они освящают титулы московских государей. Если предки Дмитрия ими не пользовались, то только по своей простоте, а давности для подобных прав не существует. Дмитрий мимоходом упрекает поляков за то, что у людей выпрашивали венец, даруемый свыше. Наконец, после других экскурсов в область истории, он надменно заключает: «Получив милостью самого Бога императорское достоинство, почему не будем мы владеть тем, на что имеем полное право?»

Вот из какого арсенала Бучинский извлек свое оружие. По несчастью, оно оказалось не совсем пригодным, чтобы сразить Рангони. Представитель святого престола никак не мог отрешиться от классического представления об императоре, как о прирожденном покровителе церкви, получающем венец свой из рук папы. Поэтому никогда и не возникало серьезного вопроса о том, чтобы возложить на плечи Дмитрия императорскую порфиру. Другое дело титул короля или царя: он был не так недоступен. И Рангони, хорошо

знавший двор Сигизмунда, сделал несколько попыток позондировать здесь почву. Но король был слишком неподатлив. Иногда он как будто и колебался; однако решение вопроса он неизменно откладывал до сейма, не желая посягать на его права.

Разрешения, испрашиваемые для Марины, беспокоили нунция еще больше, нежели громкие титулы Дмитрия. Уступки на этой почве были, казалось, невозможны; однако и лишняя строгость представлялась неуместной. Как выйти из затруднения? Рангони становился на защиту религиозной свободы; он указывал на прецеденты, ссылался на брак княжны Софьи с Василием I. Но какое же заключение вытекало из всех этих аргументов? Наконец, нунций принужден был признать себя некомпетентным. Ему оставалось лишь положиться на благоразумие царя и решение папы.

Уклончивые заявления нунция пришли в Москву очень поздно. Ответ Рангони на письмо от 15 ноября 1605 г. помечен 3 февраля 1606. Между тем Дмитрий уже вступил в прямые сношения с Павлом V. Еще в первые свои свидания с Рангони он толковал о чрезвычайном посольстве в Риме; впрочем, потом он согласен был примириться и с более скромной формой. В день венчания на царство иезуитам было сообщено, что один из них будет отправлен в Рим. К этому известию они отнеслись довольно сдержанно. Целые месяцы протекли затем в полном молчании, и можно было подумать, что проект канул в воду. Не тут-то было. Если царь и не прочь был забыть о соединении церквей, он отнюдь не оставлял мысли об образовании антиоттоманской лиги. Это дало бы ему возможность сыграть в Европе известную роль. Об этом-то плане, вышедшем отчасти из моды на Западе и положенном под спуд, и желал он беседовать с папой устами посла. Роль такого посредника выпала на долю отца Андрея,

этого неисправимого оптимиста, чуждого всяких сомнений. Он выехал из Москвы в первых числах января 1606 г., снабженный латинскими инструкциями с подписью на видном месте: Demetrius Imperator. Приводим содержание этого документа.

«Наставление, данное для памяти отцу Андрею Лавицкому, члену братства Иисуса, для святейшего владыки государя Павла V, первосвященника, 18 декабря 1605 г.

1. Прежде всего он объявит Его Святейшеству о нашем намерении предпринять войну против турок и ради этого заключить союзы с некоторыми христианскими государями. Он будет просить, чтобы властью Его Святейшества было оказано давление на светлейшего Императора Римского, дабы он не слагал легко оружия и не забывал о турецкой войне, а напротив, заключил с нами против турок союз или лигу.

2. Да способствует Его Святейшество заключению подобного же союза и священного единения со светлейшим королем и Королевством Польским.

3. Он будет просить Его Святейшество, чтобы, приняв во внимание намерения наши и Светлейшего Императора Римского относительно сей угодной Богу войны, Его Святейшество сообщил о них сейму Королевства Польского, где будут и наши официальные послы, и это до роспуска сейма.

4. Он укажет Его Святейшеству, что для этой цели мы решили отправить в возможно скором времени нашего посла к светлейшему Императору Римскому. Он должен просить, чтобы у Его Святейшества было также какое-нибудь лицо при Императоре для ведения переговоров от лица Его Святейшества по тому же делу. Если же лицо это прибудет раньше нашего посла, пусть оно его дожидается.

5. Он заметит Его Святейшеству, что между нами и светлейшим Королем Польским существует некоторая

распря по поводу императорского титула, от которого мы легко не откажемся, ибо владеем им по полному праву. Он попросит Его Святейшество принять это во внимание и быть нам судьей.

6. Хотя Его Святейшеству лучше нас известно, каковы заслуги перед святой и священной римской и католической Церковью почтенного и достоуважаемого Отца во Христе, синьора Клавдио Рангони, Епископа и Князя Реджио, апостольского нунция при светлейшем Короле Польском; однако же, так как нам лично известны усердие и бдительность Его Преосвященства в защите Святого Престола, он должен просить у Его Святейшества от Имени нашего о даровании кардинальского сана достоуважаемому Клавдио Рангони, упомянутому выше. Ибо ничто не может быть для нас более угодным, благодаря расположению нашему к Его Преосвященству, как если усилиями нашими будет ему даровано заслуженное им достоинство».

Кроме этого главного документа, отец Андрей вез с собой послания к папе и нунцию Рангони охранную грамоту и письмо Яна Папроцкого. Этот «доверенный камергер» государя, посвященный в его тайны и сам католик, хвалил Павлу V Дмитрия. По его словам, царь весьма предан церкви и иезуитам.

31 января отцы ордена св. Варвары и их друзья были чрезвычайно взволнованы появлением отца Андрея. Он прибыл в поповском наряде, просторной, развевающейся рясе с широкими рукавами, бородатый и длинноволосый, с византийским крестом на шее. Рассказы его возбуждали живейший интерес.

4 февраля Савицкий имел продолжительный разговор с Сигизмундом III. Что происходило между ними? Никто не знает этого. Но посланец Дмитрия вышел из дворца тем же энтузиастом, каким и вошел в него. Затем он выехал из Кракова в сопровождении отца

Станислава Крискoго. Дороги были ужасные, перегоны большие, случались досадные задержки. Наконец, около 18 марта они были в Риме, и папа дал им аудиенцию.

Павел V ждал этой встречи с живейшим нетерпением. В разгар его борьбы с Венецией дело Дмитрия служило ему приятным отдохновением. В то время, как дож Леонардо Донато нападал на церковь, навлекал отлучение на республику и изгонял иезуитов, царь московский открывал им двери своего государства и оказывал святому престолу лестные знаки внимания. Какой неожиданный контраст! Перед глазами папы было письмо Дмитрия от 30 июля 1604 г., оставленное без ответа Климентом VIII. Павла V оно приводило в восхищение. История этого неофита казалась ему чудесной, его миссия — провиденциальной, а преданность царя святому престолу сулила так много! Если понадобится, пылкая полячка сумеет удержать супруга на стезе истины. 7 января 1606 года Марина написала папе письмо, преисполненное благочестия. Когда святые ангелы доведут ее до Москвы, у нее не будет другой мысли, как о соединении церквей. Пусть только папа приказывает, а она сдержит свое слово. Сандомирский воевода и кардинал Мацейовский утверждали то же самое. Павел V счел момент благоприятным для отправления в Россию епископов. Он уже предложил Дмитрию то, о чем некогда Пий V говорил Ивану Грозному. Теперь ему хотелось как можно скорее привести свое намерение в исполнение.

Отцу Андрею не приходилось, конечно, разрушать иллюзии, которыми он сам увлекался. Много раз призывали его в Ватикан для продолжительных и интимных бесед. Здесь он изображал папе положение вещей и возможные надежды на будущее. Относительно всемогущества царя в делах веры, а также относительно

покорности Москвы у него не было и тени сомнения. Отец Андрей воочию видел избрание патриарха; он наблюдал все низкопоклонство русского духовенства; мнение его было составлено. Отсюда сам собой вытекал дальнейший вывод. Необходимо создать новую форму цезарепапизма. Для этого нужно окружить Дмитрия хорошими католиками; подозрительных людей лучше к нему не допускать; и пусть осуществляются данные в Кракове обещания. Таким же простым способом решался и вопрос о титулах: отец Андрей обещал прислать документы, которые рассеют всякие сомнения. Его горячие и искренние речи действовали на папу. Далекая мечта о католической России вызывала на глаза Павла слезы. Он так привязался к иезуиту, что чуть не оставил его в Риме, и согласился отпустить его лишь с тем условием, что тот скоро вернется.

Результаты миссии были изложены в особой записке и в целой серии писем. Кардинал Сципион Боргезе редактировал первую. Племянник папы и его первый министр жил в мире идей и чувств, ничем не напоминавших Кремль. Это была избранная натура, пленительный характер, delizie di Roma, как про него говорили. Боргезе сумел создать знаменитую виллу, носящую его имя; он верил в возвышенные чувства и принимал близко к сердцу славу папского престола. Своей записке он придал оригинальную форму: уполномоченный Дмитрия перед папой заменен здесь уполномоченным папы перед Дмитрием.

По правде сказать, все текущие вопросы были уже почти исчерпаны. Еще 4 марта, в ответ на депеши Рангони, к нунцию были отправлены резолюции папы относительно войны с турками, королевского титула и даже желаемых разрешений для Марины. Оставалось лишь подтвердить все это и кстати выразить Дмитрию благоволение. Кардинал Боргезе внес в свою записку

тень иронии. Упоминая об антиоттоманском крестовом походе, о котором говорили с таким жаром в Москве, он писал: «Пускай царь первый выступит на арену; пусть он увлечет за собой Европу и покроет себя бессмертной славой — папские дипломаты охотно придут ему на помощь при дворах Австрии и Польши». Что же касается распри с Сигизмундом по поводу титула, она предоставлялась решению святого престола и рассматривалась как несогласие чисто личного характера.

Ограничиваясь этими поощрениями, записка сопровождает их неясными обещаниями. В сущности, Павел V готов был сделать крупный шаг вперед. Правда, в обращении к Дмитрию он еще придерживался скромного *vir nobilis et dominus*, сдобренного ласковым *dilectissimus filius*. Однако он усердно искал способа ввести Дмитрия в семью королей. Такое решение вопроса примиряло московские требования с польской ревностью: в Кремле будет не император, а король папской милостью.

Только об одном пункте хранит Сципион Боргезе зловещее молчание: о Рангони и возведении его в сан кардинала он не обмолвился ни словом. Отваживаясь на подобную просьбу, Дмитрий допустил бестактность. Он посягнул на права Сигизмунда, не подозревая, быть может, о том, какие затруднения создавались таким образом. Но, вместо того, чтобы дать ему разъяснения, в Ватикане предпочли промолчать и выместить все на Рангони. Было замечено, что он утомился и нуждается в отдыхе. 3 июня он узнал из депеши, что его преемник, новый нунций, уже назначен. Эта внезапная отставка слишком походила на опалу.

Но не в записке с ее официальным клеймом, а в письмах Павла V к Мнишекам следует искать интимный тон, более точный отголосок бесед папы с отцом Андреем. Здесь владыка предоставляет слово отцу и пастырю.

Наместник Христа забывает политику и думает только об уловлении душ. Как мы уже указывали, обоюдного договора у папы с Дмитрием не было: помощь Павла отнюдь не являлась для претендента условленной наградой. Дмитрий сам говорил, что он желает соединения церквей; он сам давал всякие обещания. Поэтому папа и обращается к сердечным чувствам царя. Ссылаясь на письмо от 30 июля 1604 г., он не намекает, хотя бы издалека, на договор. Его идеалы выше; вдохновляется он совсем иным. Ему бы хотелось видеть у Дмитрия честолюбие Константина. Исходя из убеждения, что царь в Кремле всемогущ, он предлагает подчинить русский народ святому престолу и восстановить церковное единство в его первоначальном виде. Впрочем, с этих высот Павел снисходит и к мелочам; он заботливо предостерегает Дмитрия против протестантов. Пусть трон царя окружают не еретики, а благочестивые и разумные люди. Папа говорит открыто и ясно. Но еще точнее он выражает свою мысль в письмах к сандомирскому воеводе и к Марине. Он настойчиво рекомендует им Братство Иисуса и указывает на дарования отца Андрея. Здесь ясно выражаются стремления Рима. Папа не скрывает своих планов, он хочет отстранить схизматиков, выдвинуть иезуитов, провозгласить единение церквей. Вот, что он задумал, вот каковы его цели.

В то время как в Ватикане редактировались эти послания, отец Андрей в кругу своих близких готовился к торжественному акту. 2 апреля в храме Cesu он произнес 4 формулы нового своего посвящения перед отцом Аквавивой. Правда, не все правила были здесь соблюдены: между прочим, посвящаемый не имел звания доктора теологии. Но вместо ученых степеней отцу Андрею зачислились его апостольские заслуги. А через неделю он уже снова спешит в Москву. В Реканати его

задерживает приступ лихорадки. Лекарством ему служит паломничество в Лоретту. Он идет туда пешком, влекомый непреодолимой силой; в этом святилище он проводит дивные часы. Его взоры неизменно обращены на север: его мужество возгорается при виде московской нивы, уже готовой к жатве; вера его в Дмитрия непоколебима. Почему нет у нас перед глазами письма, отправленного отцом Андреем из Лоретты? Почему не имеем мы того подробного рапорта, который он собирался послать из Болоньи папе и отцу Аквавиве?! «Я напишу, — говорил он, — все, что знаю о «нашем» Дмитрии». Эти два документа потеряны для потомства. Взамен их мы располагаем грамотой, отправленной 5 апреля 1606 г. Павлом V; она относится к московским католикам, которых не коснулись юбилейные милости предшествующего года. Отец Андрей должен был огласить в Москве папское послание. Однако ему не суждено было увидеть Белокаменную.

Приблизительно через три месяца после отца Андрея прибыл в Рим Александр Рангони. Он возвращался из Москвы и был в восторге от своих успехов. Как мы помним, его верительные грамоты были помечены 5 августа 1605 г. В сентябре нунций занял полторы тысячи венгерских червонцев, чтобы покрыть путевые издержки; а 2 октября его племянник пустился в дорогу в сопровождении кармелитов-миссионеров, о которых речь будет ниже. Этот отъезд вызвал резкое осуждение со стороны кардинала Боргезе. Рангони сам указывал раньше на противодействие со стороны короля и Мнишека; он уведомлял Ватикан об отсрочке путешествия и все-таки послал своего племянника в Москву как раз в то время, когда в Риме менее всего этого ожидали. Подобное поведение могло разгневать Сигизмунда. Ватикан заволновался; приказ за приказом

летели вслед послу. Он вышел из затруднения, сделав продолжительную остановку в Смоленске. Только около 19 февраля, когда волнение несколько улеглось, он явился в Кремль.

Рангони не мог прийти в себя от изумления при виде прежнего изгнанника, преобразившегося в царя, осыпанного бриллиантами, окруженного боярами и епископами. Дмитрий нес легко бремя своего величия; он царил над окружающими; он с достоинством играл свою роль. Торжественная аудиенция, данная князю Александру, ознаменовалась некоторой неловкостью на почве этикета. Когда князь заявил, что привез письмо от папы, Дмитрий протянул за грамотой руку. Но один из присутствующих предупредил его и принял послание. Этой уловкой он думал возвеличить родину: таким образом, письмо папы приравнивалось к грамотам царским, которые вручались обыкновенно подчиненным лицам. Словом, равновесие было восстановлено... Из осторожности и дабы не шокировать русских, римский посол, носивший, по-видимому, сутану, был избавлен от присутствия на официальном пиру. Дмитрий только просил его принять «в сердечной своей радости» те кушанья, которые будут ему посланы с царского стола.

Действительно, не успел Рангони вернуться домой, как ему принесли огромное количество яств и напитков. Посуда отличалась поразительной роскошью; чары были огромные и поражали оригинальной отделкой; но ничто из присланного не пленило бы гастронома. Впрочем, Дмитрию было не до того. Ему показалось, что лицо его прежнего друга было печально, и он боялся, что обстановка их свидания произвела на него неблагоприятное впечатление. Двое придворных явились, чтобы уладить дело и предупредить возможность недоразумений. Внешняя холодность и чопорность

соблюдались, по их словам, только ради москвичей. Приходилось считаться с их предрассудками и даже прибегать для этого к некоторым хитростям. Так, например, титулы папы, все перечисленные по-латыни, передавались по-русски лаконичными словами: первосвященник римской церкви. Дмитрий не удовольствовался этими извинениями. Он велел позвать к себе отца Николая под предлогом каких-то разъяснений и в беседе с ним весьма лестно отзывался о папе, о краковском нунции и графе Александре. Он хорошо выбрал посредника — речи его были переданы кому следует.

Царь не без умысла рассыпался в любезностях. Ему предстояло сделать некоторые интимные сообщения и высказать кое-какие просьбы. В Москве его удручало одиночество: он задыхался в стенах Кремля. Европа и Восток манили его. Но лишь только царь собирался приняться за дело, он ощущал недостаток в подходящих людях; у него почти не было помощников. Дмитрию пришло в голову, что Рим мог бы ему доставить желаемых сотрудников. Граф Александр и должен был служить посредником в этом деле.

Более всего царь озабочен был постановкой военного дела и дипломатии. Он просил у папы людей образованных, надежных, опытных и безукоризненно нравственных. Главные должности в государстве будут розданы этим иностранцам сообразно их достоинствам. Одни сделаются секретарями и советниками государя. Под носом невежд-москвичей им будут доверены самые секретные и сложные поручения. Другие займутся военным делом. Им предстоит возвести крепости, построить машины, обзавестись оружием и обмундированием. Чтобы устранить подозрения в латинстве, все новоприбывшие должны быть мирянами. Хотя они и будут присланы папой, они должны всем внушать мысль, что явились сами.

Как бы в оплату за это, Дмитрий намеревался снарядить в Рим торжественное посольство. В глазах православных этот шаг мог бы найти оправдание в том, что папе принадлежал почин: он первый прислал в Москву своего официального представителя. В то же время с помощью папы могли сразу завязаться дипломатические сношения между Кремлем и иностранными державами — Священной Империей, Францией, даже Испанией. Совершенно случайному обстоятельству, скажем мимоходом, Пиринейский полуостров был обязан этой чести. Один португальский миссионер, состоявший на испанской службе, во время своих путешествий очутился в Москве. Звали его Николай де Мелло: он принадлежал к монашескому ордену св. Августина. После двадцатилетней проповеди в Индии он возвращался в Мадрид через Персию и Россию. Его сопровождал молодой индусский принц. Эти путешественники показались полиции Годунова подозрительными. Их заковали в цепи и отправили на Белое море, в Соловецкий монастырь. Лишь только известие об этом самоуправстве дошло до Дмитрия, он приказал привезти в Москву обоих. К сожалению, они не успели приехать вовремя, чтобы вступить с царем в переговоры. Однако Николай де Мелло был предупрежден, что его ожидает миссия к Филиппу III Испанскому.

Племянник нунция внимательно выслушал излияния царя; все его желания он почтительно принял к сведению и вообще вел себя так, что, кроме самого лестного, ничего сказать о нем было нельзя. Понятно, что Дмитрий осыпал его похвалами в письме к Павлу V, которое вручил Рангони перед его отъездом. Письмо это дышало сыновним почтением и благодарностью. Царь дал князю поручения конфиденциального характера к королю Польши. Он обещал папе, что будет почитать

Сигизмунда, как отца, и предоставлял святому престолу решение возникшей между ними распри.

29 марта Александр Рангони и отец Каспар Савицкий встретились. Иезуит, полный надежд, направлялся в Москву, сопровождая воеводу Мниешка и Марину. Что касается князя, то он уносил с собой из Кремля самые светлые воспоминания. В конце июня, побывав в Кракове, Рангони был уже у ног папы и делал ему свой доклад. Он особенно настаивал на отправке сведущих людей, о которых просил Дмитрий. По его словам, таким образом открывался широкий путь для римской пропаганды — путь, который надлежало преградить еретикам. Надвигалась опасность. Бучинский и Казановский уже задумывали посольство в Лондон, чтобы завербовать там инженеров англиканской веры. Им горячо помогали молодые англичанки, которым удалось устроиться в Москве. Они желали, чтобы их семьи и родина воспользовались благоприятным моментом. Доклад Рангони получил одобрение, и автор его был назначен камергером при папском дворе.

Теперь Ватикан мог считать себя вполне осведомленным и знал, какие прежде всего следует принять меры. Горячий сторонник Дмитрия, Поссевин, в это время еще расширил и дополнил планы папы. Он прибыл из Венеции, где разыгрывалась буря. Попытки унять ее были напрасны. Павел V удостоил иезуита аудиенции. Здесь тотчас же разговор зашел о Дмитрии и, в частности, о титулах, которые он себе присваивает. Автор Moskovia, бывший некогда представителем Григория XIII при дворе Ивана IV, был прекрасно знаком с этим предметом в силу своих прежних обязанностей. Он дал устные объяснения папе по этому поводу и представил ему записку. Несмотря на происшедшие за это время перемены, он продолжал считать свою систему наилучшей. В конце концов, она

сводилась к двум всемогущим началам — просвещению и свободе. Открывать школы, где бы учились вместе католики и православные; возбуждать соревнование, посылать молодежь за границу; распространять массу книг; добиться права проповеди, церковной службы и совершения таинств; словом, отвоевать себе место в России — вот каковы были задачи Поссевина. Он учитывал заранее податливость Дмитрия и влияние Марины, не слишком интересуясь средой, где предстояло действовать. Для него, как и для отца Андрея, москвичи были пластическим материалом, готовым, подобно расплавленному металлу, принять какую угодно форму. Не было никого, кто бы сказал обоим, что из недр этой, по-видимому, инертной массы выйдут со временем Аввакумы и неукротимые сектанты. При обмене посольствами, которые старались установить почву для переговоров, одно лишь дело было вполне выяснено и доведено до конца, к равному удовольствию обеих сторон. Курия уже давно желала обеспечить персидским миссионерам свободный проезд через Москву. Хотя, уступая настояниям Поссевина, Иван IV и разрешил некоторые льготы в этом смысле, — они оставались мертвой буквой. Несомненно, Николай де Мелло даже и не подозревал об их существовании. Не воспользовались ими и Миранда с Костою, хотя, впрочем, они были хорошо приняты Годуновым. Монахи-кармелиты, которым поручено было организовать персидскую миссию, также не вспомнили об этих привилегиях, когда выехали в Москву в 1604 г.

Этих миссионеров была всего горсточка: отец Павел Симон, из генуэзской фамилии Риварола, отцы Иоанн, Фаддей и Винцент, брат Иоанн и один испанский дворянин, Франциск Риадолид Перальта. Климент VIII снабдил их грамотой, помеченной 30 июня 1604 г.; она была адресована царю Федору, которого с 1598 года

уже не было в живых. В первых числах декабря 1604 г. путешественники достигли русской границы около Невеля. У них были рекомендации от Сигизмунда III и Льва Сапеги; их сопровождали поляки, причем миссионеры выдавали себя за посольских капелланов. Все это было очень некстати ввиду вооруженного вторжения Дмитрия при предполагаемом соучастии Польши. Конечно, монахов не замедлили задержать и отправить обратно. Вернувшись в Варшаву, они принялись придумывать новые комбинации. Но вдруг известные события совершенно неожиданно разрешили их затруднения. 21 июля 1605 г. папа прислал им грамоту к Дмитрию; одновременно с этим кардинал Сан-Джорджио, ведавший персидской миссией, начал восторженно расхваливать им нового царя.

Действительно, с этих пор все пошло, как по маслу. Миссионеры выехали вместе с Александром Рангони. Они благополучно перебрались через границу, пожили в Смоленске на государев счет и, наконец, были весьма милостиво приняты в Кремле. Кармелиты поселились в одном помещении с иезуитами. Благоволение Дмитрия доходило до того, что он даже хотел оставить их в России. Здесь они могли бы строить свои монастыри, оказывать благотворное влияние на русское монашество и пропагандировать идею единения церквей. Но долг призывал миссионеров в другие края. Поэтому в марте они пустились в дальнейший путь. Дмитрий постарался облегчить им путешествие; между прочим, он вручил им письмо к «своему брату», царю персидскому. Он также уведомил папу обо всем происшедшем, выражая радость, что мог сделать ему приятное. Еще никогда католические миссионеры не встречали в Москве такого радушного гостеприимства, никогда их еще так не ласкали. Отныне двери в Азию будут для них широко открыты. Можно легко себе

представить, какое впечатление произвело в Риме известие о такой перемене.

Таким образом, все складывалось так, чтобы укрепить мнение, которое папа составил себе о Дмитрии. Ничто, казалось, не нарушало установившейся гармонии. Краковский нунций и польские магнаты, капелланы и кармелиты — все славили московского государя согласным хором. Любезные письма царя располагали в его пользу; по-видимому, дело у него не расходилось со словом. Военная прогулка от Самбора до Кремля делала совершенно излишними всякие иные доказательства его царственного происхождения. Разве мог бы незаконный государь так быстро завоевать расположение народа? Павел V был глубоко поражен. Он ждал, что в России начнется новая эра. Все симпатии его склонялись в сторону Дмитрия. Однако лишь дело коснулось принципа — папа оказался непоколебим.

## II
## Дмитрий и св. Инквизиция

Под сенью Ватикана, близ ворот Кавалледжиери, прячась за колоннадами Бернини, стоит скромное обиталище римской и всемирной Инквизиции. В XVII веке это судилище уже утратило свой мрачный характер. Теперь оно являлось лишь церковным трибуналом. Состоя из кардиналов и богословов, под председательством папы, оно обязано было блюсти нерушимость и интересы католической веры. В его компетенцию также входили дела об отречении государей и другие подобные вопросы. Московский царь трижды выступал перед римскими инквизиторами. Правда, он не являлся сюда самолично; в Риме рассматривались только его письма.

Уже первое послание Дмитрия от 24 апреля 1604 г., бывшее настоящим исповеданием его веры, поступило в распоряжение Инквизиции. На обороте латинского перевода этого письма Климент VIII, очевидно, отказавшись от своего скептицизма, начертал дышащие доверием слова: *Ne ringratiamo Dio grandemente, ne daremo voto almeno nella Congregatione del Santo-Officio* [1].

Однако дело Дмитрия осложнялось некоторыми затруднениями. Немедленно после своего отречения от православной веры царевич выразил два желания, о которых было упомянуто выше. Первое из них было немедленно удовлетворено. Силой своей власти Рангони освободил Дмитрия от соблюдения поста. Что же касается другого вопроса, то нунций обещал навести справки в Риме; его компетенция оказывалась недостаточной: дело шло о принятии святых тайн из рук православного патриарха в день венчания на царство.

Желание Дмитрия как можно точнее выполнить все указанные формы не могло не радовать Рим. Кардинал Сан-Джорджио, которому и теперь были поручены дипломатические сношения, видел в этом доказательство сердечной чистоты царевича; понятно, он с надеждой смотрел в будущее. Тем не менее пришлось представить дело на рассмотрение Инквизиционного судилища и его суровых членов. Затруднить их оно не могло. Эти люди были неуязвимы в знании закона, да налицо имелись и прецеденты. Не далее как в 1593 году отцы инквизиторы отклонили подобную просьбу Сигизмунда III. Королю предстояло сделаться шведским государем при условии, что корона Вазы возложена на его чело протестантом. В следующем году, когда дело уже было сделано, строгие блюстители

[1] Письмо Дмитрия.

католической веры согласились закрыть глаза на прошлое из сострадания к королю. Зато королева Анна, из дома Габсбургов, которая наотрез отказалась от подобного компромисса, была удостоена самых горячих восхвалений.

В своих пожеланиях Дмитрий шел дальше Сигизмунда. Члены судилища заволновались. Заскрипели перья. Появились на свет целые трактаты. Одна из подобных диссертаций, может быть самая важная, дошла до нас. Мы говорим о произведении Камилла Боргезе, будущего папы Павла V. Это — автограф; автор его полон учености и пишет в строго схоластическом стиле. Самые отвлеченные истины не устрашают его; он разбирается во всех тонкостях естественного права. В цитатах он неистощим. Отцы церкви и знаменитые богословы, канонисты и св. Августин, св. Фома и Суарец, Каэтан и Барбоза, Ледесма и Сильвестр следуют один за другим, все свидетельствуя в его пользу. Князь церкви приводит точнейшие тексты. Он искусно сопоставляет их и делает необходимый логический вывод. Отказывается, в некоторых случаях и при известных условиях дозволяется принимать св. дары из рук всякого священника, будь он еретиком, схизматиком или даже предан анафеме. Лишь бы он получил свой сан законным образом. Естественно, возникал вопрос: почему во имя общего блага не сделать того, что дозволено бывает в частных интересах? Скоро мы услышим, как папа Павел V ответит кардиналу Камиллу Боргезе и рассеет его сомнения. В описываемое же нами время, когда события так быстро сменяли друг друга, Инквизиция медлила с ответом. Решение деликатного вопроса последовало лишь тогда, когда было уже поздно. Рангони еще дожидался его: но Дмитрий был уже коронован.

Как сказано выше, нет никаких оснований предполагать, что молчание римского судилища волновало

царя. Не знаем мы и о том, чтобы Дмитрий попытался положить этому конец. Но его прежний духовник, отец Каспар Савицкий, ощущал некоторую тревогу совести. Нунций решил отправить его в Москву. Путевые издержки и расходы по содержанию Савицкого должен был принять на себя папа. Между тем могли возникнуть самые непредвиденные осложнения.

Создавшееся положение было во многих отношениях совершенно ненормально. Оно грозило всяческими недоразумениями. Спасти его могла только крайняя осторожность. Действительно, Дмитрий, как никогда, хранил тайну своего отречения от православия. Скрытому католику приходилось управлять православными и жить с ними, не вызывая ничем их подозрений или неудовольствия. В противном случае все будущее церкви могло погибнуть, и предполагаемый союз с Римом был бы обречен на крушение. Ввиду этих обстоятельств, какой политики следовало держаться? Какие можно было делать уступки? И далеко ли можно было идти по этому пути со спокойной совестью? Какие запутанные и щекотливые вопросы! Савицкий не доверял самому себе; он изнемогал под тяжелым гнетом ответственности. И вот, чтобы снять с себя это бремя, от поверг на усмотрение папы следующие пункты.

1. Пока ведутся переговоры о соединении с католической церковью, можно ли с чистой совестью допустить, чтобы Дмитрий причастился святых тайн из рук православного иерарха, раз принимается в соображение благодатная сила восточного обряда?

2. Можно ли Дмитрию присутствовать при церковных службах и религиозных церемониях, происходящих согласно национальному обычаю?

3. Позволительно ли ему воздвигать монастыри и православные церкви и делать в них вклады через третьих лиц?

4. Если представится необходимость, может ли царь принести клятву, что сам он хранит веру своих предков и желает ее соблюсти для всех своих подданных? Если это возможно, то в какой форме должна быть дана присяга?

5. Может ли царь клятвенно подтверждать льготы, противные интересам католической веры, и как ему поступать в подобных обстоятельствах?

6. Можно ли разрешить ему, согласно выраженному им желанию, чтение православных книг, по крайней мере, тех, которые не осуждают прямо католической церкви, а в случаях необходимости, и всех прочих?

Для того чтобы мотивировать свои вопросы и представить их в надлежащем освещении, отец Савицкий прибавляет, что:

1) Дмитрий — уже католик, и примирился с церковью;

2) это примирение скрыто от русских и, вообще, от непосвященных;

3) будет утрачена всякая надежда на единение церквей и могут произойти роковые события, если царь, по крайней мере, вначале не скроет своего отречения;

4) придется признать недействительными и не имевшими места известные обещания, данные, по слухам, Дмитрием под клятвой, которые он, конечно, не в силах будет выполнить. Такова, например, уступка Северской земли королю польскому и уплата значительных сумм.

За отсутствием других достоинств, записка отца Савицкого ясно изображает состояние его души и передает его колебания.

Основная точка зрения отца Савицкого совершенно тождественна со взглядами Поссевина, развитыми в знаменитых прениях с Иваном Грозным. Савицкий смотрит на соединение с Римом не как на новшество,

а как на возвращение к вере предков, к вере св. Ольги и св. Владимира. Их обоих он считает истинными католиками, так как они жили до Михаила Керуллария и окончательного разделения церквей. Теория весьма простая; однако же русские упорно не желали ее принять. Кроме того, она и не устраняла всех затруднений.

Сомнения Савицкого относительно границ его власти и возможных уступок оставались не разрешенными. Надо отдать иезуиту справедливость — он поступал искренне, когда высказывал свои сомнения и просил, чтобы ему указали путь, по которому надо идти. В его записке мы находим еще одно практическое суждение, очень определенного характера. Несмотря на свой патриотизм, Савицкий понимал, что, едва признанный, царь не может уступать другим своих владений и расточать государственное достояние. Таким образом, польский иезуит выступал в роли защитника неразделенной России...

2 июля 1605 г. Рангони сообщил кардиналу Валенти о сомнениях будущего царского духовника. Нунций просил папу взглянуть на дело снисходительней и шире. Пришлось обратиться по этому поводу к Инквизиционному судилищу; как всегда, оно не изменило своей обычной медлительности. Прошла удручающая жара каникул, миновала сентябрьская лихорадка, и лишь 13 октября члены трибунала собрались в Квиринал под председательством папы. Предварительно были собраны сведения о самом Савицком. Его коллеги дали о нем отзыв, как о человеке, достойном доверия, хорошем богослове и выдающемся администраторе. Этот отзыв был принят к сведению; он же указал и выход из затруднения. По окончании прений, вместо того чтобы дать какие-либо инструкции иезуиту, ему было предложено руководствоваться собственной его

ученостью и опытом. «Пускай он перечитает канонические правила, — писал кардинал Миллино 5 ноября к Рангони, — и затем поступит согласно своей совести». Конечно, Савицкий не ожидал такого двусмысленного ответа.

С одной стороны, он признавал за собой некоторые познания по части богословия и права; однако он не знал, как применить их к данному случаю. Инквизиция уклонялась от руководящей роли. Приходилось самому решать дела.

Между тем Инквизиция выиграла таким образом всего лишь несколько месяцев. В конце концов слишком долго молчавший трибунал принужден был ответить на настойчивые запросы мирян и нунция Рангони и сформулировать свое решение. Дальнейшие переговоры относятся частью уже к 1606 г. Хотя они велись после событий, здесь еще не рассказанных, но мы принуждены несколько нарушить хронологический порядок. От этого только выиграет внутренняя связь изложения.

Марина, обрученная в Кракове, должна была со своим родителем отправиться к жениху и принять в Кремле венчание на царство. Дмитрий предвидел известные литургические затруднения; он опасался оскорбить православных и весьма тревожился этим. 15 ноября 1605 г. Бучинскому было поручено, как мы помним, просить у Рангони для Марины три разрешения: причаститься в день венчания из рук православного патриарха; посещать православные церкви; поститься не по субботам, а по средам. Нунций эти вопросы признал выходящими за пределы его компетенции. Он предоставил их решение курии и с величайшим спокойствием ожидал ответа из Рима.

Не так-то легко было сохранить хладнокровие Мнишекам. Бучинский сообщил сандомирскому воеводе о

всех своих затруднениях, и тот начал беспокоиться. Правда, он горячо желал короны для своей дочери; но купить ее ценой отступничества ему совсем не улыбалось. Он видел лишь одно средство для того, чтобы действовать впредь со спокойной совестью: необходимо было добиться самых широких папских разрешений, и притом как можно скорее. И вот воевода пускается в казуистику. Он собирает у нунция богословов: кардинала Мацейовского, отца Савицкого и какого-то бернардинца, по всем предположениям, отца Анзерина. Предварительно им был предложен следующий вопрос: «Имеет ли папа право, в силу своей власти, дать Марине просимые ею разрешения?» Ученое собрание высказалось утвердительно. В его глазах все сводилось к простому communicatio in sacris с некатоликами. И так как, говорилось далее, подобное общение не возбраняется самим Богом, то, следовательно, оно возможно и в силу канонического права. А здесь папа является полным хозяином, лишь бы дело не грозило смутой, соблазном или чем-либо подобным. В силу такого толкования, принимая причастие из рук патриарха, Марина могла бы заявить, что она не намерена изменить своей вере. Это вполне удовлетворило бы католиков; да и православные не нашли бы здесь ничего предосудительного.

Однако же смелые богословы были не вполне уверены в своей правоте; еще менее надеялись они так просто уладить дело. Поэтому они и советовали хлопотать одновременно в Риме и Москве: так можно было иметь гарантию с обеих сторон. Дмитрию можно было бы внушить, чтобы он не настаивал и отказался от требуемых разрешений: пусть сам поступает, как ему велит совесть, но зато пусть и уважает чужую свободу. На папу надлежало действовать иным путем: подчиняясь заранее его непререкаемому авторитету, следовало бы

все же попробовать склонить его в пользу разрешений. Доводы, которыми можно было бы достигнуть этого, должны носить возвышенный характер. Папе нужно напомнить о надеждах на провозглашение унии в России, о вечном блаженстве душ, обращенных в истинную веру, об обещанной свободе католического культа в Московском государстве и о безопасности тех, кто исповедует эту веру.

Эта программа была выполнена самым точным образом. Она имела больший успех в Кремле, нежели в Ватикане. 14 января 1606 г. Рангони отправил в Рим протокол заседания, происходившего под его руководством. Мнишек в последний раз горячо взывал к папе: он-де не будет торопиться с отъездом своим и дочери; он готов делать в пути продолжительные остановки, лишь вовремя получить спасительные разрешения. Это был вопль отчаяния.

Все эти документы были представлены Инквизиционному судилищу. Высокому трибуналу незачем было торопиться, как Мнишеку; членам его было предоставлено на досуге ознакомиться с делом. Собрание состоялось 2 марта; происходило оно под председательством папы, несомненно, настроенного благожелательно. На этот раз нужно было прийти к окончательному заключению. Вопросы Дмитрия были поставлены на голосование. Все члены тайного судилища, за исключением одного, дали отрицательный ответ. Таков был в своем суровом лаконизме приговор священного судилища. Он не опирался ни на какие доводы, не давал никаких объяснений. Он имел скорее дисциплинарное, нежели вероучительное значение. Поэтому все три вопроса, присланные из Кремля, были слиты воедино, хотя все они были далеко не одинаковой трудности и лежали в различных плоскостях.

Два дня спустя, 4 марта, Сципион Боргезе уведомил Рангони о результатах заседания и о том, каким путем пришли к известным решениям. Кардиналы и богословы всесторонне рассмотрели дело Дмитрия; однако они не могли остановиться на выводе, который бы его удовлетворил. «Святой престол, — говорил кардинал, придерживаясь обычного приема курии и, очевидно, не желая касаться догматической стороны, — не дает разрешений в подобных случаях, и нет примеров, чтобы он когда-либо отступил от этого правила. Сигизмунду III, предъявившему подобные же претензии по поводу коронования в Стокгольме, было отвечено таким же точно отказом». Итак, приговор являлся непреложным. Как же можно заставить Дмитрия покориться?

Нунцию не пришлось брать на себя эту неблагодарную задачу. Пока в Риме рылись в архивах, чтобы облечь свое решение неуязвимой броней, Дмитрий вдруг меняет тон. Он уже готов склониться на доводы католиков, он не настаивает более на исполнении своих требований, по крайней мере, одного из них, наиболее затруднительного, — о причастии Марины.

Рангони был в восторге от этой перемены, явившейся так кстати. 18 марта он спешит написать следующие строки: «Королевский секретарь встретил на своем пути сюда воеводу сандомирского, ехавшего в Москву. Мнишек просил передать мне поклон; при этом я узнал, что, выслушав наши разъяснения, великий князь не требует больше, как раньше, чтобы его невеста в день коронации причастилась по греческому обряду». Инцидент был исчерпан.

Вероятно, Дмитрий был единственным московским царем, испытавшим на себе заботы и опеку курии. Вызванный этим обмен мыслей и ряд мер позволяют нам заглянуть в самые тайники папской политики. В

Инквизиции отражается совесть Ватикана. Изучение документов той эпохи говорит нам, что загадочный «царевич» первый обратился к Риму и добровольно предложил соединение церквей. Павел V поверил его искренности. Он действительно возлагал на Дмитрия безмерные надежды. Однако долгом своим папа не пожертвовал. Когда речь зашла о недопустимых уступках, святой престол замкнулся в свое непреклонное non possumus. Не был ли, однако, честный и твердый Павел V слишком легковерен? Но в ту пору и в этом же вопросе не оказалась ли чересчур легковерной и вся Россия?

# Глава III

# ДМИТРИЙ И ПОЛЬША 1605–1606 гг.

Човых доказательств своего высокого происхождения Дмитрий не мог представить; зато на его стороне был ореол самого блистательного успеха. Это не могло не сказаться на его отношениях с Польшей. Правда, Сигизмунд III отрекся от претендента перед Борисом Годуновым и пред лицом сейма. Тем не менее он рассчитывал на безграничную благодарность Дмитрия и настойчиво напоминал о благодеяниях, которыми он осыпал когда-то «царевича». Но стоило ему сделать хоть один шаг в этом направлении, как Дмитрий уклонялся в сторону. С апломбом и самонадеянностью выскочки он забывал обещания, данные в тяжелые дни, и медлил привести их в исполнение. Разумеется, у него не было недостатка в правдоподобных предлогах для этого. Его самоуверенность возрастала по мере того, как усиливалась оппозиционная партия в Польше. Переговоры, которые велись между Кремлем и Краковом, вдруг резко оборвались. Впрочем, они были до такой степени запутаны, что им и не предвиделось никакого конца.

Для восстановления дипломатических отношений с Дмитрием Сигизмунд III выбрал велижского старосту, Александра Корвин Гонсевского. Верительные грамоты были ему выданы 23 августа 1605 г.; но в Москву он прибыл лишь в октябре. Официальной целью миссии

было выполнение форм церемониала. Гонсевскому было поручено принести поздравления царю по поводу его венчания на царство и передать ему приглашение на предстоящее бракосочетание короля с эрцгерцогиней Констанцией. Однако, в сущности, обеим державам надо было прежде всего договориться относительно Швеции. Все остальное могло и подождать.

Гонсевский был скорее воином, нежели дипломатом. Он сразу же допустил неловкость, которая, впрочем, была внушена ему еще в Кракове. Здесь появился какой-то подозрительный иностранец. Это был человек неизвестной национальности; однако он выдавал себя за любимца и даже крестника Годунова. Этот субъект рассказывал какую-то странную историю. По его словам, крестный, Годунов, вовсе не умер; вместо себя он приказал похоронить кого-то другого; сам же царь, захватив свои сокровища, отплыл в Англию. Но исчезновение Годунова только временное. Колдуны предсказали ему, что он спасет свою державу и скоро снова вернется к власти. Итак, Дмитрию угрожала опасность. От имени короля Гонсевский обещал навести справки в Лондоне, усилить стражу на границах и таким образом преградить дорогу незваному гостю с того света.

Эта басня не произвела на Дмитрия никакого впечатления. Он не выказал ни малейшего страха и скептически отнесся к предсказаниям чернокнижников. Тем не менее он счел долгом серьезно поблагодарить посланника и указать в то же время на достоверность смерти Годунова, делавшей все предосторожности совершенно излишними. Потерпев такое крушение, Гонсевский сделал еще одну ошибку. Сигизмунд имел подозрение на одного из своих же сановников в Вильно. Дмитрию предстояло решить вопрос, действительно ли этот несчастный злоумышлял против него с Годуновым. И на этот раз царь уклонился от ответа: он даже не

потребовал выдачи виновного и лишь обещал начать следствие.

Когда было покончено с этими прозрачными авансами, на очередь был выдвинут шведский вопрос. Медлить с его решением было нельзя. Прекрасная страна Олафов и Эриков была охвачена пламенем войны: там боролись за престол и за веру. Племянник Сигизмунда III, Карл IX, прежний герцог Зюдерманландский, силой захватил трон, принадлежавший по праву его дяде. Последователи реформации поддерживали узурпатора, забывшего свои клятвы. Предстояло решить спор оружием. Сигизмунд напрягал все свои силы в войне с племянником; одерживая победы в Ливонии, он рассчитывал на военный союз с Дмитрием, чтобы окончательно одолеть противника. Но те же надежды питал и Карл IX. Он со страхом взирал на Москву. Ему неизвестно было, что там происходит; во избежание неожиданностей, он стянул войска в Финляндию. Но, в любом случае, Карл предпочел бы заключить с русскими союз против поляков. Эта тактика была слишком очевидна; Сигизмунд отлично понимал ее. Поэтому он и торопился предупредить своего противника. Он просил Дмитрия считать Карла IX самозванцем, а послов его — изменниками законному королю; если же они осмелятся явиться в Кремль, пусть их выдадут полякам.

Такая запутанность интересов была выгодна царю. Стоя между двумя врагами, из которых каждый искал его помощи, Дмитрий мог выбирать то, что ему казалось лучше. Борис Годунов отлично умел пользоваться подобными обстоятельствами. Но преемник его оказался недостаточно решительным. Вся его политика в шведском вопросе свелась к двусмысленным уступкам Польше и вообще к уловкам довольно сомнительного свойства.

Карл IX,
король шведский

Царь обещал сделать запрос «герцогу Карлу» — он отказывал ему в королевском титуле — и дать знать в Краков, лишь только шведские уполномоченные явятся в Москву [1]. Еще проще обошлось дело с Густавом. Честолюбие Годунова привлекло в Москву этого ничтожного представителя шведской королевской династии. Незаконный сын развенчанного Эрика XIV, Густав влачил в Европе самое жалкое существование, когда Годунов захотел сделать его своим зятем. Царь пригласил принца в Кремль, осыпал его милостями и выдал бы за него свою дочь, если бы сам Густав не афишировал своей любовницы перед оскорбленными москвичами. Наказанием за такую распущенность и за презрение к национальным обычаям послужило изгнание принца из столицы. Сосланный в Углич, Густав жил там, как королевич, в почете. Сигизмунд находил эти милости чрезмерными и просил сократить их. Удовлетворить его желание было, конечно, нетрудно.

Собственно говоря, Дмитрий должен был бы сделать эти уступки совершенно бескорыстно. Он связан был своим словом. Тем не менее он нарушил данное обещание и потребовал взаимных одолжений. В обмен за помощь против Швеции он желал признания за собой титулов, которыми он столь щедро сам себя наделил. Но склонить голову перед самозваным российским императором было для короля польского равносильно отречению от вековых традиций; другими словами, это явилось бы санкцией незаконного захвата. Царь не мог не знать, какой важный вопрос он затронул. Уже давно русские прибегали к узурпации чужих династических прав, это сослужило им немалую службу. Теперь

[1] Часто в литературе приводилось письмо Дмитрия к герцогу Карлу, где он надменно, дерзко грозит войной и требует полного повиновения.

пришел черед Дмитрия; он еще усовершенствовал старое оружие, приспособляя его к своей сильной руке. Вопрос о титулах станет отныне как бы стержнем; вокруг него будет вращаться вся московская дипломатия; он же явился сильнейшим оплотом ее против поляков.

Так как Гонсевскому не дано было полномочий для решения столь щекотливого вопроса, он мог лишь принять желания Дмитрия к сведению. Мы не знаем точно, обсуждались ли им еще какие-либо дела; во всяком случае, переговоры не кончились ничем. Несомненно, однако, что они носили мирный, даже дружелюбный характер. На прощальном банкете, где, как мы помним присутствовали и капелланы с Пратиссоли, Дмитрий не знал, как обласкать Гонсевского. Дело в том, что сердце царя все еще лежало к полякам. Ни война, ни триумфы не могли отвлечь мыслей от Самбора. Самые бурные переживания не заставили его позабыть Марину. Дмитрий не мог дождаться того дня, когда она прибудет в Кремль, чтобы разделить с ним его славу. Но дочь польского сановника не могла без согласия короля ни распорядиться своей судьбой, ни возложить на свою голову корону. Поэтому не следовало спешить, чтобы не раздражать Сигизмунда; к тому же еще не все формальности были выполнены. Настроение в Кракове могло вдруг перемениться. Впрочем, скоро Дмитрий перестанет бояться. Тогда он заговорит другим языком.

Как было условленно с воеводой Мнишеком, тотчас же после венчания Дмитрия на царство русское посольство должно было отправиться в Краков, чтобы покончить дело о браке Марины. Царю это было на руку. Такая миссия являлась прекрасным случаем показать себя во всем блеске и вызвать если не симпатии, то хотя бы удивление поляков. Эта тенденция

сказывалась во всей организации посольства. Московские послы окружили себя величайшей роскошью; они сыпали щедрыми подарками, выставляя напоказ богатство своего государя. Но тем не менее глава посольства Афанасий Власьев вызывал в Кракове лишь сострадательные улыбки: так выдавался он отсутствием западного лоска среди блестящего и изысканного польского общества. К Власьеву был прикомандирован поляк Станислав Слонский; но и это мало чему помогало. Слонский вел какие-то таинственные переговоры и играл малозаметную роль. Общественное внимание было поглощено дьяком Власьевым, его свитой в триста человек и его ослепительной пышностью. В самый день своего прибытия он послал Мнишеку дары Дмитрия: вороного коня в золотой, с каменьями, сбруе, богатое оружие, предметы искусства, драгоценные ткани, восточные ковры, живого соболя, трех кречетов с золотыми колокольцами и в шитых жемчугом колпачках. Изобилие этих подарков поразило присутствующих. Самые взыскательные сочли их вполне достойными истинно царской щедрости; немудрено, что разорившиеся магнаты предались самым необыкновенным мечтам.

Началась целая серия празднеств. 14 ноября совершалось представление королю; 15-го устроен был роскошный пир у Мнишека; 18-го состоялась аудиенция в Вавеле в присутствии нескольких сенаторов. Согласно одному документу того времени миссия Власьева сводилась к трем пунктам. Прежде всего, посол должен был объявить о короновании Дмитрия патриархом Игнатием и подтвердить дружбу царя с Польшей; далее ему было поручено пострашать поляков турками и напомнить о союзе против Порты; наконец, Власьеву предстояло просить у короля разрешения на брак Марины и пригласить Его Величество на царскую свадьбу.

Ответ Сигизмунда был милостив и полон достоинства. На другой же день невеста с матерью прибыли в Краков. Прошло более года после встречи в Самборе. С тех пор роли переменились. Дмитрий уже затмил Мнишеков своим величием. Но любовь к Марине возрастала вместе с его славой. Это было хорошим предзнаменованием.

29 ноября, около полудня, никто не узнал бы Рынка, самого элегантного места в Кракове. Площадь была запружена нарядными экипажами. Они останавливались перед дворцами Фирлей и Монтелупи, выстроенными рядом и даже сообщавшимися между собой. Здесь, а не в церкви, из уважения к православным, должно было совершиться обручение Марины. Вся знать была в сборе: тут находились король, принцесса Анна Шведская, королевич Владислав, нунций Рангони, представители флорентийского и венецианского правительств, сенаторы, сановники двора, друзья и родственники Мнишека.

Очевидно, приходилось верить, что Дмитрий признан истинным царем Московского государства, что Сигизмунд оставил свои сомнения, а сенат отказался от оппозиции. Для скептицизма больше не было места; все радовались и чувствовали себя по-праздничному.

В одной из комнат, обращенной в капеллу, был воздвигнут временный алтарь. У его подножия русские разостлали шелковый ковер для невесты. Кругом расположилось духовенство с кардиналом Мацейовским во главе. Появилась Марина, сопровождаемая двумя сенаторами. Она была лучезарна и блистала красотой; глаза ее сияли. На ней было парчовое платье, усеянное сапфирами и жемчугом. Плечи невесты были покрыты прозрачной вуалью; на голове у нее красовалась корона из алмазов; волосы Марины ниспадали назад роскошными косами, обильно усеянными драгоценными

камнями. Какой контраст с грубыми чертами Власьева, с его одутловатым лицом, тупым взглядом, неуклюжими манерами и одеждой, вышитой золотом, но больше похожей на попону! Лицом к лицу стояли два совершенно различных мира.

Церемония открылась речами. Первым говорил Власьев. Это было официальное приветствие, произнесенное без всякого воодушевления и претензий на красоту. Кремлевский дьяк не отваживался на поэтические вольности и строго держался буквы своих полномочий. Поляки, наоборот, любили щегольнуть словом. Вместо Мнишека Власьеву отвечал Станислав Минский. Речь его была расплывчата и длинна, в ней не было ничего оригинального. Но кто должен был удивить товарищей по сейму, так это Лев Сапега, говоривший от имени короля. Надо припомнить его речь 1 февраля, нужно представить себе вновь его колебания, суровые советы и мрачные предчувствия; только тогда можно будет судить о его гибкости. Теперь канцлер говорил, что видит в предстоящем браке символ единения двух народов; за него он всячески благодарил Провидение. Жениху и невесте Сапега расточал самые напыщенные похвалы. Само собой разумеется, что Марина в его глазах была идеалом добродетели, красоты и ума. Дмитрий же сразу стал лучшим из князей, образцом государей. Сапега обоим им указывал на их великое предназначение, которое они, конечно, сумеют выполнить. Патриотизм внушил ему лишь единственную оговорку: «Как бы ни велика была честь носить корону, — сказал он, — польская женщина вполне достойна ее, сколько государынь Польша дала уже Европе!». Бесспорно, Сапега стал либо оптимистом, либо играл двуличную роль.

Религиозной церемонии также предшествовали речи. Первым произнес свое слово кардинал Мацейовский.

Здесь было всего понемногу: и теологии брака, и практической морали, и московских воспоминаний, и похвал в адрес московского царя. Кардинал не колебался так величать Дмитрия в присутствии короля; тут же он напомнил о тех благодеяниях, которыми осыпала «царевича» Польша. После этого пропели Veni Greator. Все пали на колени, кроме протестантки, принцессы Анны, и представителя царя.

После пения гимна опять начал говорить кардинал. Он комментировал тот самый текст св. Писания, который проповедники постоянно приводят молодым супругам: «Слыши, дщи и виждь, преклони ухо, забуди дом отца твоего».

К этому тексту кардинал подобрал в Ветхом завете самые лестные сопоставления. Дмитрий, этот новый Авраам, отправил на поиски Ревекки своего верного слугу Афанасия Власьева...

Если московский дьяк был удивлен, видя себя в таком блестящем обществе, то, в свою очередь, и он изумил окружающих своими речами и манерами. На громогласный вопрос, не дал ли царь своего слова другой женщине, он ответил, не сморгнув: «А откуда я знаю?» Побуждаемый со всех сторон Власьев, наконец, согласился дать такой уклончивый ответ: «Коли б кому обещал, так меня бы сюда не слал». Когда менялись обручальными кольцами, Власьев опустил перстень Дмитрия в ларец, не коснувшись его даже кончиком пальцев. Ни разу он не предложил своей руки Марине, предварительно не обернув ее раболепно платком. По поводу обмена взаимных обещаний завязалась борьба. Власьев отказался от посредничества кардинала. «Панне Марине говорить буду я, а не ваша милость», — упрямо твердил он. Лишь с большим трудом удалось добиться от него ответа на вопросы кардинала. Наконец, договор был заключен и закреплен

клятвой. Тогда все присутствующие русские земно поклонились своей новой царице. После этого некий польский дворянин Липинский вскочил на коня и отправился в Москву в качестве курьера: он вез Дмитрию весть о совершении обряда обручения и о союзе с Польшей.

Затем последовал пир, который был устроен с большим великолепием. Он происходил под звуки оркестра в сорок музыкантов. На первом месте, за почетным столом, сидел король, имея по правую руку Марину и Власьева, по левую — принцессу Анну и Владислава. Против короля сидели кардинал Мацейовский и нунций Рангони. Сервировка блистала золотом и серебром; прислуживали за столом высшие сановники. Власьев остался верен себе до конца. Пришлось употребить силу, чтобы принудить его сесть рядом с его государыней, а так как Марина была чересчур взволнованна, чтобы есть, то и он не брал в рот ничего, кроме хлеба с солью, несмотря на неоднократные настояния короля.

Гвоздем праздника были царские подарки, присланные Дмитрием своей невесте. Их вид ослепил присутствующих. Какой блеск драгоценных камней, какая игра красок! Никогда ни одна польская королева не видела таких великолепных и богатых свадебных подношений. Здесь были драгоценные ткани, малиновые венецианские кружева, атлас всех оттенков, золотая и серебряная парча, украшения из рубинов и изумруда, сапфировый крест, пеликаны из топаза, фантастические Нептуны и Дианы; тут же были жемчужный корабль, плывущий по серебряным волнам, золотой вол, утроба которого была полна алмазами, и чудо из чудес — золоченый слон, несущий на своей спине художественно сделанные часы; они наигрывали арии, подражая флейтам и трубам, и приводили в

движение фигуры людей, изображавших разнообразные сцены.

Олесницкий благодарил жениха от лица Марины. По излюбленному обычаю поляков, прежде чем встать из-за стола, было провозглашено множество тостов. Король, стоя, с непокрытой головой, первый выпил за здоровье молодой царицы. После него подняли кубки остальные участники пира: согласно требованию этикета каждый отвесил царице более или менее низкий поклон. Власьев превзошел наиболее почтительных. Каждый раз, как произносилось имя Дмитрия, он падал ниц.

После этого более живая и задорная музыка подала сигнал к танцам, в исполнение которых поляки вносят столько искусства и грации. Царицей и здесь, конечно, была Марина. Король открыл с ней бал; последний тур она сделала с отцом; ее окружали сенаторы, присутствующие восхищались ею, а может быть, и завидовали ей тайно. В конце вечера воевода сандомирский с дочерью склонились у ног короля. Настал торжественный час прощания.

Что должен был сказать Сигизмунд бедному ребенку, не знавшему еще городской суеты и придворных интриг? Ведь так неожиданно выбрасывали Марину в бурное море жизни! Король был настроен скептически; с другой стороны, представления его о Москве вполне определились. И в данном случае Сигизмунд оказался на уровне своего благочестия и обычной своей политики.

Не переходя границ должной почтительности по отношению к царице, он напомнил Марине те обязанности, которые отныне она должна выполнять. Ей предстоит в далекой стране распространять славу Господа Бога, хранить нерушимо любовь к родной земле, стоять на страже дружбы двух народов и обещаний,

данных Польше. Ей придется поддерживать в супруге чувство признательности к королю. А затем пусть будет она счастлива в чужой стране; пусть передаст она свои заветы детям, и да хранит ее небо!

Отеческим жестом король благословил девушку, обнявшую в слезах его колени. Марина хотела ответить королю, но рыдания заглушали ее голос. Кардинал Мацейовский пришел ей на помощь. Чувства ее были так понятны! В этот момент гордая и свободная полячка приносила в жертву самое дорогое, самое прекрасное в жизни: она покидала любимую родину, семью, друзей, родные поля. Неужели этим сердечным сокрушением не заслужит она хотя бы крупицы счастья? Неужели рок бесповоротно предназначил ей поразить весь мир тяжестью своих бедствий?

После этого Марина, предшествуемая принцессой Анной, удалилась к своей матери, которая была больна и не присутствовала на торжестве. Затем отбыли и царственные гости.

Власьев уехал ночью. За исключением странных ответов и раболепных манер, его поведение во всех отношениях было корректно и прилично. Злые языки утверждали, что кое-кто из его свиты нетвердо держался на ногах. Однако, возможно, что в этот день у самих поляков двоилось в глазах. Среди приглашенных царило большое оживление. Танцы продолжались до двух часов ночи. После Марины героем дня был отсутствующий Дмитрий.

Отныне эти два имени были неразделимы. Они вызывали одинаковые симпатии и будили однородные надежды. Не слышалось больше резких речей, какие раздавались в сейме; с подозрениями и мрачными предсказаниями было покончено. В свадебных гимнах звучал только энтузиазм. Поэты старались затмить ораторов. Они толпились вокруг представителей семьи

Мнишеков; угодливость превосходила таланты. Грохов-ский, Юрковский, Жабчик, настроив свои лиры, воспевали дружбу двух народов, блеск заключаемого брака, прощание Марины с ее дорогой Польшей... Казалось, все сердца бились в унисон... Вавель братался с Кремлем; наставал золотой век славянского единения.

Посол великого герцога Тосканского, Родриго ди Мендоза, недавно прибывший в Кремль, так и остался под этим впечатлением полного согласия между Польшей и Москвой. Он явился, чтобы присутствовать на свадьбе короля Сигизмунда и вести переговоры с воеводой сандомирским. Его государь, хорошо осведомленный относительно Дмитрия, искал в России рынка для флорентийской торговли. Мнишек должен был выступить в качестве посредника перед царем. Мендоза запросил воеводу относительно его согласия на посредничество, вручил ему послание Фердинанда и уже готов был поверить, что все желаемые льготы будут предоставлены флорентийцам. Лучше осведомленный либо менее торопливый венецианский посол Фоскарини, наоборот, не предпринял никаких шагов в этом направлении.

Энтузиазм, царивший в Кракове, нигде не нашел такого отзвука, как в Риме. Матримониальные комбинации играли заметную роль в истории народов, влияние их чувствовали на себе и политика, и даже церковь. Павел V давно уже одобрял брак, который должен был возвести на московский трон католичку-польку: благоприятные результаты такого брака были для папы вне всякого сомнения. Об этом Павел с жаром говорил и в своих посланиях к брачующимся и в обращениях к воеводе сандомирскому. Вести, которые шли из Кракова, укрепляли папу в этих надеждах. Может быть, наибольшим оптимистом из всех его корреспондентов был кардинал Мацейовский. Его иерархическое

и общественное положение, при родственных связях с семьей Мнишеков, ставили его особняком против польского духовенства. Его-то Павел и сделал блюстителем интересов веры, затронутых московскими событиями. 3 сентября 1605 года кардинал послал папе ответ, представлявший настоящую апологию Юрия Мнишека: Мацейовский изображал его как человека, всецело преданного святому престолу и преследующего в Москве исключительно интересы высшего порядка. Это могли бы подтвердить и друзья воеводы; но поразительные победы Дмитрия свидетельствовали об этом еще громче. На них лежит неоспоримая печать Провидения. Немедленно после обручения в Кракове кардинал принимается вновь за выполнение возложенной на него миссии; он ходатайствует о папском благословении юной чете, которой предназначен, по-видимому, самый высокий удел. Один Бог может совершать такие чудеса, пишет он Сципиону Боргезе, прибегая к библейскому стилю.

Павел V искренне радовался этому; его рука невольно поднималась для благословения: он ни в чем не мог отказать будущему апостолу Москвы, вероятному союзнику Сигизмунда и противнику ислама.

Однако шумные празднества в Кракове были не более как блестящим миражом. На самом деле польская оппозиция не была обезоружена. Враги царя вновь начали наступать — то скрытыми и окольными путями, то явно, среди бела дня. Кружок предателей, образовавшийся в Москве, имел приверженцев и в столице Ягеллонов. Один из верных Дмитрию слуг заметил опасность и предупредил о ней своего государя...

В то время, как Власьев был вполне поглощен своим представительством, в первых числах января 1606 г. к нему приехал другой агент московского правительства. То был Бучинский, доверенный Дмитрия, его

секретарь и советчик, обладавший проницательным умом и достаточным образованием. Вновь прибывший явился не с пустыми руками: он привез Мнишеку двести тысяч червонцев. Как не быть желанным гостем с полным кошельком? Приличия требовали, чтобы царский тесть не был беден. Таким образом, воевода получал возможность уплатить свои долги, по крайней мере, самые неотложные. Сверх того, как известно, Бучинский должен был заняться вопросом о титулах Дмитрия и о некоторых канонических разрешениях для Марины. По отношению к невесте Дмитрий был до крайности щепетилен. Он хотел предусмотреть ничтожные подробности. Будущая московская царица должна была занимать в Кракове совершенно исключительное положение. Для этого ей пришлось окружить себя многочисленной свитой, допускать к своему столу лишь ближайших родственников и — характерная мелочь — носить русскую прическу. Все эти требования были сообщены воеводе Мнишеку; сам Бучинский наблюдал за их точным выполнением; но главным образом он старался ускорить отъезд Марины. Дело в том, что в Москве все время высказывалось опасение, как бы царица не замешкалась в Польше.

Официально занятый вопросами этикета, царский посланник посвящал свой досуг ознакомлению с общественным настроением и собиранию секретных сведений. Как поляк, он проникал всюду: ему доверялись легче, нежели иноземцу. Результаты таких расследований были иногда настолько тревожны, что Бучинский едва решался доверять их бумаге. Одно из подобных писем, датированное январем 1606 г., дошло и до нас. Бучинский написал его с риском заслужить немилость у царя и прослыть трусом. Он сообщает, что чувствует, как почва колеблется под его ногами: конечно, он боится напрасно потревожить Дмитрия.

Тем не менее серьезность положения заставляет его взяться за перо. Он открыл, что есть изменники, передающие в Краков все кремлевские тайны. Кто они? Это — верноподданные слуги царя. Бучинский не говорит, что за разоблачения он имеет в виду; но он настаивает на серьезных опасностях этой предательской политики. Она создает все растущую враждебность к Дмитрию: она вызывает горькую критику его поведения, упреки в его адрес в непостоянстве. По этому поводу слышатся разговоры, что лучше было бы договориться с Борисом Годуновым; тогда, по крайней мере, знали бы, чего держаться.

К такому разочарованию присоединяется будто бы возмущение поляков против титулов, на присвоении которых столь упорно настаивает царь.

Воевода познанский Гостомский, выражая мнение своих коллег, так высказался по этому поводу: «Это бессмыслица — провозглашать самого себя непобедимым Цезарем; такой эпитет можно допустить разве только в устах другого. В сущности говоря, непобедим один Господь Бог, и только язычник может присваивать себе божеские атрибуты». Воевода считал притязания Дмитрия неблагодарностью по отношению к королю и оскорблением, заслуживающим возмездия. «Пусть Дмитрий будет изобличен перед лицом всего мира, — говорил он, — пусть сами московские люди не колеблются сделать это!»

Эти слова были угрозой; однако они оставались не определенными и двусмысленными. Точнее выразил их значение Станислав Борша, бывший офицер польского отряда Дмитрия. Он ехал вместе с одним из братьев Хрипуновых. Это были весьма подозрительные люди; они были замешаны в интригу против царя, но как — трудно сказать. В минуту откровенности, по секрету, болтливый попутчик рассказал Борше, что Дмитрий в

Москве слывет самозванцем и что против него собирается обширный заговор. Бучинский был поражен этим известием. Чтобы сразу пресечь подобные слухи, он решил увезти Боршу за пределы Польши.

Неизвестно, какое впечатление произвело на Дмитрия это письмо и какие меры он счел необходимыми. Что касается Кракова, то здесь подозрения все крепли и, наконец, перешли в уверенность.

Из Москвы пришли чрезвычайно важные донесения: вообще, наиболее убийственные разоблачения совершали сами московские жители. Ширмой для интриг послужило официальное посольство. Царь желал иметь представителя в сейме 1606 г. Для этого в Польшу предварительно был отправлен Иван Безобразов, чтобы испросить обычную охранную грамоту.

Этот посланец был в то же время и предателем. Он служил орудием в руках врагов Дмитрия. Чтобы лучше скрыть свою игру, он принял возложенное на него поручение как бы вопреки желанию. Прибыв в Краков, он, как следовало, выполнял все обычные формальности. Однако, оказавшись один на один — по некоторым сведениям, со Львом Сапегой, по другим же — с Гонсевским, он заявил, что уполномочен на тайные переговоры Шуйским и Голицыным. Обе эти княжеские семьи, осыпанные милостями Дмитрия и соперничавшие перед ним в мнимой преданности, всячески старались погубить его. От их имени Безобразов жаловался на то, что король прислал в Москву самозванца. Он-де ветрен, жесток, развратен, расточителен и, вообще, недостоин занимать царский трон. Бояре, говорил он, всячески ищут средств свергнуть его. Они желали бы вверить власть королевичу Владиславу.

Конечно, никто не ждал такого оборота дела. Даже спустя три века еще невольно спрашиваешь себя, как все это могло произойти. Русские источники, носящие

более или менее официальный характер, естественно, ничего не говорят об этом эпизоде. Память о нем сохранил нам поляк — гетман Станислав Жолкевский. На него и ссылаются обыкновенно историки [1].

Во всяком случае, гетман не совсем одинок в своих показаниях. Возможна проверка его утверждений; при этом, если и придется пожертвовать кое-какими подробностями, то сущность дела останется в силе. Для этого прежде всего надо обратиться к Скандинавским странам. В Швеции, в замке Браге, оказалась одна записка, принадлежащая Феликсу Крискому. Оттуда она попала в королевский архив Стокгольма. В ней заключается речь, кем-то произнесенная в польском сейме, в начале семнадцатого столетия. Оратор делает исторический обзор войн с Москвой, о которых будет речь дальше. Слепой приверженец короля, он слагает на голову Мнишека всю ответственность за неудачи Сигизмунда и горячо осуждает честолюбивую затею воеводы. Ему известна миссия Безобразова: говоря о ней, он употребляет почти те же выражения, что и Жолкевский. Безобразов, этот достойный и честный русский человек, предсказал Льву Сапеге близкое падение Дмитрия и заклинал возвести на престол либо короля Сигизмунда, либо Владислава. Бояре лелеяли тот же план. Безобразов был их голосом.

Далее сам король сделал некоторые важные для нас признания. 6 декабря 1608 г. он открыл свою тайну преемнику Рангони, нунцию Франческо Симонетта. Славянский мир был на пороге знаменательных событий: русские призывали польского короля на московский престол. Сигизмунд готов был отозваться на их призыв, но слияние двух народов требовало расходов,

[1] По некоторым сведениям, царица Марфа содействовала разоблачению Дмитрия в Польше.

которые трудно было покрыть. Чтобы добиться денежной помощи от папы, Сигизмунд рассказал нунцию о переговорах с московскими людьми: он настаивал на важности этих отношений. «Переговоры начались во время моего брака с эрцгерцогиней Констанцией, — объявлял он, — с тех пор они не прерывались и продолжаются доныне». Нунцию была представлена объяснительная записка для препровождения в Рим. Какой драгоценный источник могли бы найти в этой записке! К несчастью, она до нас не дошла.

В результате всего, видимо, не подлежит спору, что с конца 1605 г. враги Дмитрия делали шаги к сближению с Сигизмундом и его сыном. События следующих лет доказали, что действительно в Москве была сильная партия, склонная передать полякам русскую корону. Но настроение еще не вполне установилось. Политика короля, более чем когда-либо, была неопределенной и колеблющейся. По словам Жолкевского, Сигизмунд дал Безобразову уклончивый ответ. В нем выражены были сожаления по поводу того, что Дмитрий обманул поляков. Король обещал соблюдать нейтралитет, отрицал за собой честолюбивые планы и заявлял о покорности своей Проведению. Со своей стороны, московский посланец сыграл свою роль до конца. Он уехал, не приняв королевских грамот, так как в них не был упомянут царский титул.

Эти формулы этикета были истинным камнем преткновения! Впрочем, несмотря на все, Сигизмунд настоятельно желал вести переговоры с Дмитрием. Искренне или лживо, но царь просил его содействия и сам расточал обещания. Сигизмунд же утверждал, что им уже оказана помощь, и требовал исполнения данного царем слова. 14 ноября 1605 г. он написал епископу вармийскому Рудницкому, что ближайшему сей-

му предстоит установить основания прочной дружбы между Польшей и Москвой.

Миссия Безобразова отнюдь не заставила короля изменить свою линию поведения.

Наиболее полное выражение политики Сигизмунда по отношению к России мы находим в одном весьма важном дипломатическом документе. Мы говорим о королевских инструкциях Олесницкому и Гонсевскому, которые должны были сопровождать Марину в Москву. Эти инструкции помечены 6 февраля 1606 г. и подписаны Львом Сапегой. Никогда ни один государственный человек не обольщался более обманчивой мечтой. Сигизмунд рисовал себе химерический союз Польши с Россией. Но какой Россией? Уменьшенной в своих размерах, лишенной в пользу своей соперницы наиболее цветущих областей... Считая себя одного способным произвести такую ампутацию, король давал послам приказание ничего не решать окончательно, а лишь наметить основные условия договора. После этого в Краков должны прибыть представители Дмитрия, облеченные самыми широкими полномочиями. Здесь и будет произведено расчленение России с возможно полным удовлетворением Польши.

Каковы же конкретные требования Сигизмунда? Прежде всего, он желал огромных территориальных уступок. Он высказывал притязания не только на Смоленск и Северск, как было в 1600 году, но еще на Новгород, Псков, Луки, Белый, Торопец, Вязьму, Дорогобуж и несколько других областей. Этот захват именовался восстановлением прежних границ Речи Посполитой. Дмитрий должен был, не всматриваясь особенно в основу притязаний короля, поверить, что все эти земли некогда принадлежали Литве. Он должен был считать себя счастливым, что восстанавливает это княжество в его исконных правах и пределах.

Таким образом, Сигизмунду одним росчерком пера отдавалось то, чего никогда не мог завоевать польский меч. Не подвергаясь случайностям битв, Польша этим приобретением раздвинула бы свои границы. И, в конце концов, король все же оказывался, по его мнению, сговорчивым. Если ему отказывали в целом государстве, он довольствовался лучшей его частью.

Неопределенные обещания относительно Швеции, некогда данные Дмитрием Гонсевскому, были уже недостаточны. От царя требовали свободного прохода польских войск к Финляндии и обязательства снабжать их деньгами на провиант и обмундирование. Польский король видел себя уже королем Швеции. Неограниченный властитель страны, в Стокгольме, во дворце династии Ваза, он уже обсуждал в мечтах своих условия союза против турок. В настоящий же момент Дмитрий, якобы стремившийся стать активным деятелем этой лиги, должен был теснить татар, союзников турок. Таков был лучший совет, который смогли ему дать.

Достигнув своего апогея, эта идеальная Польша Сигизмунда, увеличенная за счет русских областей и усиленная Швецией, должна была протянуть руку развенчанной, почти обезглавленной России, чтобы заключить с ней наступательный и оборонительный союз. Тут король почти дословно воспроизводил статьи 1600 года, создававшие из России вторую Литву.

Некогда бояре Годунова дали самый резкий отпор Льву Сапеге при одном лишь упоминании о подчиненной роли Москвы. Однако король не воспользовался этим уроком; он повторял прежние ошибки. Может быть, тут действовал расчет на новую польскую партию, образовавшуюся в Кремле; может быть, у Сигизмунда была надежда воспользоваться переговорами относительно титулов. Дело в том, что этот бесконечный вопрос все еще не был решен. Он являлся в

двояком освещении: по мнению поляков, Дмитрий был чересчур требователен сам и слишком скуп по отношению к Сигизмунду. Послы должны были по этому поводу в мягкой форме упрекнуть Дмитрия, напомнить ему о благодеяниях короля, подать надежды и направить дело в надлежащую инстанцию — иначе говоря, передать его сейму.

На пути в Москву, так же как и отец Савицкий, послы Сигизмунда, ехавшие со своим удивительным проектом, встретились с Александром Рангони. Мы уже ознакомились с его отчетом папе относительно своей миссии. Однако необходимо еще раз вернуться к этому предмету, чтобы дополнить его характеристику. Дмитрий беседовал со своим старым другом не только о Риме, но также и о Польше. Он даже дал ему инструкции для переговоров с королем. Рангони избавил бы послов от многих неприятностей, если бы показал им эти инструкции. Однако требования дипломатической корректности не допускали такой чрезмерной любезности. Все детали Рангони должен был передать лишь Павлу V да кардиналу Боргезе, чтобы Ватикан был в курсе создавшегося положения.

Это положение становилось все более и более натянутым. Письма из Кракова, а также от Бучинского открыли царю, что фонды его стремительно падают и что король сомневается в его дружбе. Собственные догадки приводили его к тем же заключениям. Однако Дмитрий еще не унывал. Он притворялся удивленным, почти возмущенным. В чем его подозревают? Почему не верят его преданности и признательности королю Сигизмунду; почему сомневаются в его желании удовлетворить короля? Дмитрий рассчитывал, что Рангони рассеет досадные слухи. Он обещал оказывать королю полное уважение и обращаться к нему

даже не как к брату, а как к отцу. Чтобы доказать это, он возобновил свои предложения относительно Швеции. Сигизмунду стоит только сказать слово, и над Карлом и принцем Густавом совершится кара. Дальше этого уступки Дмитрия не шли. В качестве вознаграждения за них он хотел, чтобы полностью и официально были признаны его титулы. Это был не простой каприз. За спором из-за формы скрывалось нечто более серьезное. Важность этой стороны дела сам царь объяснил Рангони: «Пронесся слух, — сказал он, — что я обещал уступить несколько областей польскому королю. Крайне необходимо категорически опровергнуть это. Вот почему я настаиваю на моих титулах». Говоря так, царь открывал правду лишь наполовину. Не только шел слух о территориальных уступках, но, по всей видимости, он был, безусловно, прав. Теперь Дмитрий отказался от своих прежних обещаний; пользуясь посредничеством Рангони, он хотел осведомить Сигизмунда о невозможности настаивать на передаче Польше русских областей. Перейдя затем к польскому вопросу во всем его объеме, он ограничился высокопарными общими местами: более конкретные свои решения он откладывал до прибытия воеводы сандомирского. Легко догадаться, какой прием ожидал послов, которые должны были именовать «непобедимого Цесаря» великим князем, и ехали, чтобы отнять у Дмитрия половину его царства.

В свою очередь, Дмитрий даже не давал себе труда прикрыть свое отступление. Он отказывался наотрез и не затруднял себя пустыми извинениями. Откуда же бралась у него эта смелость? Не чувствовал ли он в Польше какой-нибудь поддержки? Этот вопрос — далеко не праздный. Он заслуживает того, чтобы на нем остановиться.

В то время, как Дмитрий торжествовал победу, Польша переживала чрезвычайно опасный кризис. Сигизмунд III не умел завоевать симпатии своих подданных. Его скандинавский характер был чужд «французам севера»: их легко воспламеняющаяся, непостоянная натура была прямой противоположностью ледяной сдержанности короля. Мы уже говорили, что политика Сигизмунда была столь же непопулярна, как и сама его личность. Он не обладал ни открытой добротой Ягеллонов, ни твердым характером Батория: нация не чувствовала себя связанной с ним. Господствующая черта короля, т. е. незыблемость его религиозных убеждений, делавшая его столь дорогим папе и католической партии, навлекала на него неукротимую вражду диссидентов и их приверженцев. Все растущее общественное недовольство вылилось в апреле 1605 г. в «рокош», т. е. возмущение, признаваемое, благодаря смелой фикции, законной формой протеста.

На самом деле этот протест польских вольностей был простым предлогом для гражданских войн. На этот раз междоусобие приняло самый ожесточенный характер. Вся страна была охвачена анархией. Оппозиция созывала сеймы, излагая свои обиды, произносила зажигательные речи, организовывала вооруженные силы. Наконец, она объявила короля низложенным и дала ему несколько сражений. При этом она вела переговоры с королем, как самостоятельная держава. Сигизмунд подвергся большим опасностям и чуть не лишился трона. Лишь с большими усилиями, 8 октября 1606 года это ненавистное королю восстание было подавлено и порядок восстановлен.

Оказывается, что сторонники рокоша были заподозрены в тайных сношениях с Москвой и даже в том, что ими была предложена царю корона Ягеллонов. Дмитрий якобы принял это предложение. Чтобы довести дело

до конца, он согласился оказать своим сторонникам щедрую денежную помощь, а также поддержать их вооруженной силой. Бесспорно, это обвинение было тяжко. Но настолько ли вески данные, подтверждающие его? Действительно, иногда как будто можно встретить намеки на нечто подобное. Так, например, в одном письме к нунцию Рангони исповедник короля отец Барч сожалеет, что Дмитрий дал себя склонить льстецам, обещающим ему польский престол. Далее он взвешивает шансы царя на прощение при краковском дворе.

Некий анонимный автор утверждает более категорично и определенно, что он слышал из уст самого Сигизмунда, будто Дмитрий готов отправить сторонникам рокоша сто тысяч флоринов и будто поляки видели в Москве полки, предназначенные на помощь восставшим.

Такие слухи распространялись, по крайней мере, в высших сферах, и каждый давал им свою оценку. Так, нунций Рангони рассматривал их с точки зрения интересов церкви. Велевицкий пишет не колеблясь, что Дмитрий одно время хотел «лишить Сигизмунда его королевства».

Некоторые двусмысленные фразы самого царя и его личные дружеские отношения могли, пожалуй, дать пищу этим слухам. Действительно, душой рокоша и главным его руководителем был тот самый Николай Жебржидовский, который в свое время так повлиял на «царевича» и с такой энергией поддерживал его дело. Enfant terrible партии Станислав Стадницкий, прозванный дьяволом, также был другом Дмитрия, родственником Марины и братом министра ее двора. Царю он дарил великолепных коней; но для польского короля у него находилась лишь исступленная брань.

Перед лицом подобных фактов подозрения короля, совершенно естественно, должны были казаться основательными. Идея славянского единения приобретала все большую и большую популярность. Новизна дела не устрашала сторонников рокоша. Они ненавидели Сигизмунда и готовы были на крайние средства. И все-таки было бы чересчур смело признать догадки за действительность и утверждать, что Дмитрий был на самом деле замешан в рокоше. Некоторые намеки на это имеются, но доказать это совершенно невозможно. И король польский, и царь московский вели двойную игру. Официально один требовал московских областей; другой, опираясь на свои титулы, отказывался от подобных уступок.

Тайно же русские обещали Сигизмунду московскую корону, а поляки, может быть, в свою очередь, предлагали Дмитрию престол Ягеллонов. Интересы сторон перепутались; интригам не было конца.

# КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

## РАЗВЯЗКА

# Глава I

# ВЕНЧАНИЕ МАРИНЫ НА ЦАРСТВО 1606 г., 18 мая

Дмитрий царствовал всего 11 месяцев. Он появился, как метеор. Затем обманчивый блеск его сменился тьмой. История самозванца трагична, почти необъяснима. К оценке ее слишком примешивается партийность. Поэтому свидетели той и другой стороны одинаково сомнительны. В довершение несчастья, время, войны и огонь истребили большинство бесспорных документов. От этой эпохи нам остались только разноречивые показания заинтересованных лиц.

Сомнительный потомок Рюрика не имел ничего общего с прежними московскими царями. Ни образом мыслей, ни вкусами, ни самой внешностью он не походил ни на Ивана Васильевича, ни на Василия Ивановича. Это был совершенно новый тип. Однако в характере его не было резко выраженных черт.

Впечатлительная натура «царевича» настраивалась сообразно внешним условиям, в соответствии с временными успехами или неудачами... В различные эпохи своей жизни Дмитрий был разным человеком.

После испытаний, пережитых Дмитрием, в Москве он развернулся вовсю. Наступала пора радостей жизни и власти. В Кремле воцарились пышность и блеск.

Сумрачное жилище прежних государей было не по душе молодому царю. Ему нужно было что-нибудь более декоративное, нечто более светлое и веселое. Скоро был построен новый дворец. Он представлял собой здание, разделенное на две части. Одна предназначалась царю, другая — его супруге. С точки зрения искусства, этот дворец не мог соперничать с шедеврами Фиоравенти и Солари. Зато он был обширен, легок и не имел в себе ничего мрачного. Внутренняя отделка его поражала роскошью: стены были обиты богатыми тканями, полы покрыты дорогими коврами, всюду блистала позолота. В общем, дворец производил впечатление даже на поляков, и Дмитрий чувствовал себя прекрасно среди всего этого великолепия... Им же был восстановлен церемониал двора, заимствованный некогда из Византии, со своей иерархической сложностью. Кроме того, была учреждена почетная стража, набранная исключительно из иностранцев. Ей было поручено всюду сопровождать царя и охранять его особу. В этой гвардии состояло триста бравых молодцов. Стража разделялась на три дружины: одну — стрелков и две — алебардщиков. Стрелками, т. е. отборнейшей частью, командовал полковник Маржерет, до этого бывший на службе у Годунова. Богатство одеяния у стрелков не оставляло желать ничего. Плащи их были из бархата и парчи, бердыши с рукоятками, обвитыми серебряной проволокой. Два остальных отряда под начальством англичанина Кнаустона и шотландца Альберта Лансиа, имели платья из фиолетового сукна и отличались друг от друга лишь цветом обшивок: у одних они были из зеленого, у других из красного бархата. И офицеры, и солдаты получали повышенное жалованье. Этим хотели купить их преданность. Из недр своего дворца, проникнутого уже духом современности, Дмитрий управлял отсталой и

волнующейся страной. Он был первым царем, переступившим заколдованный круг и видевшим своими глазами хоть часть Европы. Его умственный горизонт раздвинулся в Польше. Различие между Речью Посполитой и Москвой было слишком разительно и менее всего лестно для родины Дмитрия. Страна, провозгласившая его царем, уже не была Древней Русью, легко поддающейся всякому воздействию; она не была и Россией Ивана III, освещенной бледными лучами возрождения. То была Россия опричнины, зверски отброшенная назад Иваном IV, зараженная в самых своих недрах и далеко еще не излечившаяся от своих недугов. То была Россия, полная предательств и интриг, где все было охвачено смутой. Это подточенное, трещащее по всем швам здание не внушало Дмитрию никакой симпатии. Охотно он разрушил бы его сильными ударами молота и построил бы заново. Тем не менее ему приходилось считаться с оппозицией и соизмерять свои силы.

Судя по разговорам, которые вел Дмитрий в Путивле, еще во время похода, можно было прежде всего ждать от него социальных и церковных реформ. Однако, достигнув трона, царь не торопился с преобразованиями. Мы видели выше, что он остерегался трогать православную церковь. За исключением обычного для гражданской власти вмешательства в церковные дела, Дмитрий избегал произвола в этой сфере. Отношения между белым и черным духовенством остались прежними; проекты соединения с Римом отложены были на неопределенное время. Не возникало больше и вопроса о спорах с католиками, а мысль о конфессиональном съезде, намеченная в Кракове и сообщенная Рангони, так и не вышла из сферы идеальных предложений. Равным образом, очевидно, опасно было создавать шум и вокруг школы — в стране,

где ученые слыли за колдунов, а наука считалась ересью. Борис Годунов обнаруживал в этом направлении некоторую инициативу. Он отправил несколько молодых людей в Любек и в Лондон обучаться иностранным языкам, а также пригласил в Россию ученых из-за границы. Дмитрий не пошел так далеко; он ограничился лишь повторением своих обещаний и подходил к их осуществлению очень осторожно.

Чисто гражданская и административная области легче поддавались экспериментам, нежели церковь и школа. Одним из главных дел нового правительства было создание чего-то вроде государственного совета. Если угодно, это был возврат к древним традициям, лишь несколько исправленным и подновленным. Некогда бояре и высшее духовенство принимали участие в государственном управлении. Наиболее видные из них, объединяясь в Думе, образовали ближайший совет царя и, насколько было возможно, умеряли его власть. В этом был зародыш свободы, плохо мирившейся с началами деспотизма. Поэтому, по мере того как режим Московского царства все более и более склонялся в сторону византийской автократии, значение Думы падало. Произвол Ивана IV и несчастья последних лет окончательно нарушили правильность ее функций и извратили всю ее деятельность. Теперь, по миновании кризиса, предполагалось восстановление Думы.

Возможно, что и здесь Дмитрий был не вполне свободен и что прежние обязательства оказывали на него давление. Если только Петр Аркудий достаточно хорошо осведомлен, то имеет в виду, что польские вольности давно прельщали русских: поэтому они заблаговременно поставили Дмитрию свои условия. «Царевич» знал прекрасно, как ему поступать: для того чтобы заставить ворота Москвы открыться перед собой, он не скупился на обещания. Сам Мнишек в письмах к

боярам и «рыцарству» утверждал, что сердцу царя близка мысль о расширении их прав. Принимая во внимание эти заявления, мы склонны думать, что учреждение государственного совета отвечало требованиям общественной мысли и удовлетворяло совершенно определенным желаниям известных групп. Самая физиономия совета с его четырьмя разрядами членов, с его способом пополнения членов напоминает древнюю боярскую думу. Первый разряд членов совета составляло духовенство с патриархом Игнатием во главе. Патриарх сидел по правую руку царя, на почетном месте. С той же стороны, но на почтительном расстоянии сидели четыре митрополита, шесть архиепископов и три епископа. Тридцать два боярина, составлявшие второй разряд, все принадлежали к знатнейшим фамилиям. Среди них были и Нагие, как близкие родственники царя, и начальники войск, отправленных некогда против претендента, и опальные Бориса Годунова, и любимцы нового царя. Уже одно это перечисление представляет характерную страницу истории. Наконец, в состав двух остальных разрядов входили семнадцать окольничьих и шесть дворян. Перечень членов, дошедший до нас, написан рукой секретаря, Бучинского. Подыскивая имя новому совету, Бучинский находит, наконец, слово сенат, заимствуя его, очевидно, у Польши. Это свидетельствует о некоторой реформе учреждения древней Думы: но здесь прекращается наша осведомленность. Ни один из актов, вышедших из этого совета, не пережил его. Нам ничего неизвестно ни о пределах его права, ни о сфере его деятельности, ни вообще о его работе. Что касается Дмитрия, то он, скорее, склонялся к абсолютизму. Его ответы боярам, переданные Аркудием, как мы припомним, были весьма осторожны и даже уклончивы; когда же он говорил с нунцием Рангони о церковных делах, он

сам сравнивал себя с ездоком, который умеет сдерживать своего коня.

Однако в других отношениях Дмитрий обнаруживал больше либерализма. В царствование Годунова простой народ утратил свою свободу. Крестьяне были прикреплены к земле. Появилось рабство. Некоторые распоряжения Дмитрия свидетельствуют о его внимании к интересам справедливости и законности. Так, например, при нем отцу семьи было запрещено отдаваться в кабалу за все свое потомство. Всякий мог признать над собой власть господина, сколько ему было угодно, но все обязательства относительно детей аннулировались: цепи рабства сохраняли личный характер, и таким образом самые вопиющие злоупотребления предупреждались в корне. Права господина по отношению к крепостным были ограничены: помещик мог владеть крестьянами лишь при непременном условии обеспечить их пропитанием. Если во время голода землевладелец не имел, чем прокормить крестьянина, то он терял право владеть ими. Взимание налогов, часто несправедливое и произвольное, было также регламентировано, по крайней мере, в некоторых областях. Это было достигнуто устранением заинтересованных агентов. Без сомнения, все это были лишь частичные меры. Нельзя видеть в них ни системы аграрного законодательства, ни финансовой реформы государства. Но, во всяком случае, здесь сказываются гуманные намерения Дмитрия.

Впереди всех вопросов государственной жизни для нового царя стоял военный вопрос. Он был слишком сродни пламенной натуре царя и, видимо, волновал его. Военные реформы были неизбежны в будущем, но в любой момент они могли принять характер самой настоятельной необходимости. Границам России неотступно угрожали: с востока — татары, с запада — нем-

цы. Мы не говорим о поляках; с ними официально Россия была в мирных отношениях. Тайные мечты Дмитрия шли дальше забот о национальной обороне. Необычный союз против турок не выходил у него из головы. Он уже видел себя во главе антиоттоманской лиги, бросающим на Босфор победоносные армии и идущим по следам Стефана Батория. Военные реформы открывали обширное поле деятельности для даровитого человека, и Дмитрий понимал это. Однако если он и хотел преобразований, то его мероприятия не были ни радикальны, ни смелы. Царь не думал создавать что-либо новое и прочное; он даже не искал у других указаний или образцов. Он довольствовался случайными мерами, ограничиваясь наличными средствами, которыми располагала страна, и помощью нескольких специалистов, присланных ему из Италии и Англии. Впрочем, здесь он потрудился немало. Выправка солдат особенно занимала царя. Он усилил воинские упражнения и расширил выпуск оружия и амуниции. Недалеко от дворца Дмитрий устроил пушечный завод. Он нередко посещал его и много времени проводил за опытной стрельбой. Ему даже приписывали изобретение нового военного механизма. Однако это изобретение более создало легенд, чем поразило врагов. Летописи заклеймили его именем ада или адской машины. Весьма вероятно, это была одна из тех небольших передвижных крепостей, которые часто использовались русскими. Они передвигались на катках и скрывали в себе стрелков. Дмитрий, видимо, переустроил такую подвижную крепость по-своему. Что особенно поражало современников в этой машине, так это адские сцены, изображенные на ее стенках, здесь были нарисованы чудища и демоны, изрыгающие пламя. Этого было достаточно, чтобы оправдать толки о занятиях царя чернокнижием. К воинственности у Дмитрия примешивалось

честолюбие. Под предлогом антимусульманской лиги он мечтал создать себе видное положение в Европе. Припомним, что, предлагая папе свой меч против турок, царь стремился вступить в семью западных держав. Другим путем единения с внешним миром, средством стать известным и сделаться предметом исканий являлась торговля. Дмитрий понял и оценил ее важность. Конечно, ему были неизвестны теории свободного обмена и протекционизма. Но он инстинктивно чувствовал, что путы, стесняющие торговлю Московского государства, отжили свой век. Что касается непомерно широких привилегий, данных иностранцам, то они не внушали Дмитрию опасений. Его система, если только он имел ее, видимо, заключалась в том, чтобы открыть для всех двери страны, привлечь отовсюду купцов и оказывать широкое покровительство торговле, хотя бы за счет доходов государства. Он был убежден, что впоследствии все такие жертвы будут вознаграждены сторицей. Поэтому царь предоставил полякам и литовцам право приезжать прямо в Москву и привозить свои товары. Теперь для них не было ни принудительных остановок на границе, ни крепких застав в пути, ни дорого стоящих и стеснительных формальностей. Такие же льготы были предоставлены и русским в Польше.

Англичане, поддерживаемые, может быть, своими московскими доброхотами, заняли самое благоприятное положение. Когда Дмитрий еще шел на Москву, он уже интересовался Великобританией. По прибытии в Тулу он распорядился, чтобы о нем сообщили английскому агенту Джону Меррику, который поспешил представиться будущему государю. Едва водворившись в Кремле, новый государь отправил послов в Архангельск, где британский посланник Томас Смит готовился к отплытию на родину. В Архангельске у него по-

требовали обратно письма, полученные от Годунова. Эти письма были заменены другими, адресованными королю Иакову I. В них англичанам давались обещания широких привилегий и возвещалось о прибытии в близком будущем в Лондон русского посольства. Англичане охотно воспользовались этой любезностью. Смелое путешествие Ричарда Ченслера открыло им доступ в Белое море. С тех пор они эксплуатировали Россию с отвагой и предприимчивостью, столь характерной для современного Карфагена. Борис Годунов с оскорбительной для русских щедростью осыпал англичан всякими льготами. Казалось, что Дмитрий хочет превзойти своего предшественника. Джон Меррик добился от него разрешения, в котором некогда было отказано Паолетто Чентурионе. Англичанам было предоставлено свободно объезжать страну и торговать беспошлинно.

Вообще говоря, с вступлением на престол Дмитрия, в особенности же во время коронации Марины, замечается оживление в России торговой деятельности. В Польше к конвою царицы присоединился целый караван купцов. Другая компания их быстро сформировалась в Аугсбурге. Глава ее носил еврейское имя Натан. В числе его компаньонов был некий Паэрле, которому вскоре пришлось сделаться историком своих собственных несчастий. Жажда барышей привлекла в Москву даже нескольких итальянцев, например, Челлари из Милана. В конце концов, репутация Дмитрия, как широкой натуры, в особенности же охотника до драгоценных камней, настолько установилась, что сама принцесса Анна, сестра короля Сигимзунда, не выдержала перед соблазном хорошей аферы. Она отправила в Кремль целую коллекцию драгоценностей, которые некий польский дворянин должен был продать царю.

Несмотря на разнообразие своих деловых занятий, Дмитрий не имел недостатка и в досуге. Он спешил вознаградить себя за прошлые лишения. Видимо, в Кремле жизнь текла привольно. Любимым отдыхом царя была охота. В ней он обнаруживал редкую смелость и ловкость. Однажды, в присутствии воеводы Мнишека, он приказал выпустить в поле медведя и, сев на коня, сначала преследовал зверя до устали; затем своей сильной рукой он так умело бросил копье, что медведь пал мертвым на месте. Этот подвиг прославился в охотничьих летописях того времени. Однако не все забавы царя были одинаковой пробы. В Кракове, в Самборе и в течение похода никто не замечал за Дмитрием какой-либо слабости. По крайней мере, никто не говорил об этом. Совершенно иное оказалось тогда, когда обладание верховной властью позволило Дмитрию удовлетворять все свои прихоти и широко наделило его средствами для этого. Как и другие русские цари, он не ложился спать трезвым. Хроника скандалов при кремлевском дворе в его царствование была очень богата. Многие старались изобразить Дмитрия каким-то развратным сатрапом. Однако все россказни относительно его распущенности более пикантны, чем достоверны. Правда, анекдот о тридцати беременных девушках добросовестно повторяется большинством историков. Но можно ли признать его за истинный факт? По отношению к этим тридцати девушкам свидетелем выступает Исаак Масса; это был молодой голландский купец, производивший свои расследования среди грабежа и кровопролития, о которых мы расскажем ниже. Исааку Масса поверили на слово, не задаваясь вопросом, как ему удалось раскрыть эту акушерскую тайну. Однако, хотя такие подробности, очевидно, носят характер сплетни, основа их остается неоспоримой. Серьезные свидетели высказывают сожаление по

поводу скандалов, связанных с именем царя; скорбят об этом и сами его сторонники; обвинение в распутстве носится в воздухе. Дело дошло до того, что сам Мнишек вынужден был протестовать и читать царю мораль. Правда, ему не легко было принять на себя эту роль.

Припомним, в какой критический момент сандомирский воевода оставил армию Дмитрия. Это было немедленно после восстания, в момент отчаянной борьбы с препятствиями, лицом к лицу со всевозможными неожиданностями. В дороге Мнишек успокоился и, по прибытии в Самбор, преподнес своим друзьям бернардинцам вышитое золотом московское знамя. Это знамя было принято, как трофей победоносного гетмана.

После этого произошло много событий; но Мнишек все продолжал выступать перед царем в качестве просителя. То ему нужно, как всегда, удовлетворить своих кредиторов, то необходимо уплатить королю подати, а затем покрыть расходы на свадьбу Марины. Единственным прибежищем для воеводы был его прежний протеже, снабжавший его деньгами.

25 декабря 1605 года Мнишек в отчаянном письме вновь обращается к кошельку Дмитрия. Под его пером теснятся красноречивые цифры; нужда его крайняя. И все-таки за бедствующим, разоренным магнатом вырисовывается фигура владетельного воеводы Сандомирского. Он лелеял мечты о величии своей семьи и родины; он уже видел перед собой союз Польши с Москвой — и вдруг все заколебалось: Дмитрий ускользает из рук своего тестя; он восстает против короля и изменяет Марине. Волнение воеводы достигло крайних пределов. Он горячо увещевает своего непостоянного зятя, он умоляет его уладить свои отношения с королем и, наконец, подходит к щекотливому вопросу, особенно удручающему его отцовское сердце.

Дело в том, что в Польше начали распространяться странные слухи. Среди московских женщин одна пользовалась славой редкого ума и несравненной красоты. Это была Ксения, дочь Бориса Годунова. Из всей семьи ей одной удалось избегнуть смерти и оков. Даже русские летописи, обычно столь сухие, отдают Ксении дань удивления. Заботливо воспитанная своим отцом и весьма начитанная, Ксения привлекала к себе взоры всех. Она обладала роскошным станом, прекрасным, молочно-белым цветом лица, нежным румянцем, большими черными глазами. Ее темные волосы ниспадали на плечи тяжелыми косами. Злые языки утверждали, что Ксения живет в Кремле, и Дмитрий далеко не безразлично относится к ней. Мнишека встревожили эти слухи. Ему была слишком дорога честь его дочери. Он не мог допустить, чтобы у нее была соперница. Поэтому он потребовал от Дмитрия удалить от себя княжну, которая чересчур прекрасна, чтобы не вызывать подозрений.

Нам неизвестен точно ответ царя. Во всяком случае, он успокоил тестя. Ксения была удалена в монастырь; неотложные долги Мнишека были уплачены, а Дмитрий как ни в чем не бывало начал торопить приезд своей невесты. Все уже было готово к ее приему; бояре, отправленные навстречу, ждали ее на границе. Но Марина все не приезжала. Это было тяжким испытанием для Дмитрия. Он просил, умолял, он угрожал, наконец, что едет в поход, но ничто не помогало. В Москве терялись в догадках. Как объяснить медлительность Мнишека? В действительности воевода ожидал ответа из Рима относительно испрашиваемых для Марины разрешений. Ему было тяжело ехать с неспокойной совестью. Поэтому он тронулся в путь не ранее того, как у него появилась твердая надежда на своевременное получение ответа.

Это путешествие воеводы сандомирского со свитой было настоящим походом переселенцев. Мы оставили Марину среди празднеств, в ожидании короны, в слезах прощания с родиной. Затем она покинула столицу 3 декабря и удалилась в Прондник. Это было сделано, чтобы избежать некоторых осложнений на почве этикета. Дело в том, что на следующий день в Краков въезжала великая герцогиня Констанция, невеста Сигизмунда. Участие двух государынь в процессии поставило бы в крайнее затруднение церемониймейстеров. Отъезд Марины устранял деликатный вопрос и облегчал их задачу. Свадьба короля состоялась 11 декабря 1605 года и обставлена была с большой пышностью. После нее три дня тянулись бесконечные торжества, которые могли бы привести в отчаяние самого Гаргантюа. Власьев находился среди гостей: конечно, он не упустил случая почудить. Будучи царским послом, он потребовал места впереди нунция. Такое притязание казалось ему законным по следующим соображениям: он утверждал, что папа не может иметь при одном дворе двух легатов; а так как обязанности папского легата исполнял кардинал Мацейовский, то нунция Рангони Власьев низводил на степень простого епископа. Впрочем, поляки скоро образумили его. Они предложили ему либо уйти, либо подчиниться их требованиям. Уступив их твердости, Власьев занял указанное ему место.

Пока король наслаждался своим медовым месяцем, Мнишеки заканчивали приготовления к отъезду. Поезд их окончательно сформировался только в Самборе. Для его снаряжения потребовалось три долгих месяца. Особым приказом Сигизмунда все судебные иски против сандомирского воеводы приостанавливались на время его путешествия. Эта милость была равносильна поручительству свыше. Мы не знаем, предпринял ли король

при осуществлении своей милости какие-нибудь меры для обеспечения исков или же только намекнул на тайные переговоры по этому поводу с русскими. Во всяком случае, ничто не нарушило спокойствия отъезжающих. Объединенные между собой узами крови и дружбы, они помышляли только о радостях, ожидающих их в Кремле. Мнишек увозил с собой своего сына Станислава, брата Яна, племянника Павла, зятя Константина Вишневецкого, Сигизмунда и Павла Тарло и трех Стадницких, из которых один был гофмейстером Марины. К свите Мнишека присоединились также Казановский, Любомирский, Доморацкий и Голуховский. Вокруг Марины группировался женский персонал: Гербурт, Шмелевская и жены двух братьев Тарло. Гофмейстериной была Казановская.

Церковный элемент был широко представлен в свите. Священник самборский, Франциск Помаский, добровольно ехал в Москву. Отец Савицкий отправлялся туда по поручению нунция, на средства папы. Миссия иезуитов должна была начаться в Кремле. Там их путешествие должно было напомнить царю о его переходе в католичество, совершившемся в Кракове. Что касается Марины, то она оказывала предпочтение отцам бернардинцам. Они были ее друзьями. Отныне они должны были стать духовниками царицы и в далекой стране пробуждать незабвенные воспоминания о самборской жизни. Воевода разделял симпатии своей дочери и вверял тем же монахам тайны своей совести. Семь бернардинцев должны были сопутствовать своей духовной дочери. Наиболее известным из них был отец Анзерин, некогда ведший споры с Дмитрием. В настоящее время его преследовали мрачные предчувствия. Менее заметен, но не менее предан Мнишеку был отец Антоний из Люблина. Только смерть разлучи-

ла его с Мариной. Тут же находился брат мирянин по имени Петр. Он был опытным врачом.

Общая численность отправившихся в путь, по польским источникам, достигала, приблизительно, двух тысяч людей и такого же количества лошадей. Такое большое число отправляющихся объясняется присутствием среди них множества слуг, которые, согласно обычаю, должны были окружать польских магнатов. Станислав Мнишек не отказался даже от такой роскоши, как оркестр: на свое иждивение он взял двадцать музыкантов и присоединил еще к этому шута Антонио Риати, родом из Болоньи. Только позже заметили, что выбор слуг был весьма неудачен. В самое трудное время среди них появилось пьянство, начались ссоры, драки, убийства и разврат. Между ними нашлась даже одна женщина, которая, желая скрыть свой позор, разрезала тайно рожденного ею ребенка на части и разбросала по крышам его окровавленные члены.

2 марта 1606 года поезд Мнишеков тронулся из Самбора. При виде одушевления отправляющихся кто мог бы предположить, что это был, в сущности, отъезд заложников? Путешествие, прерываемое продолжительными остановками, совершалось небольшими переходами. Афанасий Власьев, не расставшийся больше с Мариной, проклинал такую медлительность. Ради своего государя он хотел, чтобы Мнишек со своим поездом быстро преодолевал пространство; он и не скрывал своего желания. Его приставания сделались, наконец, настолько назойливы, что Мнишек вышел из себя. Он отправил жалобу своему зятю. В ней он, между прочим, ссылался на свою старческую слабость, а также на необходимость быть внимательнее к женщинам. У Власьева же относительно последнего самые странные представления. «Не можем же мы лететь к

Вам», — писал воевода с раздражением. Во всяком случае, он нисколько не ускорил своего пути.

На дороге путешественникам попались две иезуитские коллегии: одна в Люблине, другая в Несвиже. Первая удостоилась посещения Марины; вторую же из-за соображений этикета навестил только ее отец. Учащаяся молодежь громко воспевала героиню дня в стихах и прозе, по-польски и по-латыни. Эти возгласы энтузиазма были последним прости, которое посылала родина своей дочери, смело шедшей ради короны навстречу неизвестности. В Орше путешественники простились с последней на их пути католической колокольней; 18 апреля, перейдя мост через Ивать, они вступили во владения Дмитрия.

Россия не слишком радушно встретила своих гостей. Погода была мрачная и облачная, воздух сырой, холод пронизывающий; дорога была испорчена выбоинами. К счастью, в болотистых местах были устроены в большом количестве мосты и гати: без этого двигаться вперед было бы трудно. За два дня до перехода русской границы, 16 апреля, отец Савицкий произнес полякам проповедь о том, как вести себя в чужой земле. Как бывалый человек, он убеждал своих соотечественников жить в мире с русскими и подавать им хороший пример. Однако попытка его была напрасна. Скоро отношения между поляками и русскими стали настолько натянуты, что Мнишек был принужден издать строгие «параграфы» и назначить судей, дабы предупреждать споры и столкновения, а в случае нужды — восстанавливать согласие. Поляки чистосердечно признаются, что эти знаменитые параграфы остались мертвой буквой. Сам Савицкий не мог пожаловаться на свою первую встречу с русскими. По его словам, четыре русских «боярина», попавшихся ему в одной деревне, вытаращили на него глаза и подвергли тщатель-

ным расспросам. Их любопытство было ненасытно. Они хотели знать все досконально: греческой веры Савицкий или латинской, священник он или монах, есть ли у Марины другие священники или монахи, каковы у них обряды и сколько их всех? Иезуит был не слишком склонен к откровенности. Найдя бояр более словоохотливыми, нежели любезными, он скоро прекратил разговор.

20 апреля произошла официальная встреча в Лубно. Здесь все было предусмотрено заранее и устроено так, чтобы произвести известный эффект. Поляки должны были почувствовать сразу, что отныне они в гостях у великого государя. Махайло Нагой и князь Мстиславский приветствовали прибывших. Как изливались они в благодарностях воеводе за то, что он был ангелом-хранителем их царя! Как падали ниц перед Мариной! Как были счастливы целовать руку царицы и отдать себя в ее распоряжение! На другой день Марина была уже не простою дочерью воеводы. Тронулась в путь невеста царя в сопровождении нескольких сот московских всадников. Со всех сторон сбегался народ, чтобы видеть будущую царицу; навстречу ей выходило с иконами духовенство. В городах ей устраивались восторженные и шумные манифестации.

В Смоленске, русской крепости, которая скоро должна была отойти к Польше, отец Савицкий имел случай полюбоваться национальным ополчением. Стрельцы в своих широких красных кафтанах, с длинными пищалями на плечах, показались ему бравыми воинами.

Можайск представлял интерес в другом отношении. Это был город святого Николы. Савицкому сообщили местную легенду об этом чудотворце и показали его богатые иконы: иезуит отметил глубокое почитание народом великого угодника. Так как в качестве проводника ему служил русский священник, Савицкий решил

посетить один из городских монастырей. После некоторого колебания монахи приняли его и предложили пива и меда. Завязался разговор. Савицкий пожелал видеть игумена. «Он показывается неохотно, — сказали ему, — все же время проводит в молитвах». Однако благочестивый затворник вышел к гостю сам. По его колеблющейся походке, по заплетающемуся языку можно было догадаться, какому богу он служит. Его веселость передалась всей компании и скоро приобрела бурный характер. В крайнем смущении Савицкий пытался добраться до двери и, преследуемый игуменом со стаканом в руке, едва спасся от гостеприимства монахов. Это событие навело его на некоторые серьезные размышления.

Мнишек опередил свою дочь. 4 мая он прибыл в Москву с известием о близком приезде Марины. Немедленно начались аудиенции, банкеты, и была устроена знаменитая охота на медведя. Что касается Марины, то ей было предоставлено несколько дней отдыха перед празднествами. У ворот столицы по этому случаю были устроены великолепные палатки. Самая обширная, украшенная коврами и библейскими надписями, была обращена в часовню. Каждый день в присутствии приехавших поляков там совершалась месса.

Пребывание в этом лагере продолжалось до 12 мая. Это была знаменательная дата для Марины: в этот день царская невеста должна была въехать в Москву. Приготовления Марины говорят о ее приподнятом настроении. Отец Савицкий явился свидетелем этого. Ранним утром, когда еще иезуит лежал на своей постели из листьев, Марина приказала позвать его и пожелала раскрыть ему свое сердце. Первый раз она обращалась к нему — и в какой момент! После исповеди Марина прослушала мессу и причастилась святых тайн. В ней как будто воскресла девочка, воспитанная в Самборе.

Она явилась к причастию преисполненная веры, твердая в своем исповедании; она спокойно вручала себя Провидению и бестрепетно смотрела на предстоящие испытания. Беседа с отцом Савицким вернула ее к действительности. Духовник напомнил об обещаниях, данных ею в Польше тем, кто предназначал ей столь ответственную роль при Дмитрии. Зная неподатливость царя, он просил, чтобы, в качестве личной милости, ему самому был облегчен доступ к царице. Марина покорно приняла его советы и дала ему лучшие заверения. Утешенный ее словами, Савицкий немедленно отправился в Москву, чтобы броситься в объятия отцу Николаю. Оба они присутствовали при торжественном въезде Марины в столицу.

Это зрелище походило на сказку: можно было поверить братскому слиянию славян. Русские превосходили поляков численностью и богатством своих одеяний; зато поляки отличались воинственным видом и роскошью оружия. Оба народа, забыв свои вековые разногласия, шли под одними и теми же знаменами, прославляя свою общую героиню. Молодая полячка, как легендарная фея, заставляла все сердца биться в унисон. Она была прелестна и лучезарна в своем шелковом платье. Именитейшие бояре окружали ее карету, запряженную двенадцатью серыми, в яблоках, лошадьми. Энтузиазм, видимо, охватил толпу. Под звуки колоколов и труб Марина остановилась у Вознесенского монастыря, где жила мать Дмитрия, Марфа. Будущая царица должна была провести последние дни перед коронацией среди московских монахинь. Здесь же Марина приняла требуемый этикетом визит Дмитрия. Как только она удалилась в свои покои, как только ворота монастыря закрылись за ней и женщинами свиты, начались сцены отчаяния и слез. Все чувствовали себя вдали от родины, отрезанными от всего мира. Что-то

будет с ними в этой тюрьме? Марина сама была в подавленном настроении: ей пришлась не по вкусу московская кухня. Эти мелочи дошли до сведения Дмитрия, и он поторопился устранить причины недовольства. Немедленно была произведена кулинарная реформа, и было подписано разрешение желающим свободно возвратиться в Польшу. Марина получила ларец с драгоценностями, которые она распределила между своей свитой. Мало-помалу опасения рассеялись, и женщины успокоились. Царь был неумолим лишь в одном: он запретил вход в монастырь католическому духовенству. Никакие настояния не могли изменить его решения. Запрещение не было снято даже в Троицын день. Поэтому праздник прошел печально — без ксендза и мессы.

Одновременно с Мариной, 12 мая, прибыли послы Сигизмунда — Николай Олесницкий и Александр Гонсевский. Оба поезда совершали путь вместе, но на некотором расстоянии друг от друга, дабы избежать скопления народа на остановках. Они соединились только, чтобы вместе войти в Москву. Теперь все польские гости были в сборе. Празднества открылись аудиенциями.

В субботу, 13 мая, в десять часов утра, свита, сопровождавшая Марину, представилась царю в Грановитой палате. Мартин Стадницкий в качестве гофмейстера держал речь. Он не скупился величать Дмитрия императором; Власьев любезно поблагодарил его за это от имени царя.

Все шло как нельзя лучше. Подняли бурю только послы Сигизмунда. Припомним, что они получили категорический приказ не уступать царю в вопросах о титулах. В сущности, это значило идти на открытую борьбу. И действительно, как только первый посол произнес «великий князь» вместо «непобедимый Це-

сарь», лицо Дмитрия омрачилось, глаза начали метать молнии. Однако он дал Олесницкому окончить речь и предъявить королевскую грамоту. Власьев проверил формулу обращения. Она оказалась неудовлетворительной. Тогда письмо Сигизмунда было возвращено послу с заверениями, что никакого великого князя московского нет.

Тотчас же вспыхнул горячий спор, продолжавшийся более часа. Дьяк, посол, царь по временам говорили все разом и возражали с крайней запальчивостью. Олесницкий обладал горячей кровью и едкой речью; в его устах упреки сменялись угрозами. Он грозил возможностью столкновения, вызывал призрак войны, но ему не удалось убедить человека, ослепленного своим величием и не признающего ничего выше себя. Горе тому, кто не склонится перед ним! Московский меч настигнет его, говорил Дмитрий; вместо того, чтобы разить турок, он сокрушит поляков. Мирный исход спора становился все менее и менее вероятным. Однако после особенно резкого выпада Дмитрий вдруг предложил такой компромисс: пусть Олесницкий как бы раздвоится — пусть он поцелует руку царя не как посланник короля, а как простой дворянин. Этот выход был слишком унизителен для гордого поляка. Приходилось либо прервать переговоры, либо уступить. В конце концов уступил Дмитрий. Он опасался скандала накануне своей свадьбы и довольствовался тем, что отложил до другого времени защиту своих прав. Победа поляков была полная. От них даже была принята грамота со столь неприятной для царя надписью. Ободренный успехом, Олесницкий стал еще более несговорчив: он начал явно придираться к мелочам. Однако ревнивый страж традиций Афанасий Власьев был около царя; он сумел дать отпор послу Сигизмунда. В конце аудиенции спокойствие было восстановлено;

послы поднесли Дмитрию подарки и были приглашены к царскому столу. Конечно, вопрос о титулах, далеко не будучи исчерпанным, напротив, только осложнялся.

Однако в данный момент другие заботы занимали царя. Он торопился отпраздновать свою свадьбу и короновать свою невесту. В сущности, брак уже был заключен 22 ноября 1605 года, когда Афанасий Власьев от имени Дмитрия обменялся обещаниями с Мариной. Эти обещания составляют основу брачного договора, а договор неразделим с таинством. Таким образом истолковывает тридентский собор обручение через уполномоченных. Кардинал Мацейовский именно так и понимал дело. 26 ноября 1605 года он доносил папе и кардиналу Боргезе, «что он освятил согласно торжественному обряду церкви брак Марины с Дмитрием». 14 января 1606 года Павел V утвердил благословение, данное кардиналом молодым супругам. Велевицкий прямо записал, что брак был заключен more principum. Таким образом, в Москве, собственно, не было прямой необходимости в заключении брачного договора и в совершении таинства. Но, конечно, можно было и повторить церемонию, окружив ее всем блеском церковного великолепия. Незадолго до этого аналогичный случай имел место при французском дворе. Генрих IV через уполномоченных обручился во Флоренции. 17 декабря 1600 года, по прибытии невесты, Марии Медичи, в Лионе было устроено величественное торжество в церкви св. Ионна. Предвидя такие же церемонии в Москве, нунций заблаговременно принял известные меры. Он испросил разрешение устроить брачное торжество даже во время поста, если только запоздает прибытие Марины в Москву. Разрешение было дано, а отец Савицкий был извещен о том, что он может воспользоваться им, руководствуясь голосом совести

и не стесняясь формальностями. Достойна внимания снисходительность римского духовенства. Запрошенный относительно времени, запретного для венчания, кардинал Боргезе спешит устранить все препятствия; сам он даже не требует объяснений, где и как будет совершена церемония.

Вероятнее всего, что московские богословы совершенно не входили в эти тонкости; для них все то, что произошло в Кракове, сводилось к нулю. В их глазах истинным браком мог быть только тот, что совершен в Москве. Дмитрий, несомненно, стал на ту же точку зрения. Еще задолго до этого он заставил свое духовенство заняться данным казусом. Так как его признавали православным, а Марина была заведомой католичкой, был поставлен такой вопрос: «Может ли царь московский заключить брак с полькой-католичкой? Если же различие вероисповеданий недопустимо, то какое свидетельство своего православия должна будет дать невеста?» Такой вопрос не был праздным. В этой области среди русских людей царила полная анархия.

Казус подвергся серьезному обсуждению. Видимо, разногласие существовало только относительно того, каким образом Марина должна заявить о своем переходе в православие. Для всех было ясно, что она не может остаться католичкой. Наиболее фанатичные — епископ казанский Гермоген и коломенский Иосиф — требовали второго крещения. По их мнению, польская «девка» была просто-напросто язычницей, недостойной носить корону до тех пор, пока не будет очищена троекратным погружением в воду, согласно восточному обряду. Этот дикий взгляд был следствием византийских предрассудков. В то время как папы, верные традиции, признавали греческое крещение, в Константинополе не стеснялись отвергать крещение римское. Точка зрения русской церкви относительно этого еще

не установилась. Только на соборе 1620 года необходимость второго крещения, позже отвергнутая, была подтверждена официально. Таким образом, не сходя с легальной почвы, Дмитрий мог занять вполне определенную позицию и бороться с противниками. Дело кончилось его победой, но она стоила ему дорого. Летописи сохранили следы бурных прений; Гермоген был неожиданно выслан в свою казанскую епархию, и отец Николай сообщает 20 февраля 1606 года Стривери, что Дмитрий счастливо успокоил поднявшуюся бурю «духовных» по случаю царского брака. Виновные, прибавляет он, наказаны, но никто не предан казни.

Наряду с фанатиками, которых заставили замолчать, были и более умеренные иерархи. Эти готовы были удовольствоваться миропомазанием. Такой способ доказать свое православие имел то сомнительное преимущество, что способствовал обману. Дело в том, что коронация также требовала миропомазания. Таким образом, одна и та же церемония в глазах одних могла сойти за царское посвящение, в глазах других — за отречение от католичества. Нельзя утверждать, конечно, чтобы Дмитрий сознательно одобрил этот макиавеллистический план; но со всей основательностью можно предполагать, что заинтересованные стороны сумели оценить это совпадение. По крайней мере, и русские, и поляки по-своему объясняли помазание, данное Марине. Таким образом удалось избежать скандала.

Дмитрий, беспокоясь, удвоил предосторожности накануне свадьбы. Отрывок сложного и причудливого церемониала, дошедший до нас, весь проникнут духом такой предусмотрительности. Между прочим, он устанавливает причащение Марины из рук патриарха. Итак, никто не ожидал обмана. Наиболее скептически настроенные должны были сдаться перед очевидностью и уверовать в православие своей будущей царицы.

Марина Мнишек

В ночь с 16 на 17 мая, при свете факелов, производивших почти траурное впечатление, Марина покинула монастырь и перешла в царский дворец, дабы вступить в распоряжение своими покоями. Брак и коронация были назначены на 18 мая, т. е. на четверг, накануне Николина дня. В этот день Москва превратилась в какое-то царство звона. С полночи размеренные удары колоколов возвестили жителям, что скоро они будут иметь царицу. Народ устремился на торжество, войска заняли Кремль, знатнейшие бояре и польские гости собрались во дворце. Здесь, согласно официальной программе, протопоп Федор должен был совершить помолвку царственной четы, уже обрученной в Кракове. Надо сказать, что поляки, хотя и присутствовали при этом, но ничего не подозревали; русские же и не думали подчеркивать значение происходящего. Мы знаем, что должно было совершиться, но нам неизвестно, что произошло в действительности. После этого обряда произнесены были соответственные речи в Грановитой палате. Затем все перешли в Успенский собор.

Обыкновенно закрытый для католиков, собор на этот раз широко распахнул перед ними свои двери. Процессия медленно текла, как река из золота. Никогда поляки и русские не братались таким образом. То было неслыханное на Руси дело. И те, и другие шли присутствовать на коронации женщины.

Марина, полька и католичка, дочь сенатора, а не короля, первая удостоилась чести, которой тщетно домогались Палеологи и Ягеллоны. Царь же, который возлагал на нее блестящую корону, некогда считался расстриженным монахом и самозванцем. Великое и вульгарное, возвышенное и смешное слились в этой церемонии. Снаружи все носило радостный вид, но тайное возмущение уже волновало сердца. Назревали зловещие планы.

Патриарх Игнатий, окруженный епископами и архимандритами, вышел навстречу процессии и принял ее у дверей собора. Дмитрий и Марина взошли на приготовленный для них помост. После этого приступили к коронации невесты. Обряд сопровождался благословениями, молитвами и церковными песнопениями. Патриарх помазал Марину священной миррой, возложил на ее голову корону и царские регалии на плечи. Дмитрий предоставил ему совершить все эти действия. Позже императоры присвоили себе право собственноручно возлагать корону на императриц. После коронования царь и царица, воссев на троне, прослушали обедню. В конце ее протопоп Федор дал им брачное благословение. Таково было заключение самборского романа.

Церемония не обошлась без замешательства. Русские были предупреждены относительно причастия Марины. Архидьякон и протодьякон должны были, согласно официальному церемониалу, публично пригласить царицу к алтарю: Дмитрий же должен был сопровождать ее. Однако папа заявил свое veto, и царь обещал Мнишку не настаивать на причастии. Что было делать перед этой альтернативой? Вернее говоря, что было сделано, чья сторона одержала верх? Большинство историков чересчур торопливо разрешает этот вопрос. Впрочем, в настоящее время сомнений уже не может быть. Некий очевидец, долго молчавший, в конце концов бросил на чашу весов свое святительское слово. Архиепископ Арсений лично принимал участие в церемонии. От него не скрылась ни одна подробность, и вот, что он говорит в своих записках: «После венчания ни тот, ни другая (Дмитрий и Марина) не выразили желания причаститься святых тайн. Это смутило многих присутствующих, и не только патриарха и епископов, но и всех тех, кто видел и слышал это. Таково

было первое и великое огорчение; таково было начало смуты и источник многих бедствий московского народа и всей Руси» [1].

Это свидетельство неоспоримо: оно исходит из достаточно надежного источника, чтобы быть беспристрастным.

Мелочное соблюдение других традиционных форм не могло искупить смелости новобрачных и изгладить тяжелое впечатление, произведенное ею на окружающих. Все это были, в сущности, только подробности. Между прочим, молодым подали вина. Сосуд, из которого они отпили, был брошен наземь; здесь его растоптали ногами в мелкие куски. При выходе из собора в толпу, теснившуюся по пути молодого государя, целыми пригоршнями бросали серебряные и золотые монеты.

День близился к концу. Пышный ритуал затянулся так долго, что за поздним временем решено было перенести свадебный пир на следующий день. Правда, все знали, что завтра пятница и праздник св. Николая Чудотворца; но на это не обратили внимания. Кое-кто из поляков был скандализирован такой беспечностью. Благочестивые православные люди покачивали головами. Но вскоре возникли опять недоразумения на почве этикета. Они заставили забыть на время о религиозном вопросе. Дьяк Грамотин передал послам Сигизмунда приглашение на пир. Те вспомнили, что на свадьбе Марины в Кракове Власьев был посажен за один стол с королем. Теперь они требовали той же чести и для себя. Заявление послов было передано боярам; как истые мандарины, они отвергли притязания поляков. Легко представить себе ярость послов Сигизмунда.

[1] Ни один очевидец не утверждает, чтобы Марина приняла причастие из рук патриарха.

Однако бояре твердо стояли на своем. Пришлось возложить на Афанасия Власьева миссию посредника, чтобы найти какой-нибудь компромисс. Завязался бесконечный спор. Стороны исчерпали все доводы... Наконец, видимо изнемогая и решив прекратить надоевшие прения, польские послы заявили, что отказываются присутствовать на пире. Их примеру последовал и сам воевода сандомирский. Мы знаем, что в нужную минуту его всегда выручала подагра...

Несмотря на все эти осложнения, свадебный пир прошел с чрезвычайным оживлением. Начался он несколько позже обыкновенного: дело в том, что, по обычаю, новобрачные должны были предварительно побывать в бане. Оркестр Станислава Мнишека сообщал торжеству отпечаток европеизма. Но во всем остальном церемониал пира в точности соответствовал обычаям русской старины. Духовенство окропило царя святой водой. Гости были рассажены вокруг стола на простых скамьях. Каждый получил свой паек хлеба. Разумеется, все усердно, по заведенному порядку приветствовали царя, сгибая и выпрямляя спины и колени... После бесконечных здравиц началась традиционная раздача чернослива.

Как и полагалось, свадебный пир сохранял характер чисто официального торжества. Понятно, это вносило в него известную принужденность. Сам Дмитрий, видимо, вздохнул свободно только тогда, когда удалился во внутренние покои и отпустил от себя бояр и свиту. Зато, оказавшись в кругу одних поляков, он разошелся вовсю. Гости теснились вокруг царя. Он был неистощим. Он говорил без умолку, отпускал остроты, беспрестанно меняя тон и изображая из себя то лихого рубаку, то великого Цесаря, то глубокомысленного государственного человека. Но больше всего он сыпал шутками, видимо, сам любуясь своим колким

языком и талантом вызывать смех у слушателей. Между прочим, ему вспомнился Александр Македонский. В русских преданиях имя этого героя окружено особым ореолом; очевидно, кое-что знал о нем и Дмитрий. Он с восхищением говорил о гениальном царе. Он признавался, что завидует его победам. По его словам, он жалеет лишь о том, что не жил в одно время с Александром Македонским: о, тогда бы он померялся с ним и, наверное, стал бы его другом! Было слишком ясно, что себя самого новый московский царь относит к разряду величайших полководцев мира. С каким высокомерием, с каким презрением отзывался он об императоре Рудольфе! Ведь это какой-то дикарь, который боится показаться людям на глаза! К польскому королю Дмитрий был несколько снисходительнее; но и у него он находил слабые стороны. Словом, Дмитрия не останавливало решительно ничто: он не считался ни с каким саном. Он подсмеивался над самим папой. Правда, здесь его шутки были гораздо мягче и сдержаннее; и, однако, царь недвусмысленно проходился на счет туфли его святейшества и осуждал обычай целовать ногу римского первосвященника. Мимоходом он задел и самборского ксендза, своего бывшего духовного отца: он поднял на смех и его... Остроты развеселившегося царя были не очень высокой пробы; но их с удовольствием подхватывал и изображал в лицах придворный шут Антони Риати, ведь дурачество было в то время выгодным ремеслом. Конечно, поляки могли бы дать достойный отпор столь неуместным выходкам; в правильном споре на их стороне оказалось бы несомненное преимущество и логики, и дисциплины. Однако в качестве гостей царя они подавали лишь самые сдержанные реплики. Среди них не нашлось ни одного, кто бы словом попытался положить предел глумлению и дал бы волю оскорбленному патриотичес-

кому чувству. Очевидно, все понимали, что они — во власти нового Дмитрия, который слишком хорошо умел пользоваться своим положением властелина и уже не допускал никаких противоречий.

В заключение торжества, царь предложил своим гостям потанцевать. Бал был открыт Станиславом Мнишеком и князем Вишневецким. За ними последовали и другие. Польский темперамент сказался и здесь. Скоро веселье достигло апогея. Стоя в амбразуре окна, Дмитрий поощрял танцующих приветливым взором. Но его беспокойный ум искал уже новых впечатлений... Наконец, его неутомимая энергия нашла себе выход. Все наружные помещения дворца были заняты польскими солдатами. Царь приказал открыть двери залы и обратился к храброму воинству с речью. Каждый получил по чарке вина. Затем началась раздача денег. В заключение, заговорив о будущем, Дмитрий нарисовал перед слушателями самые соблазнительные перспективы. Речь царя наэлектризовала солдат. Тут же они стали просить о дозволении устроить турнир. Скрепя сердце, Дмитрий дал желаемое разрешение. В первой же стычке была убита лошадь, и один из всадников получил рану. Это заставило храбрых рыцарей прекратить опасную забаву. К тому же и время было слишком позднее. Пора было подумать об отдыхе, чтобы с новыми силами встретить завтрашние празднества.

На другой день, в субботу 20 мая, на сцене опять появилась Марина. Однако царица уже сняла русский наряд, в котором короновалась. Теперь она одета была по-польски. В этот день она должна была принимать приветствия и подношения от своих новых подданных. Перед глазами царицы прошел бесконечный ряд отдельных лиц и целых групп. Тут были и патриарх с высшим духовенством, и бояре, и купцы, и ремесленники...

Затем, уже во время пира, явились лопари: это были совершенные дикари, узкоглазые, монгольского типа, одетые в звериные шкуры, мехом навыворот. Все эти делегации слагали у ног Марины меха и всякие произведения своих рук. Впрочем, в глазах поляков эти приношения не имели большой цены. Между тем послы Сигизмунда держали совет с отцом царицы. Надо было ждать нового приглашения со стороны Дмитрия; из-за этого возникал чрезвычайно затруднительный вопрос. Как быть? Опять уклониться от чести? Но, в конце концов, это могло вывести царя из себя. А между тем его воля резко противоречила распоряжениям пóльского короля. Как согласовать эти требования? В ушах Мнишека еще звучали высокомерные слова Дмитрия. «Если бы сам император приехал в Москву, — заявил царь, — я и его бы не посадил за один стол со мной». Однако, с другой стороны, послам короля был дан строжайший приказ не идти ни на какие уступки. Будучи в безвыходном положении, уполномоченные Сигизмунда обратились к помощи Мнишека.

Такт сандомирского воеводы выручил всех и на этот раз. В конце концов, когда Власьев вновь принес послам царское приглашение, сторонам удалось сойтись на некотором компромиссе. Олесницкому было отведено место по правую руку царя, но за небольшим столом, поставленным специально для польского вельможи. Таким образом, формально Дмитрий торжествовал: за главным столом сидели только он с Мариной. В свою очередь, и Олесницкий счел себя удовлетворенным оказанной ему честью. Что касается Гонсевского, то из-за его второстепенной роли, ему еще легче можно было отвести подобающее место. Словом, главное затруднение было устранено. В воскресенье 21 мая польские послы уже присутствовали на царском пиру.

Впрочем, здесь больше было радости для глаз, нежели для желудка. Вся посуда на столе была из золота и серебра; зато кухня царя оказалась более чем простой. Бедные московские гастрономы! Они готовы были примириться с самыми незатейливыми кушаньями, только бы их было побольше. Количество блюд у них всегда преобладало над качеством. За столом произошел инцидент, который мог повлечь за собой весьма неприятные последствия. Забыв свои враждебные чувства, Дмитрий поднял чару за здоровье Гонсевского. Конечно, это было великой честью для посла; однако у медали оказалась оборотная сторона. Царь пожелал, чтобы Гонсевский встал из-за стола и подошел к нему с выражением признательности. Как быть? Не пострадает ли от этого достоинство Его Величества, короля польского? Опасаясь этого, Гонсевский не двигался с места. В ужасе, Бучинский наклонясь к нему, прошептал: «Бога ради, идите! Иначе получится скандал...». Гордому поляку пришлось покориться.

Но Дмитрий не остановился на этом унижении своих гостей. По прошествии трех дней, 25 мая, празднества во дворце возобновились. Царь любезно известил Олесницкого, что в этот день в кремлевских палатах не будет ни Цесаря, ни посланника. Таким образом, все затруднения улаживались сами собой; вопросы этикета на время предавались забвению. Милостивые слова царя были приняты поляком всерьез. Олесницкий почувствовал, что у него развязаны руки. Пусть первенствует, кто хочет. Со своей стороны, во время танцев Олесницкий пустился в пляс, не сняв шляпы. Однако Дмитрий, очевидно, совершенно иначе понимал свои слова. Знаком подозвав к себе Мартина Стадницкого, он заявил ему, что срубит голову всякому, кто осмелится накрыться в его присутствии. Эту угрозу он велел передать и злополучному танцору. Тон

царя, его взгляд и мимика не допускали никаких противоречий. Что же оставалось делать Олесницкому? Конечно, он обнажил голову, со вздохом признавая, что, за отсутствием посланника, Цесарь все же имеется налицо.

Если во время празднества не все устраивалось так, как хотели бы поляки, то не лучше шли и дипломатические дела. Несмотря на все огорчения, послы короля не теряли надежды; напротив, они старались в точности выполнить данные им инструкции. Того же 25 мая у них состоялось совещание с боярами во дворце. Здесь поляки встретили глухую, но упорную оппозицию. Предметом обсуждения был крестовый поход против турок. Олесницкий начал речь с восторженных восхвалений Дмитрия. Но затем он перешел к чисто деловым вопросам. Его интересовали и план войны, и размеры действующих сил, и срок для начала кампании. Бояре были неприятно поражены столь назойливым любопытством. Они не привыкли так легко посвящать других в свои государственные тайны. Немудрено, что, вместо серьезного обсуждения поставленных Олесницким вопросов, совещание превратилось во взаимный обмен упреками и насмешками. Конечно, обо всем было доложено Дмитрию. Царь заявил, что он сам займется этим делом при участии посланников. Очевидно, он рассчитывал на будущее. Но оно не принадлежало ему. Под ногами Дмитрия уже зияла бездна.

# Глава II

# КАТАСТРОФА
# 1606 г., 27 мая

## I

Кремлевские торжества были только блестящей прелюдией. За ней последовала вскоре самая трагичная развязка. Правда, у царя были сторонники, готовые на всякие жертвы ради него. Однако он имел и непримиримых врагов, которые уже замышляли погубить его. Общественное успокоение было лишь обманчивой видимостью. Огонь мятежа тлел под пеплом, время от времени прорываясь наружу зловещими вспышками. Но этих симптомов было достаточно: наиболее прозорливым наблюдателям они внушали самые тревожные предчувствия.

Как мы знаем, Дмитрий обнаружил величайшую снисходительность к бывшему руководителю угличского следствия князю Василию Шуйскому. Тем самым он сохранил для себя коварного и непримиримого врага. Пусть не удался заговор, организованный в июле 1605 года. Участники его не сложили рук: они только отсрочили выполнение своего замысла на будущее время.

В сентябре того же года открылся новый заговор против царя, угрожавший общественному спокойствию.

«Было схвачено несколько человек из среды духовенства, — пишет отец Николай. — Все эти лица подверглись более или менее тяжелому наказанию. Одного из них пытали: он признался во всем. По его словам, его подкупили с целью отравить царя. Яд решено было подлить в святую чашу; таким образом, Дмитрий должен был погибнуть после принятия святых даров из рук злоумышленника». Другим поводом для всяких страхов явилось открытие во дворце каких-то колдовских припасов. Никто не знал, против кого готовилось чародейство. Во всяком случае, правительство энергично вело розыски виновного. Отец Андрей шел еще дальше своего собрата. По его уверениям, в Москве царю и его сторонникам отовсюду угрожали опасности.

Читатель помнит, что брак Дмитрия с Мариной повлек суровые меры со стороны Дмитрия против духовенства. Об этом отец Николай сообщает уже в известном нам письме к Стривери от 20 февраля 1606 года. Подобные репрессии казались необходимыми, тем более что по тем или другим причинам, но глубокое недовольство царем чувствовалось и среди мирян. Правда, отец Николай не распространяется на счет интриг, брожения, карательных мер правительства. Но, во всяком случае, его свидетельство более чем достаточно. Совершенно очевидно, что Русское государство переживало опасный кризис.

Именно так рисовалось положение дела в Москве кармелитским миссионерам, гостившими в то время в русской столице. Дмитрий предоставил им полную свободу — либо немедленно выехать в Персию, либо переждать Пасху. Миссионеры предпочли тронуться в путь 22 марта. Мотивируя такое решение, историк их ордена говорит, что власть Дмитрия уже колебалась. С каждым днем у него появлялось все больше и больше врагов. Дальновидные люди не без основания

предполагали, что новый царь может быть насильственно лишен короны или даже погибнуть под развалинами своего престола.

Прибытие Марины с поляками еще ускорило ход событий. Польские гости явились в большом числе. Они были прекрасно вооружены; кони у них были один лучше другого... По-видимому, эти пришельцы сразу почувствовали себя как бы в покоренной стране. Они сами признавались впоследствии, что злоупотребляли своим положением и слишком предавались своим страстям. Самые возмутительные деяния начали твориться на глазах у всех. Поляки не ведали ни стыда, ни совести. Шляхетская знать распевала, плясала, пировала в Кремле под звуки шумной музыки, непривычной для слуха благочестивых россиян... Эти надменные гости держались особняком, не желая смешиваться с русскими; понятно, эта исключительность оскорбляла многих и вызывала раздражение. Еще хуже знатных господ вела себя челядь. Здесь были настоящие головорезы. То они бесчинствовали в православных церквях, то затевали скандалы на улице, то оскорбляли честных девиц... При всем пристрастии к соотечественникам, Мартин Стадницкий не скрывает своего отрицательного отношения к их поведению в Москве... По его словам, поляки вызывали ярость москвичей своей распущенностью. Они обходились с русскими людьми, как с «быдлом»; они оскорбляли их всячески, затевали ссоры, а в пьяном виде способны были нанести самые тяжкие обиды замужним женщинам.

Хуже всего было то, что сам царь уже не внушал к себе прежнего доверия. Дмитрий, которым восторгались когда-то Рангони и отец Андрей, был теперь неузнаваем. В нем совершился коренной переворот; эта перемена сказывалась в тривиальных шутках, бестактных притязаниях и в каком-то, поистине роковом

ослеплении. Один польский шляхтич набросал нам портрет царя Дмитрия в 1606 году. По его свидетельству, новый московский государь — надменный честолюбец; он не выносит никакой критики даже от близких людей. Он обожает военное дело. Себя самого он считает знаменитым полководцем. Ему неприятно, если хвалят в его присутствии кого-нибудь другого. Он сам любит прихвастнуть и играть роль. По натуре своей это человек недурной; но действует он всегда по первому впечатлению. Он страшно вспыльчив, но отходчив. Впрочем, великодушен он больше на словах, нежели на деле. Он любит видеть роскошь вокруг себя и у других; тем не менее образ жизни его отличается умеренностью. Он питает отвращение к пьянству. Нельзя сказать, однако, с уверенностью, чтобы ему чужды были другие слабости. Во всяком случае, это — светлая голова, хотя и не получившая достаточного образования. Речь Дмитрия отличается редкой легкостью. В общем, он — сторонник прогресса, довольно равнодушный к вопросам веры. Исповедует он православие; но это не та религия, которой живет русский народ.

Столь же мало утешительны были и те сведения, которые получал из Москвы отец Савицкий. Бывший духовник царя волей-неволей должен был признаться, что его чадо стало совсем другим, чем было прежде. Пусть даже не занимался Дмитрий черной магией, в чем некоторые его подозревали. Во всяком случае, он был одержим бесами гордыни и сладострастия. По свидетельству наблюдательных людей, Дмитрий был чрезмерно предан чувственным наслаждениям. Он не терпел ничьего превосходства. Он ставил себя выше всех государей западного мира. Он был уверен, что ему суждено поразить свет подвигами нового Геркулеса. Он убежден был, что, рано или поздно, пойдет во главе всехристианской армии, как вождь крестового

похода и грядущий победитель ислама... Он до смешного носился с незаконно присвоенным титулом императора. Его уверенность в своих познаниях и ловкости не имела границ. Он тешился своим всемогуществом, словно царствование его должно было длиться вечно. К папе, покровительства которого он так домогался раньше, он относился теперь без достаточного уважения. Что касается польского короля, то к нему Дмитрий питал явную антипатию, которая грозила перейти в открытую вражду. Мимоходом Савицкий роняет загадочную фразу, которую мы уже приводили выше. Она сверкает, однако, подобно обнаженному мечу... Оказывается, Дмитрий задумывал отнять у Сигизмунда его королевство.

Понятно, что при такой перемене в своем характере новый московский государь не мог чувствовать особого влечения к тому польскому иезуиту, которому некогда он поверял все свои тайны. Ведь мы помним, что когда-то он брал Савицкого в свидетели перед Богом, когда уверял его в чистоте и возвышенности своих намерений. Тем не менее 25 мая Савицкий был принят в частной аудиенции. Быть может, в данном случае Дмитрий уступал настоятельным просьбам Марины. Конечно, о прежней дружбе с иезуитами не могло быть и речи. Но, с другой стороны, Дмитрий не желал отстранить их от себя решительно и бесповоротно. Вообще, этот сложный человек допускал порой самые странные компромиссы. 23 февраля он обратился к Стривери с особым письмом. Оно начинается следующими напыщенными словами: «Из-за того, что интересы Досточтимых Отцов, обитающих в державе Нашей, а также нужды всего общества Святого Иисуса, равно как и святейшей римско-католической Церкви, требуют прибытия и присутствия Вашего преподобия, Мы просим Вас предпринять это путешествие согласно

долгу Вашему и благочестию, со всем усердием, дабы Вы могли прибыть к Нам со всей возможной скоростью. Так убедитесь Вы в благоволении Нашем к обществу Иисуса и расположении Нашем к Вам самим». Стривери так и не побывал в Москве. Тем не менее, принимая Савицкого, Дмитрий попробовал сдержать свое слово.

В назначенный день иезуит был проведен к царю. Оставшись с ним наедине, он поцеловал ему руку и, как принято, приветствовал его несколькими словами. Отвечая ему, Дмитрий не поскупился на звонкие фразы. Он заявил, что счастлив свидеться вновь со старым другом. Он выразил ему благодарность. Пусть не думают, что он забыл свои обещания; нет, он по-прежнему верен своим стремлениям... Савицкий передал царю письмо Аквавивы, генерала общества Иисуса; тут же он вручил ему кое-какие вещицы, имеющие отношение к религии. Между ними были золотые и серебряные пластинки: это были индульгенции, которые присылал Дмитрию папа; на них было выбито изображение римского первосвященника. Дмитрий принял эти предметы с благодарностью. Затем, встав со своего места, царь принялся мерить комнату шагами. Савицкий стоял, не двигаясь. Тогда Дмитрий берет его за руку, увлекает за собой, и оба начинают ходить вместе. Разговор оживляется. Предметом его был религиозный вопрос. Пользуясь удобным моментом, Савицкий заявляет, что он прислан для того, чтобы сговориться с царем: он ждет его распоряжений и готов, по мере сил, выполнить все, что ему будет приказано. При этих словах в Дмитрии как бы воскрес тот смелый и горячий неофит, которого видели когда-то его духовные отцы в Путивле. Конечно, в Москве должна быть устроена школа. Ее нужно создать немедленно. Учеников и преподавателей придется выписывать из-за гра-

ницы. Не успели как следует заняться этим прекрасным проектом, как Дмитрий круто переменил тему разговора. Он заговорил о своем войске, с гордостью заявляя, что под знаменами его стоит сто тысяч вооруженных людей. Достаточно его знака, чтобы эта армия двинулась, куда ему угодно. Впрочем, он сам еще не решил, против кого он направит свои силы. Может быть, против турок, а, может быть, против кого-нибудь другого. И тотчас же, без всякой связи, он стал горько жаловаться на Сигизмунда. Ведь дерзость короля заходит так далеко, что он не хочет признать за московским царем титула императора. Все это было сказано горячо, искренне негодующим тоном. Затем наступило короткое, но тягостное молчание. Савицкий спрашивал себя, нет ли внутренней связи между сообщениями Дмитрия о своей грозной армии и этими жалобами на польского царя? Однако, не желая останавливаться на этой теме, он ограничился банальной фразой. «Будем надеяться, — заметил он, — что Провидение не допустит неприязни и раздора между столь могущественными государствами». Теперь оставалось решить чисто личный вопрос. Савицкий желал знать, должен ли он вернуться в Польшу, или же ему остаться в Москве? Дмитрий и тут не замедлил с ответом: конечно, его духовный отец нужен ему здесь. Ободренный этим, Савицкий пошел еще дальше. Он попросил у царя разрешения являться во дворец всякий раз, когда ему нужна будет аудиенция. Царь немедленно дал на это согласие. Открыв дверь, он позвал своего польского секретаря, быть может, одного из Бучинских; тут же он отдал ему соответствующее распоряжение. Между тем день уже был на исходе; царь собирался еще к матери. Поэтому он милостиво прекратил аудиенцию, длившуюся более часа, и отпустил иезуита, обещая ему в самом скором времени опять свидеться

с ним и побеседовать подольше. Все это, казалось, должно было внушить Савицкому самые светлые надежды. Однако он не мог победить в себе мрачных предчувствий. Путевые впечатления, приемы русских — все это было так странно, так смущало его и тревожило... Когда же ему пришлось поделиться своими сомнениями с отцом Николаем, оба с беспокойством задались вопросом, чем-то кончится это дело?

Между тем опасность была ближе и грознее, чем предполагали. Предоставив полякам тешиться как угодно, враги Дмитрия уже подготовили втайне сицилийскую вечерню. Душой заговора являлся Василий Шуйский с двумя своими братьями — Дмитрием и Иваном. Как мы знаем, все трое были возвращены из ссылки. Лишь только они были вновь допущены ко двору, как опять принялись за свои козни. Поездка Безобразова была делом их рук. Теперь же, при их непосредственном участии, начинало в точности сбываться то, о чем они предупреждали Сигизмунда.

Что касается Дмитрия, то, окруженный предателями, он бессознательно ускорял свою гибель. Конечно, его царствование было совсем не в духе старого боярства. Кровь этой знати лилась потоками при Иване IV; Борис Годунов также не хотел считаться с ее исконными правами. Теперь она опять начинала подымать голову, упорно заявляя все те же свои притязания. Трон нового государя, в качестве его родни, обступили Нагие. Это были выскочки, напоминавшие боярству опричнину Ивана Грозного. Тут же были поляки-латинцы и всякий сброд. Вся эта клика держалась у власти только благодаря царю. Она не имела никаких корней в тогдашнем обществе; ее господство не было освящено вековой традицией. Что же оставалось подлинным Рюриковичам? Понятно, они видели во всех этих новых людях узурпаторов, захвативших чужое место.

Собственное же положение казалось им унизительным и недостойным.

Учитывая такое настроение боярства, Шуйские отлично понимали, где они могут найти себе поддержку. По свидетельству князя Волконского, к заговору князя Василия и его братьев присоединилось до трехсот представителей высшего московского общества. Так составилось основное ядро. Однако корни и нити его раскинулись чрезвычайно широко. В распоряжении Шуйских были бесчисленные агенты; сами они отлично умели заставить себя слушать и понимать. Не в первый раз пробовали они свою силу. Благодаря их агитации недовольство царем распространялось все шире; в воздухе начинало пахнуть мятежом. Обращаясь к летописям того времени, мы все чаще и чаще встречаем в них кровавые страницы. Между прочим, эти памятники сообщают нам о мученической гибели дьяка Тимофея Осипова и Петра Тургенева: оба они не пожелали покориться Дмитрию и заплатили жизнью за свое упорство. Недовольные попадались и среди стрельцов — этих присяжных телохранителей царя. Для решительного восстания не хватало только вождя... Стрельцы уже подыскивали подходящее лицо. Но о брожении донесли правительству. Оно обрушилось на правых и виноватых; в конце концов, все были осуждены. Зачинщики поплатились головой; свои же товарищи по оружию умертвили их с поистине варварской жестокостью. Что касается непостоянной московской черни, то ее нечего было бояться. Напротив, в роковой для царя момент она, как всегда, забудет о своих недавних восторгах и примкнет к мятежникам.

Подпольная работа заговорщиков шла, по-видимому, чрезвычайно успешно; однако она не оставляла никаких документальных следов. Говоря о ней, волей-неволей приходится ограничиться догадками или

опираться на малодостоверные свидетельства. Во всяком случае, враги царя усиленно распространяли о нем дурные слухи в народе. Они представляли его самозванцем и вероотступником. Они утверждали, будто он обманом захватил власть, желая предать русских людей и все государство полякам, а православную церковь подчинить латинянам. Словом, опять появлялись на сцену те разоблачения, к которым прибегал когда-то Борис Годунов. Но то, что объявлялось раньше во всеуслышание и не встречало сочувствия, передавалось теперь шепотом и возбуждало гораздо больше внимания.

Заговор Шуйских был организован в самом широком масштабе. Понятно, эта подземная работа порой выдавала себя и возбуждала кое-какие подозрения. Очевидно, не все умели хранить тайну. В глаза могли броситься некоторые тревожные симптомы. Несколько раз, и притом заблаговременно, Дмитрия предупреждали. Между прочим, 24 мая среди поляков распространился слух о готовящемся избиении. Сперва они было перепугались; однако им и в голову не пришло изменить свой легкомысленный образ жизни и принять какие-либо меры предосторожности. Они не подумали даже о том, чтобы как-нибудь держаться поближе друг к другу, — а жили они в различных концах города, что, разумеется, совершенно обессиливало их в смысле самозащиты. Очевидно, невозмутимое спокойствие Дмитрия передавалось и им. Царь и не заикался о наказании лиц, распространяющих тревожные слухи. Однако 26 мая зловещие толки опять усилились. Тогда поляки уполномочили нескольких лиц из своей среды объясниться по этому поводу с высшим правительством и попросить его произвести следствие. Напрасный труд! «Нет никаких причин беспокоиться, — ответили им. — Царь пользуется такой любовью в

Москве, что недавно еще, по простому подозрению, семеро изменников были растерзаны народом». Впрочем, сандомирский воевода не удовлетворился этими заверениями царских приближенных. Он попытался открыть глаза самому зятю или, по крайней мере, заставить его принять известные меры предосторожности. «Такие меры, — заметил он, — никогда не бывают вредны». «Ради Бога, не говорите мне об этом, — с досадой прервал его Дмитрий. — Я знаю, где царствую; у меня нет врагов; я же владычествую над жизнью и смертью». Вскоре затем царю была вручена записка от одного немца, который предупреждал, что избиение начнется завтра. Дмитрий отнесся к этому предостережению так же равнодушно, как и к словам Мнишека.

Для того чтобы успокоить поляков, он распорядился только послать к войску своего секретаря, которому было приказано подтвердить угрозы царя по адресу смутьянов, распространяющих тревожные слухи. Затем тот же секретарь отправился к послам короля Сигизмунда; с ними он проговорил до поздней ночи. Чистосердечие самого Дмитрия не подлежит никакому сомнению. Он не допускал и мысли об опасности. С его согласия, Марина готовилась устроить маскарад; сам царь беспечно отдавался всевозможным развлечениям. Весь вечер 26 мая он посвятил Станиславу Немоевскому, который привез драгоценности принцессы Анны. Этот благородный комиссионер разложил перед Дмитрием топазы, изумруды, рубины, жемчужные колье и цепочки из бриллиантов. Царь любовался игрой камней. Потом он приказал принести свои собственные сокровища и пространно рассуждал о них тоном настоящего знатока. В заключение он выразил желание оставить у себя на некоторое время шкатулку принцессы... Но скоро царю суждено было прозреть и

убедиться, что он был слишком доверчив. Роковой час уже был намечен. Сабли были наточены; ждали только условленного сигнала.

В ночь с 26 на 27 мая, когда поляки спали глубоким сном, князь Василий Шуйский распорядился занять военными силами ворота Кремля. Еще раньше он ввел для этой цели в город некоторую часть войска, стоявшего вне Москвы. На рассвете, те самые колокола, которые недавно еще приветствовали торжественное вступление самозванца в столицу, зазвонили, призывая заговорщиков на кровавую потеху. Это не был праздничный благовест. Медный вой набата отзывался в сердцах зловещим предчувствием. Царь вышел из опочивальни и спросил, почему бьют тревогу. В это время Андрей Бона сменял караул; очевидно, наученный заранее, он ответил, что в городе вспыхнул пожар. Дмитрий приказал поскорее принять нужные меры; затем он спокойно удалился к себе. Между тем в городе начиналось смятение. Народ сбегался со всех сторон. Тут были, конечно, люди, посвященные в заговор. Но большинство безотчетно бежало, куда все, — может быть, поддавшись какому-нибудь ложному слуху, пущенному злоумышленниками о поляках. В центре толпы оказался Василий Шуйский. Сбросив личину, он открыто становится во главе мятежа. Проникнув в Кремль без всякого сопротивления со стороны стражи, он направляется к палатам царя. Только один человек, действительный храбрец, бросается к Шуйскому и хочет его остановить. Однако заговорщики тотчас опрокидывают верного Басманова наземь; покрытый ранами, он испускает дух у самого входа во дворец. Вид пролитой крови опьяняет мятежников. В них просыпаются ярость и инстинкты; ворвавшись во дворец, они всюду ищут Дмитрия.

Перед лицом неминуемой опасности Дмитрий, наконец, прозрел. Его самоуверенность слетела с него мгновенно; он оцепенел от ужаса... Подбежав к окну, он видит вдали буйную толпу. Бросившись назад к Марине, он кричит: «Измена, сердце мое, измена!..» Затем, не думая о защите жены, сам чувствуя себя брошенным всеми, он кидается куда глаза глядят, по дворцовым палатам. Вот перед ним какое-то окно: через него можно скрыться... Дмитрий колеблется... Тут его настигают заговорщики. Один из них бросается на царя и сталкивает его с окна во двор. При падении Дмитрий ломает себе ногу и теряет сознание. В таком виде находят его стрельцы; они подбирают его и несут во дворец. По дороге он приходит в себя. Он обращается к народу; делает попытку привлечь на свою сторону стрельцов для того, чтобы они защитили его от Шуйского. Все напрасно: дело его проиграно. Бояре, участники заговора, окружают Дмитрия, осыпая оскорблениями; они укоряют его в том, что он самозванно присвоил себе венец; они поносят его, как отступника и расстригу Гришку Отрепьева. Возбуждение все растет: неизбежность трагической развязки становится слишком очевидной. Сигнал подает Валуев. Он в упор стреляет в Дмитрия; другие добивают его саблями.

Еще теплый труп царя выволакивают из дворца. Страшная процессия останавливается перед Вознесенским монастырем; криками заговорщики вызывают к себе царицу Марфу. Они требуют, чтобы она сказала, кто такой Дмитрий... Сперва царица уклоняется. «Вам лучше знать», — отвечает она. Заговорщики не унимаются; их настояния принимают все более и более угрожающий характер. Тогда, устремив глаза на окровавленный труп, Марфа объявляет, что этот человек — не ее сын. Таким образом, она сама уличает себя в позорной лжи; она признается, что обманом были и

радостные слезы ее, и материнские ласки... Но заговорщикам только того и нужно. Вполне удовлетворившись этим ответом, они волокут отвергнутого сына Марфы дальше, на Лобное место. Отсюда еще недавно сам Шуйский объявлял Дмитрия подлинным сыном Ивана IV; теперь, сорвав с царя одежду, его бросают здесь на поругание черни. На лицо Дмитрия надевают маску, найденную во дворце; у ног кладут тело Басманова. Так смерть освящает дружбу несчастных. Целых три дня около этих изуродованных трупов разыгрываются самые отвратительные и страшные сцены. Только натешившись и надругавшись над мертвецом досыта, его хоронят, за городом, в поле, вне церковной ограды. Но тень убитого царя смущает суеверных людей. Над могилой его по ночам видят какой-то таинственный свет. Кое-где, хотя и робко, начинают слышаться вздохи и сожаления об убитом. Тогда враги Дмитрия решили раз и навсегда покончить с его ненавистной памятью. Труп самозванца был вырыт из земли. На позорной колеснице его сперва возили по улицам Москвы. Затем свалили на костер, сложенный за городом. Пламя пожрало останки Дмитрия; но и самый пепел его внушал опасения заговорщикам. Они захотели уничтожить и этот след самозванца. Смешав пепел с порохом, зарядили пушку. Орудие выстрелило, и прах Дмитрия развеяли ветры. «Теперь проклятый самозванец не воскреснет и в день Страшного Суда», — говорили его враги. Эти чудовищные похороны происходили 9 июня. Однако вернемся к 27 мая.

В то время, как Дмитрий испускал дух под ударами заговорщиков, Марине угрожала серьезная опасность. Как известно, у полячки было много врагов; они ненавидели и жаждали погубить ее. Когда во дворце стали раздаваться тревожные крики, испуганная, полуодетая царица вскочила с постели и бросилась к

женщинам, занимавшим более отдаленные покои дворца. Это бегство спасло Марину. Не найдя ее в опочивальне, заговорщики бросились было в другие двери; но тут на пороге одной из палат им преградил путь Осмольский, угрожая обнаженной саблей. На доблестного слугу Дмитрия посыпались удары; он пал на месте с пронзенной грудью. Через его труп мятежники кинулись дальше. Скоро они очутились лицом к лицу с оцепеневшими от ужаса и дрожащими польскими женщинами. Однако эти дочери Речи Посполитой героически выдержали испытание. Заговорщики потребовали Марину. Но никто не выдал несчастной царицы; никто не захотел бросить ее в жертву насильникам. Как раз в это время подоспели бояре. Они удержали мятежников и отвели Марину со всей ее свитой в более безопасное место. При столкновении с заговорщиками пострадала только панна Хмелевская. Эта почтенная женщина была ранена и несколько дней спустя скончалась. Между тем положение всех поляков, живших в столице, было критическим: исключение составляли лишь те, которые успели принять меры предосторожности. Как было сказано, поляки были расселены в различных частях города. Мятеж захватил их врасплох. Весть об убийстве Дмитрия поразила их как громом; тут же им стало ясно, что им самим угрожает гибель. Соединить свои силы для энергичного сопротивления они не могли из-за недостатка времени; а между тем чернь жаждала добычи и крови. Кое-кому удалось отстоять себя. Некоторых было приказано защищать вооруженной силой. Такими счастливцами явились, между прочим, послы Сигизмунда. Бояре распорядились оцепить их жилище и таким образом предохранить их от нападения черни. Более всех на виду были воевода сандомирский и Константин Вишневецкий. Им пришлось забаррикадировать у себя

входы, вооружить людей и выдержать настоящий приступ. Такие же точно сцены разыгрались и в других частях Москвы.

Все эти ужасы пережили с поляками и оба капеллана. В день мятежа Савицкий оказался один в доме. Чернь знала, где живут иезуиты. Она окружила это место и, наконец, ворвалась внутрь, выломав двери. О сопротивлении нечего было и думать. Савицкий спасся в соседнем доме, где жили литовские купцы. Но ему не удалось скрыться от народа. Чернь грозно потребовала выдать себе иезуита. Тогда пущены были в ход деньги, и народ несколько успокоился. Вечером за Савицким прислал Гонсевский: он хотел взять своего доброго, старого друга под защиту своей собственной неприкосновенности. На следующий день, желание Гонсевского было исполнено. Под охраной бояр и приставов Савицкого повели по улицам Москвы сквозь строй угрюмых взглядов... Наконец, он благополучно добрался до посольского дома, где был принят Гонсевским с распростертыми объятиями. Вскоре к Савицкому присоединился и отец Николай. Накануне мятежа он отправился к польским солдатам. С ними он и провел кровавый день 27 мая, после чего, благодаря вмешательству послов, ему удалось найти убежище там же, где был и Савицкий. Впрочем, свидание обоих иезуитов было не слишком продолжительным. Отец Николай отнюдь не был намерен покинуть свой пост и оставить своих солдат на произвол судьбы. Поэтому он опять ушел к ним, чтобы разделить с ними их участь, какова бы она ни была. Что касается отца Савицкого, то, памятуя о своей миссии, он остался с посланниками так же, как и отец Анзерин.

Надо заметить, однако, что, допуская избиение польских гостей, руководители заговора отнюдь не думали начать настоящую войну с Речью Посполитой.

Им нужно было только, чтобы погиб главный злодей, искупая все свои преступления. После этого престол опять оказывался свободным. Достигнув своих целей, бояре сочли свои долгом водворить в городе порядок и твердой рукой сдержать ту самую чернь, которую они же подстрекали к мятежу. Уже к вечеру 27 мая столица начала принимать обычный вид; только стража в большем количестве проходила по улицам или охраняла некоторые дома. В общем, беспорядки продолжались всего-навсего несколько часов; тем не менее крови было пролито немало. По-видимому, в этот день было перебито более 500 поляков; в их числе были шляхтичи, солдаты, слуги и большинство несчастных музыкантов. Вместе с другими погиб и Франциск Помаский. Он стоял перед алтарем и кончал мессу, одетый в священническое облачение. В это время к нему ворвалась толпа; она бросилась на злополучного ксендза и его домашних. Помаский был тяжело ранен в общей схватке; после этого он прожил всего два дня.

Весть о катастрофе, разразившейся в Москве, достигла Польши только в конце июня, т. е. со значительным опозданием. О том, какое впечатление произвели эти события на короля Сигизмунда, мы узнаем от венецианского посланника Фоскарини. Он изображает нам этот момент в чрезвычайно живых и ярких красках. Миссия Фоскарини при краковском дворе была выполнена. Явившись представителем Дожа на бракосочетание короля и установив условия союза между Венецией и Польшей, он получил свою прощальную аудиенцию 1 июля 1606 года. Пользуясь этим случаем, он, с чисто итальянской ловкостью, сумел вызвать короля на подробный рассказ о всей истории Дмитрия. Соединяя в своем лице тонкого дипломата и опытного следователя, Фоскарини рядом заранее рассчитанных вопросов искусно проник в самую суть этого

дела. Подробное донесение, составленное им по этому поводу, воспроизводит перед нами весь диалог венецианского посла с королем. За пять дней до этого в Кракове распространился слух, будто Дмитрий предательски убит одним из своих слуг. Что касается поляков, уехавших с Мнишеком, то большинство их будто бы также перебиты. Одни верили этому известию, другие, напротив, относились к нему с сомнением. Фоскарини обратился к королю с вопросом, что значат подобные толки.

Король. — Во всем этом есть значительная доля правды. Источником слухов является письмо одного московского воеводы. Оно прислано было в Ливонию на имя канцлера Льва Сапеги. Тот препроводил его мне. Письмо уведомляет о возвращении 500 поляков на родину. Я не знаю, соответствует ли эта цифра точному числу тех наших подданных, которые уцелели от погрома. Что касается Дмитрия, то он был зарезан на другой день после Троицы, т. е. на третий день после своей свадьбы. Убийцей явился человек, который уже раньше был изобличен однажды в подобном умысле против царя. Тогда он был посажен в тюрьму, и Дмитрий собирался предать его казни. Однако затем он помиловал его, по просьбе поляков. Еще до отъезда воеводы сандомирского в Россию я убеждал его не подвергать опасности стольких людей и не тратить напрасно средства. Но ни он, ни шляхта, его сопровождавшая, не вняли моим увещаниям; их увлекла страсть к приключениям, соединенная с надеждой на богатую добычу. Мне неизвестно, возможно они сами подали повод к катастрофе. Я не знаю даже, уцелели ли Мнишек вместе с моим послом. Дело в том, что я отправил в Москву своего уполномоченного. Он должен был не только присутствовать при бракосочетании Дмитрия, но и убедить его отказаться от произвольно присвоенных

титулов. Ведь Дмитрий величал себя императором, Цесарем, Августом, герцогом Ливонским... Я не мог признать подобных притязаний без ущерба для себя самого и для других государей. Между прочим, с целью покончить с этими поползновениями, я предполагал передать вопрос о титулах Дмитрия на обсуждение очередного сейма. Как известно, без его согласия у нас не решается ничего.

Фоскарини. — Что касается посла, то, конечно, он должен был уцелеть...

Король. — Я в этом не уверен. Ведь русские — варварский народ.

Фоскарини. — Но какова же причина всех этих событий?

Король. — Я сам не знаю этого точно. Достоверно то, что перед отъездом Дмитрий отрекся от греческой схизмы и тайно принял католичество. Может быть, в Москве это и обнаружилось. Надо добавить, что Дмитрий не был ни сыном Ивана IV, ни братом Федора. Когда Мнишек явился ко мне с сообщением об этом деле, я посоветовал ему не мешаться в него, дабы не повредить Речи Посполитой; но воевода не пожелал повиноваться мне. Когда он в первый раз вступил в московские пределы, он тотчас же был отброшен русскими войсками: еле-еле ему удалось спастись за стенами одной крепости, которая добровольно открыла ему свои ворота. Однако из-за упорных толков о том, что Дмитрий — подлинный сын Ивана IV, воевода еще раз попробовал прийти ему на помощь. Он собрал войско, прошел дальше в глубь страны и добился того, что на этот раз русские войска признали Дмитрия своим истинным государем. Достигнув трона, Дмитрий пожелал вознаградить Мнишека за все его услуги. Для этого он женился на его дочери.

Фоскарини. — Если известие о смерти Дмитрия подтвердится, это будет тяжким ударом не только для Польши, теряющей стольких своих дворян и такие суммы денег, но и для всего христианского мира. Ведь Дмитрий объявил папе о своем намерении предпринять крестовый поход против турок.

Король. — Правда, об этом шла речь. Потому-то нунций и отправил в Москву своего племянника в качестве представителя римской курии. Этот уполномоченный вернулся назад с богатыми дарами и проехал далее в Рим. При Дмитрии находились также двое иезуитов; они поддерживали в нем известное настроение. Трудно сказать, однако, на что тут можно было рассчитывать.

Фоскарини. — Во всяком случае, приходится пожалеть о смерти Дмитрия. Ведь он был бы постоянным союзником Польши.

Король. — Вряд ли можно было ему верить. Я лично совершенно разочаровался в его дружбе. Он вел себя вызывающим образом, и сердечные отношения с ним становились невозможными.

Фоскарини мог быть доволен. Из уст самого короля он узнал, что, собственно, произошло в Москве. Он выяснил как причины катастрофы, так и вероятные ее последствия.

Само собой разумеется, что в приведенной беседе Сигизмунд был откровенен далеко не до конца. Он изображает перед венецианским посланником одну лишь официальную сторону своей политики. Он не хочет открыть ему все свои карты и, однако, сам того не замечая, делает чрезвычайно важное признание. По его словам, Дмитрий не был сыном Ивана Грозного. У короля нет сомнений на это счет. Его взгляд окончательно установился. Он знает, что на московском троне сидит самозванец... И что же? Он сносится с ним,

как с равным. Он шлет к нему своих послов. Любопытно, что Фоскарини, по-видимому, считает это естественным. По крайней мере, он даже не пытается найти обстоятельства, извиняющие образ действий короля.

Мало-помалу весть о московской катастрофе распространилась по всем европейским дворам, которые интересовались делом Дмитрия. По свидетельству венецианского посла Франческо Соранцо, в Праге о смерти нового московского царя узнали 21 августа 1606 года. Здесь это известие вызвало всеобщее сожаление. Дмитрия считали добрым государем, который был искренне расположен к римской церкви и готов был служить высшим интересам христианства. Нельзя было найти более удобного случая, чтобы обвинить во всем иезуитов: ведь недаром изгоняла их сеньерия из Венеции, не прощая им соблюдения папского интердикта. Нимало не смущаясь, Соранцо возлагает на них всю ответственность за московские события. Это они торопили Дмитрия порвать с православием. Они понуждали его официально признать обряды римской церкви и отпраздновать свое бракосочетание с полячкой при самой торжественной обстановке — на латинский манер, в соборе, откуда изгонялась национальная вера. Можно ли было делать все это на глазах русского народа, столь преданного обычаям старины? Мятеж и убийства в Москве явились неизбежным следствием этого безрассудного образа действий. Очевидно, стараясь более убедить Дожа в своей правоте, нежели сообщить ему строго проверенные факты, Соранцо торопится заключить, что иезуиты — везде одни и те же: они всегда кстати и некстати вмешиваются в государственные дела. Раньше они погубили Себастьяна Португальского; теперь жертвой их явился Дмитрий.

В Ватикане внезапная гибель Дмитрия произвела тем большее впечатление, что ее совсем не ожидали.

Царь был убит в то самое время, когда папа уже благословлял учреждение в Орше иезуитской коллегии под покровительством польского короля и для распространения истиной веры среди русских. Параллельно с этим папа вел продолжительные беседы с Александром Рангони и о других планах того же рода. Еще 12 августа кардинал Боргезе слал Дмитрию пожелания долгой жизни и сил для работы на пользу церкви. Тревожная весть распространилась в Риме не ранее последних чисел того же месяца. Сперва ее опровергали; но затем получили новые подтверждения... 9 сентября римские депеши выражают опасения, как бы не пришлось проливать «бесконечные слезы». 23-го кардинал Боргезе произносит, можно сказать, надгробную речь над московским царем... «Злополучная судьба Дмитрия является новым доказательством непрочности всех человеческих дел, — заключает кардинал. — Да примет Всевышний душу его в Царство Небесное, а с ним вместе да помилует и нас».

## II

Россия недолго вдовела после Дмитрия. Труп несчастного самозванца еще лежал на Лобном месте, когда 29 мая князь Василий Шуйский провозглашен был московским царем. Венчание его на царство было совершено без всякой помпы; народ не участвовал в этом торжестве; оно происходило как бы украдкой. Вскоре к польскому королю прибыл Григорий Волконский с вестью о воцарении нового государя. Он следующим образом объяснял Сигизмунду тайну столь скорого избрания Шуйского. По его словам, глава заговора расположил в свою пользу бояр всяческими

обещаниями. Он не постеснялся даже посулить им наделение их землями, разумеется, надеясь впоследствии обойти все такие обязательства под предлогом народного недовольства. Как-то, при случае, Сигизмунд вспомнил потом об этом предвыборном маневре и рассказал о нем нунцию Симонетта. Пусть даже в своих подробностях версия короля не совсем точна, сущность дела передается совершенно правильно. Шуйский был возведен на трон группой бояр; те же самые лица и низложили его впоследствии. Все это эфемерное царствование было сплошным рядом интриг всякого рода. Это было тем более опасно, что из-за политического вопроса вставала уже грозная социальная проблема.

Чтобы оправдать себя и узаконить свою власть, новое правительство должно было прежде всего смыть пятно крови, пролитой заговорщиками в Кремле. Ему нужно было во что бы то ни стало изобразить убийство Дмитрия, как заслуженное и неизбежное возмездие. Это была трудная и неблагодарная задача; однако она не являлась невыполнимой. Под рукой Шуйского были данные пресловутого угличского следствия. К ним присоединились некоторые новые показания. К тому же кое-какие меры Дмитрия легко было представить в самом невыгодном свете. Наконец, при обыске во дворце у Дмитрия нашлись компрометирующие письма. Этого было достаточно для того, чтобы создать против злополучного царя целый обвинительный акт и окончательно погубить его в мнении народа.

Правительство Шуйского не раз официально созывало московских людей, чтобы посвятить их в тайны минувшего царствования. Среди смут чернь уже начинала чувствовать свою силу. Волей-неволей приходилось с ней считаться, чтобы предупредить возможность новой агитации и расположить массу в пользу правительства. Теперь все, не исключая самых тупых голов,

узнали, что покойный царь не был ни сыном Ивана IV, ни законным государем. Те же самые бояре, которые с такой готовностью присягали Дмитрию, уже клялись, что он был не кто иной, как расстрига, Гришка Отрепьев. Рассказывали вновь всю его биографию; изображали все подробности его карьеры. Разумеется, самозванцу приписывали всевозможные преступления; их длинный ряд завершался злонамеренным соглашением с Польшей и чужеземной оккупацией Московской державы. Если бы Дмитрий уцелел на престоле, погибла бы вся святая Русь. Государственная казна была бы расхищена; московские земли — захвачены врагами. Православная церковь подверглась бы гонениям, и весь народ принужден был бы принять латинскую веру. Что касается бояр, то все они были бы казнены... Вот такое будущее готовил самозванец для своих подданных. Разумеется, правительство Шуйского старалось доказать, что все эти разоблачения — не выдумка и не одни только догадки. Оно ссылалось на письма папы, Рангони, иезуитов, Юрия Мнишека. В сущности, достаточно было уже одной наличности подобной переписки: уже это казалось подозрительным и внушало опасения. В частности, о расправе, которая угрожала боярам, клевреты Шуйского выведали от Бучинского.

Все это, конечно, были одни слова; ими трудно было успокоить народ. Время от времени то здесь, то там вспыхивали беспорядки. Очевидно, нужно было чем-нибудь сильнее поразить народное воображение: это было бы наилучшим противодействием грозящей смуте. Шуйскому пришла в голову гениальная мысль. Об одном обстоятельстве самозванец или позабыл, или же просто не подумал должным образом. За все свое царствование, продолжавшееся одиннадцать месяцев, он не вспомнил о несчастной угличской жертве. Между

тем сын Марфы был погребен в храме Преображения со всеми почестями, подобающими царевичу; с тех пор ничья рука не нарушала его могильного сна. Впрочем, существуют сведения, что самозванец намеревался надругаться над прахом злополучного ребенка. Однако горячее противодействие со стороны Марфы и боязнь скандала воспрепятствовали ему осуществить свой замысел. Как бы то ни было, Шуйский решил воспользоваться ошибкой самозванца: прах царевича должен был пригодиться ему для особых целей. Поэтому он распорядился вырыть останки младенца Дмитрия и перенести их в Москву. Была снаряжена специальная комиссия для выполнения этой церемонии: во главе ее был поставлен Филарет Романов с двумя братьям Нагими. Покладистые дядья уже опять отреклись от своего племянника, явившегося из Самбора. Теперь они решительно становились на сторону угличского царевича...

В соответствии с требованиями момента, Шуйскому пришлось подвергнуть пересмотру некоторые памятники недавнего прошлого. Как известно, по данным следственной комиссии, смерть Дмитрия являлась делом несчастной случайности: царевич сам накололся на нож в припадке болезни. Таким образом, он был, в некотором роде, самоубийцей. При данных условиях такая версия представлялась уже не вполне удобной. Она не отвечала запросам времени, когда во что бы то ни стало нужно было изобразить царевича в ореоле невинной жертвы. Из-за этого оказалось, что сам Борис Годунов отдал повеление умертвить несчастного младенца: тогда будто бы подосланные им убийцы зарезали этого «непорочного агнца». Эта новая версия являлась как будто более правдоподобной; во всяком случае, правительство могло удобнее пользоваться ею перед лицом надвигающихся событий.

Василий Иоаннович Шуйский

Когда труп младенца был вырыт из могилы в присутствии Филарета Романова и его спутников, немедленно воздух наполнился благоуханием. Тело маленького покойника сохранилось нетленным: оно было совершенно свежо и нежно, как у живого. Так же мало пострадала и одежда царевича; только чуть-чуть попортилась обувь... В ручке ребенка, вместо пресловутого ножа, были найдены зажатые орешки. Уже весь этот внешний вид младенца свидетельствовал о его святости. Однако этого было мало: над прахом царевича начали твориться великие и многие чудеса... Филарет немедленно сообщил об этом Шуйскому; само собой разумеется, царь был вне себя от радости.

Мощи нового чудотворца решено было перенести в Москву. 13 июня царь с духовенством и всем народом уже встречал их у себя в столице. Останки Дмитрия были положены в царской усыпальнице, т. е. в Архангельском соборе. Немедленно чудеса возобновились и здесь. Отныне святость царевича могла быть вне сомнений; поэтому Шуйский повелел установить в память Дмитрия особый церковный праздник. Конечно, трудно было признать младенца светильником веры; из-за этого его возвели в лик мучеников. Странное мученичество! Оно свидетельствовало лишь об одном — о жестокости убийцы.

Все это происходило на глазах у Марфы. Мало того: она принимала участие во всех этих торжествах. Почести, оказываемые царевичу, были, в сущности, жестокой укоризной для царицы-инокини. Она чувствовала это и громко каялась. Как было не пожалеть бедной женщины! Сперва она была выдана за Грозного; затем ее преследовал Борис Годунов; далее ее запугивал самозванец... Мудрено ли, что ей приходилось лгать и притворяться? Василий Шуйский и высшее духовенство были тронуты этими признаниями. Они

объявили всенародно, что несчастная царица была не столько виновата, сколько одержима злым наваждением. Вот почему она заслуживает великодушного прощения. Цель правительства была достигнута. Народ узнал, что такое злодей-самозванец. Небо и земля вопили против него; из гроба своего истинный сын Ивана IV свидетельствовал против проклятого злодея своими чудесами...[1] И, однако, это был лишь призрачный успех; он был куплен слишком дорогой ценой. Столь поспешная канонизация Дмитрия является одним из самых печальных эпизодов того времени, Мало ли кто может быть убит! Такой смерти недостаточно, чтобы заслужить мученический венец! Чудеса, совершающиеся точно по заказу, решительно вызывают подозрение. Во всем этом слишком ясно чувствуются тайные расчеты Шуйского; что касается духовенства, то в деле Дмитрия оно обнаружило слишком большую склонность идти на сделки с совестью.

Надо заметить, что, при всей своей внушительности, торжества, связанные с перенесением мощей Дмитрия в Москву, не произвели на народ особенно глубокого впечатления. Беспорядки вспыхивали периодически: правительство, очевидно, было бессильно подавить их. В момент временного затишья, в феврале 1607 года, при поддержке своих сторонников Шуйский в последний раз пытался апеллировать к религиозному чувству. Для этой цели он обратился к бывшему патриарху Иову — пособнику Бориса Годунова и врагу Лжедмитрия. Старец был вызван из ссылки и по приглашению царя прибыл в столицу. Когда он вошел в Успенский собор, там встретила его целая толпа; тут же был и новый патриарх, Гермоген. Вый-

[1] К чудесам Дмитрия некоторые современники относились с недоверием.

дя на амвон, протодьякон громогласно прочел челобитную от лица московских людей. Оказывается, их замучила совесть. Они изменили присяге, которую приносили Борису Годунову и Федору; затем, вопреки закону, они клялись в верности самозванцу. К крестному целованию приводил их всех патриарх Иов; он же пусть и разрешит их, московских людей, и весь русский народ, всех предстоящих и отсутствующих, живых и мертвых, от этих клятв. С канонической точки зрения подобное ходатайство москвичей было совершенно неуместно. Новый патриарх был облечен теми же правами, что и старый; более того, раз он явился преемником Иова, ему одному принадлежала теперь власть вязать и разрешать. Но Шуйского мало интересовали эти мелочи. Ему нужно было только возможно прочней скрепить узы, соединявшие его с народом, и освятить их религиозным началом. Ответ Иова был, очевидно, приготовлен заранее; характерно, что правительство распорядилось огласить его немедленно ко всеобщему сведению. Бывший патриарх отпускал всем их вину и требовал верности Шуйскому. Дрожащими губами взволнованный старец произнес в заключение несколько слов примирительного характера, обращаясь к народу. Но все эти заветы были скоро забыты. Никто не внял голосу благоразумия.

Между тем Шуйский всячески старался успокоить страну. Сам он, не покладая рук, работал в Москве; отсюда его послания достигали самых отдаленных углов царства. Послушные перья усердно строчили грамоты, в которых изображалась вся история Гришки Отрепьева, излагались признания Марфы, восхвалялись чудеса, творимые мощами Дмитрия и доказывались права Василия на престол. На всем пространстве тогдашней русской земли духовенство читало эти послания в церквях, а воеводы объявляли их народу.

Это было, так сказать, официальными сообщениями правительства. Наряду с ними возникла своего рода официозная литература: она получала директивы из дворца и пыталась создать в обществе желаемое настроение. В этой кампании принимали участие лучшие грамотеи того времени. Обнаруживая больше служебного рвения, нежели бережливого обращения с фактами, они наперерыв кадили Шуйскому. Большинство подобных панегириков представляют весьма незначительную ценность для истории. Наибольшего внимания среди них заслуживает Извет старца Варлаама, к которому мы еще вернемся. Даже в свое время все подобные произведения могли похвастаться скорее чисто литературным успехом, чем действительным влиянием на общественную жизнь. Их читали, переписывали, сокращали, подвергали всяческой переработке... Но большой готовности стать под знамя Шуйского что-то было незаметно.

Будучи поглощен внутренней смутой, царь не должен был забывать и о внешних делах. Здесь на первом месте стоял польский вопрос. Катастрофа 27 мая смешала все шашки: создалось положение, полное противоречий и чреватое всевозможными недоразумениями. Мы знаем, что польский король имел много оснований жаловаться на Дмитрия. Несмотря на это, в Москве его считали лучшим другом самозванца. Прибегая к самым курьезным софизмам, Сигизмунду теперь ставили в вину то, что он оказывал вооруженную поддержку Лжедмитрию. Но ведь этого соискателя престола сами же русские призвали на царство. Правда, от этих жалоб и сетований до объявления войны было еще далеко. Однако создавался удобный случай для охотников ловить рыбу в мутной воде, тем более что оставшиеся в Москве поляки могли, при надобности, послужить и заложниками.

Прежде всего этих несчастных подвергли самой тщательной сортировке. Из них составили три группы. К первой принадлежала молодая вдова Дмитрия с отцом, родственниками и всей свитой; во вторую вошли оба посланника со своим штатом; к третьей были отнесены простые солдаты. В сущности, если не говорить об условных формах обращения, со всеми этими категориями обходились одинаково.

Более всего хлопот правительству было с третьей группой. Конечно, оно охотно отослало бы назад в Польшу столько лишних ртов; однако и здесь соображения высшей предусмотрительности одержали верх. Таким образом, эти последние остатки армии Дмитрия пробыли в плену около трех лет. По крайней мере, отец Николай, который оставался неразлучен со своей паствой, вернулся в Краков только 13 февраля 1609 года. Он был счастлив, что в течение столь долгого срока, несмотря на всяческие испытания, каждый день совершал мессу, исполнял требования своих единоверцев и поддерживал их мужество. По-видимому, сами русские не могли отказать ему в уважении.

Итак, правительство Шуйского не хотело отпустить от себя польских волонтеров. Тем более оснований было задержать в Москве послов Сигизмунда. Не видя более смысла в своем пребывании при русском дворе, уполномоченные польского короля выразили желание немедленно выехать обратно. Однако, предчувствуя, что в Польше они будут свидетелями противной стороны, бояре энергично запротестовали против их отъезда. Конечно, они старались при этом прикрыть свои истинные побуждения личиной законности. Нельзя же было открыто и прямо посягать на священное право послов! Лукавая тактика бояр проявилась уже на собрании 6 июня. В этот день послы были приглашены во дворец. Находясь еще под тяжелым впечатлением

кровавых сцен, представители Сигизмунда III тревожились и за свою собственную судьбу. Немудрено, что на этот раз царские палаты показались им печальными и мрачными. Зловещая тишина царила во дворце; везде попадались испуганные лица. На импровизированном совещании бояр председательствовал князь Мстиславский. Присутствовали двое братьев Шуйских, Голицины, Нагой, Романов и Татищев. Еще вчера они пресмыкались у ног Дмитрия. Теперь они подняли головы и выступали обвинителями против бывшего своего государя. Это переход был так резок и неожидан, что казался каким-то сном. Тем не менее, войдя в свою роль, Мстиславский прочел длинный обвинительный акт. Здесь царь Дмитрий отождествлялся с Гришкой Отрепьевым; разумеется, вопрос об ответственности за этот обман разрешался совершенно произвольно. Единственными виновниками всего оказывались поляки. Ведь Смирной-Отрепьев официально предупреждал их, что мнимый царевич — не кто иной, как его племянник, Гришка; второе посольство вновь подтвердило это сообщение. Поляки не пожелали считаться с этим. Нарушив мирный договор с Москвой, они оказывали сознательную поддержку самозванцу. Отсюда и пошли все беды.

Конечно, посланники без всякого труда выяснили односторонность подобного построения и осветили ту часть вопроса, которая намеренно оставлялась в тени. «Сами русские первыми присягнули, что Дмитрий — истинный сын Ивана IV, — заявили они. — Вы же, бояре, звали его к себе; вы его венчали на царство, вы клялись ему в верности. Зачем же обвиняете вы поляков? Ведь они только последовали вашему примеру».

При такой постановке вопроса обе стороны чувствовали себя стесненными. Ни русские, ни поляки не решались говорить открыто. Но, во всяком случае, по-

ложение первых было хуже. Все хитрости Татищева были бессильны исправить дело. Князь Мстиславский, очевидно, склонный к религиозным размышлениям, попытался было сослаться на грехи людские; в них, по его мнению, надо искать причины всех несчастий. Однако этот вывод не очень-то утешал послов короля; их терзало мучительное беспокойство за свою судьбу. Они заявили, что желают немедленно вернуться на родину. Тогда было решено, что об этом будет доложено царю. Но бояре, видимо, не слишком торопились с этим делом. Вот почему несколько дней спустя, встревоженные послы представили категорически и резко мотивированное требование, которым надеялись ускорить свой отъезд.

Но какое глубокое и горькое разочарование ожидало их! 15 июня к ним явился все тот же надоедливый Татищев; он принес с собой бумаги Дмитрия и начал мучить послов чтением этих документов. Затем он объявил им, что в Польшу отправляются князь Волконский с дьяком Андреем; им поручено уладить там некоторые неотложные дела. Что касается их, посланников, то им придется подождать в Москве возвращения русских уполномоченных от польского короля. Эта новость поразила поляков как громом. Они поняли, что попали в ловушку; все их протесты оказывались бесплодными; грубая внешняя сила торжествовала. Несказанная печаль овладела несчастными. Они рассчитывали недолго пробыть в Москве: теперь судьба обрекала их на пребывание в чужой земле в течение многих дней, вдали от родины, вдали от семьи... Конечно, делам и интересам их угрожал большой ущерб, да притом, в каких условиях должны были они влачить свое существование в России? Их поместили кое-как, в тесных и неудобных домах, битком набитых людьми, лошадьми и всяким скарбом. Кормили их скудно

и совсем не в то время, когда им действительно хотелось есть. Как за злоумышленниками, за ними был установлен самый бдительный надзор. Отношения с внешним миром были для них невозможны; им не позволено было выходить из дому, так что дышали они только спертым и испорченным воздухом своего жилища... Словом, сыновья свободной Польши оказывались в условиях самого невыносимого рабства. Тем не менее при помощи уловок и хитростей всякого рода им удавалось порой получать вести и даже переписываться с нужными людьми. Между прочим, Николай де Мелло присылал им длиннейшие письма из Соловецкого монастыря, торопясь заранее заручиться их заступничеством и вернуть себе свободу... Однако все эти отношения совсем или почти совсем не ободряли бедных пленников. Жизнь их текла печально и однообразно, в вечной борьбе с тюремщиками. Взоры бедных поляков были с отчаянием устремлены на Польшу. Они ждали оттуда желанного слова свободы. Но радостная весть медлила.

Не краше была и судьба Марины с ее отцом. Победители с каким-то цинизмом спешили отнять у них все имущество. Ценные вещи и крупные суммы денег были конфискованы; из конюшен воеводы были выведены кони; тонкие вина, хранившиеся в погребах Мнишека, были расхищены бессовестными грабителями. Алчность бояр не смущалась трауром молодой царицы. У Марины были отобраны не только подарки Дмитрия, но и те драгоценности, которые принадлежали ей раньше. Покидая дворец, приютивший ее на столь короткое время, злополучная супруга Дмитрия оставляла в чужих руках все свое богатство: еле-еле, из жалости, ей позволили взять несколько рубашек. Уступая энергичным требованиям Марины, бояре разрешили ей перебраться к отцу. Первая фраза, произнесенная ею

при свидании с Мнишеком, прозвучала, как смех сквозь слезы... «Я хотела бы, — заявила Марина, — чтобы мне лучше отдали моего негритенка, чем все мои драгоценности, а ведь у меня их было так много!» Удары судьбы еще не сломили Марину: в ней было слишком много юности; она была полна жизни... Беспечная полячка с отчаянной смелостью бросала свой вызов будущему. И будущее подняло перчатку.

Рассказывают, будто, невзирая на катастрофу, Мнишек во что бы то ни стало хотел соблюдать у себя этикет, приличествующий сану царицы Марины; поэтому он окружил свою дочь атмосферой самого почтительного внимания. В основе этой комедии скрывался весьма определенный и важный расчет: сандомирскому воеводе нужно было так или иначе поддержать на голове Марины пошатнувшуюся корону. Подобно утопающему, который цепляется за соломинку, Мнишек пытался воспользоваться присягой, принесенной Марине; опираясь на эти клятвы, он надеялся обеспечить за дочерью власть правительницы. Те внешние знаки почтения, которыми он окружал молодую царицу, должны были подготовить почву для такого исхода. Одновременно с этим, если верить Сигизмунду, Мнишек предпринимал и более активные шаги в том же направлении, сносясь с боярами. Однако мечты его скоро были разбиты. В Москве и слышать не хотели о передаче власти женщине. Совсем уже странное впечатление производит версия, сообщаемая архиепископом Арсением. По его словам, предполагалось обойти возникшие затруднения при помощи чисто политического брака. Точнее говоря, явилась мысль о женитьбе Василия Шуйского на вдове Дмитрия. Правда, вновь избранный царь нарушил вынужденный обет безбрачия, принятый им на себя еще при Годунове. Однако в супруги себе он избрал свою соотечественницу. Очевидно,

поляков не жаловали в России. Скоро Мнишеку пришлось убедиться в этом еще нагляднее.

Сандомирский воевода был подвергнут особому допросу. Бояре хотели выведать все досконально. Они желали знать, какими мотивами руководствовался Мнишек, поддерживая Дмитрия, и каковы, вообще, были его отношения к самозванцу. Казалось, трудно было удачнее выбрать момент для действительного раскрытия истины. Мнишек был в плену; он не знал, что его ожидает; он видел только, что его обвиняют в пособничестве Дмитрию... Чем можно было сразить врагов? Для этого нужно было бы только доказать, что убитый царь был подлинным сыном Ивана IV. О, конечно, Мнишек очень хотел бы сделать это! Ведь дело шло о его чести и безопасности; ведь все будущее Марины зависело от его показания. И что же? Он категорически утверждает, что Дмитрий не был обманщиком; однако аргументация его поражает своей слабостью. Совершенно ясно, что свои сведения о погибшем царе он почерпнул из того же источника, что и Вишневецкий; говоря иначе, он просто поверил Дмитрию на слово. Каковы его свидетели со стороны поляков? Все те же — ливонец, подосланный Сапегой, и пленник из Пскова; никаких новых данных он не добыл. И, однако, против бояр у Мнишека имелись кое-какие козыри. «Я хотел, — говорил он, — только одного: торжества истины и справедливости. Но я ни за что не переступил бы русской границы, если бы сами московские люди не призвали к себе Дмитрия. Ведь они сами взялись за оружие во имя его дела и провели всю кампанию...» В заключение, по примеру послов, он разражался укоризнами против бояр: «Зачем вы венчали его на царство? Зачем вы присягали ему?» Конечно, бояре совсем не были расположены отвечать на столь неудобные вопросы. Они отделывались ссыл-

ками на Гришку Отрепьева. При этом нравственные соображения так мало принимались в расчет, что на явных лжесвидетелей, как Нагие, готовы были опереться, как на достаточный авторитет; эти почтенные братья служили своего рода высшей моральной инстанцией!..

Пока шли все эти бесплодные переговоры, воевода с дочерью оставались под неусыпным надзором бояр. 25 июня их перевели на жительство в бывший дом Афанасия Власьева; сам владелец подвергся опале и был сослан далеко от Москвы. В своем новом жилище отец с дочерью пробыли недолго. В конце августа всем полякам, за исключением послов, было приказано выехать из Москвы. Воевода с дочерью и ближайшими родственниками высланы были в Ярославль; с ними вместе отправились туда и бернардинцы, в числе которых был и отец Анзерин. Это было настоящим изгнанием, со всеми его лишениями и бедствиями; впереди же не было, по-видимому, никаких надежд. Подобная перемена в судьбе поляков была вызвана угрозой политических осложнений.

## III

Напрасно объясняли бояре появление и торжество Дмитрия одними только польскими интригами. Вскоре действительность ясно обнаружила несостоятельность такого суждения. Все зло коренилось во внутренних условиях русской жизни, от которых страдали все классы населения. Что касается иноземного вмешательства, то оно было вызвано именно общегосударственной смутой. Это было несомненно для всякого, кто наблюдал все усиливавшуюся на Руси разруху.

Не успело государство оправиться от удара, испытанного 27 мая; не смолкли еще церковные проклятия против Гришки Отрепьева, как Русь поражена была новой вестью. Царь Дмитрий не убит. Он жив и здоров и собирается вернуться в Москву... При таких условиях, раз Дмитрий продолжал существовать, вопрос о его происхождении вновь стал предметом усиленного внимания. Что же было известно обо всем этом? 12 августа 1606 года усердный корреспондент Поссевина отец Босгравен в одном и том же письме сообщал ему и об убийстве Дмитрия, и о его воскресении. Последний слух только начинал распространяться. По словам Босгравена, русские люди относились к этим толкам с явным недоверием. Что касается поляков, то они разделились на два лагеря. Одни были такими же скептиками, как и русские. Другие, напротив, утверждали, что Дмитрий был своевременно предупрежден о заговоре и успел спастись, пользуясь темнотой ночи; погиб же кто-то другой, кого убийцы приняли за царя. Поэтому будто бы так и старались они уничтожить останки убитого; конечно, сожжение его трупа лучше всего отвечало их целям, ибо после этого никакая проверка личности погибшего была уже невозможна. Босгравен кончает письмо следующими словами: «Только что прибыли двое иезуитов из Вильно; они самым решительным образом утверждают, что убит был не кто иной, как Дмитрий. Таким образом, на этот счет не может быть уже никаких сомнений.

К сожалению, не все были так добросовестны и требовательны, как отец Босгравен. Особенно легко поддавались соблазну чудесной легенды люди маленькие, со слаборазвитым критическим смыслом. Живой пример подобного увлечения мы находим в лице одного итальянского купца, Франческо Таламио. Вернув-

шись с ярмарки из Голиции, он привез своим обычным покупателям свежий товар и последние новости.

История Дмитрия фигурировала у него на первом плане. По словам Таламио, русский царь живет здрав и невредим в Самборе, в монастыре бернардинцев. Тут его заботливо скрывают и охраняют. О приключениях Дмитрия рассказывают следующее: шли каких-то трое неизвестных. К одному из них спутники относились с чрезвычайным почтением. Вдруг подъезжает экипаж. Таинственный незнакомец сел в него и уже не выходил. Затем этот экипаж видели в Самборе. Его сопровождали двое всадников. После этого путешественники как в воду канули. Но в замке все сразу преобразилось. До того времени воевода Мнишек был погружен в печаль. Теперь он не плачет больше, и на лице его играет улыбка. Одна из служанок замка разболтала тайну на базаре: оказалось, что причиной радости воеводы является возвращение Дмитрия в Самбор. Таламио уверял, будто на его глазах один заклятый враг царя, мечтавший видеть его на виселице, вынужден был признать, что Дмитрий ускользнул от смерти. Что касается сторонников рокоша, то они открыто говорили об этом. Все это убедило простодушного итальянца, что московский царь действительно жив. Разумеется, нашлись еще более наивные люди, которые охотно слушали его и верили басням.

Все эти толки, ходившие среди народной массы, варьировались самым причудливым образом. Мало-помалу они проникли и в высшие сферы общества. В этом пришлось убедиться, между прочим, и отцу Барчу; в известном смысле, он даже сам содействовал распространению подобных слухов. Как раз в это время через Киев проезжала депутация из Северска, разыскивая бежавшего Дмитрия; представители ее были твердо уверены, что отыщут царя в каком-нибудь замке.

Об этом сообщил Барчу местный епископ Казимирский; надо заметить, что сам он был убежден в гибели Дмитрия. С этим ни за что не хотели согласиться некоторые из бывших офицеров армии самозванца. Особенно горячо доказывал обратное некий Валевский со своим слугой Сигизмундом Криноским. По их словам, им лучше всего известно дело. И, действительно, они смело передавали все подробности событий, прямо называя их участников по именам. Отец Барч подверг их допросу. Оба показали, что у Дмитрия были два двойника. Одного звали Борковский, а другой был племянником Мосальского. За исключением знаменитой бородавки, во всем остальном они походили на Дмитрия до капли. Поэтому, когда у царя являлось желание сбросить с себя узы этикета, он налеплял кому-нибудь из своих двойников искусственную бородавку и одевал его в свое платье. Этот маскарад всегда удавался Дмитрию: никому и в голову не приходила мысль о мистификации. Таким-то образом и 27 мая Дмитрий нарядил царем Борковского. Несчастный испустил дух под ударами заговорщиков. Сам же царь бежал из Москвы на лихом скакуне. Дальнейший ход событий вполне соответствовал столь необыкновенному началу. Немудрено, что порой в душу отца Барча закрадывались сомнения. Впрочем, во всей этой необыкновенной истории было нечто такое, что представлялось ему знаменательным, даже провиденциальным указанием. «Пока Дмитрий сохранял признательность к своему великому благодетелю, т. е. польскому королю, — рассуждал он, — судьба посылала ему успех; как только он стал обнаруживать неблагодарность по отношению к Его Величеству, счастье от него отвернулось». Не в силах больше сам разобраться в своих противоречивых впечатлениях, отец Барч считал своим долгом сообщить нунцию все подробности переданного ему

рассказа. При этом, со своей стороны, он вносил некоторые оговорки. Во-первых, всю ответственность за достоверность приводимых фактов он возлагал на самих свидетелей. Во-вторых, очевидно, из-за соображений сугубой осторожности, он просил никому не говорить, откуда нунций почерпнул все эти сведения.

Сообщение отца Барча окончательно сбило Рангони с толку. Россказни Франческо Таламио были уже ему известны. С другой стороны, ни Савицкий, ни Анзерин, изображая московские события, почему-то слова не упоминали о судьбе Дмитрия. Это обстоятельство казалось нунцию в высшей степени знаменательным. 21 октября 1606 года он получил от отца Андрея торжествующее письмо. Глубоко удрученный катастрофой, разразившейся в Москве, бывший духовник царя отправился было в Самбор. Очевидно, он надеялся отыскать здесь Дмитрия здоровым и невредимым. Но, увы, его ожидало самое горькое разочарование. Однако горе отца Андрея скоро сменилось живейшей радостью. Во Львов явился к нему один офицер, который показал ему письмо от супруги сандомирского воеводы. Мать Марины категорично заверяла, что Дмитрий жив; в военных кругах господствовало будто бы то же самое утверждение. Разумеется, отец Андрей не помнил себя от восторга.

Все эти толки были настолько упорны, что, в конце концов, из Кракова в Самбор был командирован один из наиболее видных представителей бернардинского капитула; на него было возложено официальное поручение — произвести основательное расследование по поводу распространяющихся слухов. Уполномоченный привез в Краков заявление, скрепленное подписями его самборских собратьев: они свидетельствовали, что Дмитрия нет в их монастыре и что со времени его отъезда в Россию его больше не видели в Самборе. Однако

чем более неуловимым был царь, тем усерднее старались некоторые воскресить его из мертвых. 5 января 1607 года, накануне Богоявления, во Львов прибыл из Ярославля бывший секретарь Дмитрия Ян Бучинский. Между прочим, он посетил и отца Андрея, который был когда-то его духовным отцом. Бучинский клялся, что Дмитрию удалось спастись. По его словам, дело царя не только не проиграно, но приобретает все более и более шансов на успех. Марина знает об этом и с нетерпением ждет к себе мужа. В заключение Бучинский подробно рассказал о своем пребывании в доме Мнишеков... Сердце доброго отца Андрея опять преисполнилось светлых надежд; в голове его вновь зародились планы деятельности среди русских.

Колебания, переживаемые Рангони, отражались и на настроении Ватикана. Краковский нунций пересылал в Рим все документы, попадавшие в его руки. Он сообщал все новые данные и слухи... В зависимости от того, какой тон господствовал в этой корреспонденции, кардинал Боргезе переходил от сомнения к вере и обратно. Во всяком случае, он не хотел, чтобы события застали его врасплох. Больше всего интересовал его вопрос, почему же, если царь жив, он так долго скрывается в неизвестности? В ответ на это сторонники Дмитрия осторожно намекали, что, может быть, причиной этого являются опасения царя, как бы ему не поплатиться за свою неблагодарность по отношению к польскому королю. Слыша это, кардинал начинал заранее обдумывать, какими бы мерами примирить обе стороны. Он уже сочинял соответственные послания к Сигизмунду и обращался к Дмитрию со словами поучения. Пусть царь выкажет раскаяние. Пусть отдалит от себя еретиков. Пусть во всем стремится к славе Божьей. Но уже в инструкциях от 18 ноября 1606 года, данных преемнику Рангони, чувствуется новый упа-

док духа. Здесь с прискорбием констатируется, что, со смертью Дмитрия, все мечты на союз с Москвой рухнули... Но в заключительных словах этого любопытного документа еще слышится какая-то робкая надежда.

Впрочем, не было ничего удивительного в том, что современники, жившие в Польше или Риме, терялись перед множеством разноречивых известий о Дмитрии. Вопреки мнению отца Босгравена, сами русские не знали, какого берега держаться. По-видимому, одним из первых начал распространять волнующие толки о спасении Дмитрия любимец этого царя Михаил Молчанов. Молва, подхваченная итальянцем Таламио на ярмарке, была лишь слабым эхом тех рассказов, что ходили в то время среди русских. Во всяком случае, все это возбуждало умы; легенда распространялась с поразительной быстротой. Роковой промах, допущенный Василием Шуйским, ускорил наступление взрыва, который готовился уже давно. Немедленно по вступлении на престол новый царь разослал по отдаленным областям самых горячих сторонников Дмитрия. Для того чтобы смягчить тяжесть этой кары, некоторых из них назначили на ответственные должности по местной администрации. Так было, между прочим, с князем Григорием Шаховским. Этот человек был искренне предан Дмитрию. По своей натуре он был весьма энергичен и предприимчив. Правительству Шуйского пришла в голову несчастная мысль — назначить его воеводой в Путивле. В сущности, это значило поставить Шаховского во главе самых горячих приверженцев самозванца и вооружить его всеми средствами для организации восстания. Конечно, Шаховский не преминул воспользоваться случаем. Подняв знамя царя Дмитрия, он объявил о скором возвращении бежавшего государя и начал призывать к оружию всех русских людей. Клич путивльского

воеводы оказал магическое действие. Народная масса заколебалась.

Дальнейшие события бросают яркий свет на общественные отношения тогдашней России. Наступала пора расплаты за политические ошибки и злоупотребления властью, допущенные при Иване IV и Борисе Годунове... Шаховскому оставалось только следовать примеру Дмитрия. На призыв его откликнулись казаки и холопы, беглецы и всякий бродячий люд. Все они собрались под его знамена. Очень часто династический вопрос служил для них только предлогом; на самом же деле они стремились лишь к наживе и воле. В челе этого грозного движения шли пасынки судьбы, обездоленные элементы всякого рода. Когда-то правительство пользовалось ими, как передовой силой в борьбе с татарами. Теперь они поднялись против него самого. Бедный восстал на богатого, гонимый — против гонителя. Готовился социальный реванш; Немезида шествовала среди криков мести. Может быть, правитель с железной рукой и орлиным взором сумел бы сдержать это стихийное движение. Но Василия окружали предатели. Сам же он был, в сущности, ничтожеством.

Полякам было отлично известно все, что происходит у соседей. То, что совершалось в Русском государстве, интересовало их тем более, что теперь вмешательство в эту внутреннюю борьбу было для Польши удобнее, чем когда-либо. Рокош доживал последние дни. Ливония была успокоена... Профессиональные вояки оставались без дела. Как должна была соблазнять их при таких условиях военная прогулка в Россию! Предлог для вторжения был налицо. Ведь столько соотечественников было убито русскими; столько их еще томилось в плену. Разве можно было найти лучший повод для отмщения? Наградой рыцарям должна была

служить богатая добыча от грабежа. Немедленно в Польше стали организовываться вооруженные отряды. Во главе их стали испытанные воины, которые и повели своих товарищей за русский рубеж. Первое место среди этих храбрецов занимал Александр Лисовский. Это был не то бандит, не то полководец. Отважный, выносливый, быстрый как молния, он не знал соперника в деле организации набегов. Одно имя его наводило ужас на врагов, на голову которых он обрушивался всегда неожиданно как гром. Князь Роман Рожинский и Ян-Петр Сапега также приняли участие в этом вторжении. Впрочем, они все делали вид, что ведут регулярную войну с русскими и дают им сражения по всем правилам искусства. Что касается казаков, то они были готовы на все. Стоило атаману Заруцкому подать знаки, и рубаки с Дона и Днепра тотчас откликнулись на его зов. Словом, со всех сторон в Россию слетались хищники; дух мятежа и анархии усиливался с каждым днем.

Рано или поздно, но лицо, во имя которого поднялись массы, должно было перестать быть призраком и облечься в плоть и кровь. Вожди движения не могли дождаться, когда же, наконец, явится герой, вокруг которого они объединятся. С каждым днем положение становилось все более и более затруднительным. Конечно, Дмитрий не мог воскреснуть из пепла; люди, посвященные в истину, отлично понимали это. Но где найти смельчака, который сумел бы принять на себя роль царя и послужил бы орудием в руках мятежников? После ряда безуспешных попыток желанное лицо было, наконец, найдено. Вот еще темная фигура! Относительно этого человека ходили самые необыкновенные рассказы. По словам Велевецкого, это был бывший секретарь Дмитрия. Оставшись без дела после смерти самозванца, он нашел себе приют в доме одного

священника, в Могилеве. Но здесь он отплатил своему покровителю самой черной неблагодарностью. Им увлеклась хозяйка дома. Оскорбленный муж сперва насытил свою месть ударами плети; затем он выгнал своего гостя, возвращая ему свободу... нищенствовать, где угодно. Чуть не умирая с голоду, злополучный любовник добрался до Стародуба. Здесь, неизвестно как, ему удалось выдать себя за Дмитрия. Вскоре его формально признали царем, и он стал во главе войска. В сущности, он ровно ничего не смыслил в военном деле. Но это ничего не значило. Возле него были сведущие люди, которые помогали ему своими советами и указаниями. После нескольких неудач и целого ряда испытаний в 1608 г. Лжедмитрию II посчастливилось дойти, наконец, до Тушина, расположенного верстах в двенадцати от Москвы. Здесь он и учредил свою резиденцию. Сперва Тушино превратилось в укрепленный лагерь; затем это место, приобретшее впоследствии столь печальную известность, приняло вид настоящего города. Постепенно в нем сконцентрировались значительные военные силы. Конечно, чтобы прокормить их, в Тушино стекалось множество народа. Тут были купцы, предлагавшие свои товары; сюда же приходили и те, которые торговали своей честью. Тушино самым серьезным образом угрожало Москве. Недаром прозвище Тушинский Вор так и осталось за Лжедмитрием II.

Теперь в России воцарилась анархия. Напрасно одержал Василий Шуйский несколько побед. Тщетно в борьбе со своими врагами потопил он одного из вождей смуты, Болотникова, и повесил Петрушку, мнимого сына царя Федора. Все эти удары били как будто мимо цели. Страна была охвачена пламенем. Смута раздирала государство. Ничто не мешало вторжению врагов. Народ не верил своему царю. Масса была во власти темных искателей приключений; она повино-

валась разрушительным влечениям гнева и мести. Василий ясно видел опасность своего положения. И раньше он не хотел войны с Польшей. Теперь он тем более был склонен к мирному решению всяких споров с ней. Сами обстоятельства помогли ему в этом.

Мы знаем, что в Краков был отправлен из Москвы князь Волконский. Этому послу ничего не удалось добиться в Польше. Разумеется, его расспрашивали о том, что произошло в Москве. Чуть ли не с первых слов Волконский заявил с досадой, что Дмитрий действительно убит. Но это ничего не значит: поляки сумеют воскресить его из мертвых. Такое начало не предвещало ничего хорошего. Немудрено, что единственным результатом этих отношений было отправление в Москву польского посольства. Уполномоченными короля явились Друцкий-Соколинский и Витовский. Оба они прибыли в Кремль 22 октября 1607 года. Обстоятельства требовали от русского правительства энергичных мер. Однако и на этот раз оно осталось верно своим традициям. К великому огорчению Олесницкого и Гонсевского, переговоры затянулись. Мучимые тоской и изнемогая в напрасных ожиданиях какого-нибудь исхода, несчастные пленники пригрозили, наконец, своим тюремщикам, что прибегнут к силе, чтобы пробиться к польской границе. Для того чтобы эти слова не остались пустым звуком, они принялись за приготовления к побегу. Потребовалось вмешательство бояр, чтобы хоть сколько-нибудь успокоить злополучных пленников.

Между тем положение Василия Шуйского с каждым днем становилось все труднее. Это не могло не сделать его более покладистым. Так или иначе, 23 июля 1608 года с поляками был заключен мирный договор на три года и 11 месяцев. Первым условием, которое поставила Польша, было освобождение всех подданных

короля, насильственно удерживаемых до той поры московским правительством. Со своей стороны, поляки обязывались не помогать своими силами Тушинскому Вору. Таким образом, взаимоотношения обоих государств были урегулированы. Теперь Василию оставалось только раздавить внутреннего врага, лишенного посторонней помощи: конечно, при таких условиях борьба с ним должна была оказаться сравнительно легким делом. Но договор, заключенный между державами, сохранил свою силу только на бумаге. Противники не сложили оружия. Предательство продолжало свою подпольную работу, и Сигизмунд III уже обдумывал план войны с Москвой. Нужно было еще немного времени, чтобы гроза разразилась.

Пока у польских послов шли переговоры с правительством Василия Шуйского, Мнишек с дочерью были вызваны из Ярославля в Москву. Конечно, они прежде других поляков должны были воспользоваться свободой, гарантированной соглашением обоих государств. Имея это в виду, стороны условились заранее, что Марина откажется от всяких притязаний на царскую власть. Таким образом, жизнь сандомирского воеводы опять входила в свое русло: впереди его ожидала мирная старость. Ему оставалось только вернуться в Самбор. Здесь его дочь опять замкнулась бы в тесном кругу семьи. Сам Юрий Мнишек нашел бы привычный кров своего дома, вновь занялся бы служебными делами и отдыхал бы в беседах со своими бернардинцами... Однако судьба решила иначе. Естественно, встает вопрос: было ли это делом случая, или же ненасытное честолюбие Мнишека опять толкнуло его на путь превратностей?

Немедленно по заключении договора, семья Мнишеков покинула Москву вместе с Олесницким и Гонсевским. Поляки выехали под охраной пятисот всад-

ников. Очевидно, правительство опасалось ловушки, хотя поезду и приказано было следовать окольными путями. Несмотря на все предосторожности, уйти от беды не удалось. В одном месте, из опасения засады, отряд, сопровождавший поляков, решил было вернуться назад. Дело шло о потере двух или трех дней; зато можно было рассчитывать на полную безопасность дальнейшей дороги. Этот план вызвал горячие споры. Послы никак не могли столковаться между собой. В конце концов, каждый решил поступить по-своему. Гонсевский вполне доверился русским. К нему присоединился его друг, Савицкий. Ни тому, ни другому не пришлось пожалеть об этом. На обратном пути они встретили новые подкрепления. Под этой охраной, хотя и с небольшим опозданием, они благополучно добрались, наконец, до польской границы. Что касается Олесницкого и Мнишека, то они ни за что не хотели терять время на какие-либо обходы. Поэтому они прямо поехали вперед. Но здесь-то и ждала их ловушка. Тушинский Вор уже давно выслеживал их издали. Обладание Мариной было для него важнее любой победы. А что, если она признает его своим мужем? Как возрастет его обаяние в глазах народа! Трудно сказать, было ли здесь какое-нибудь тайное соглашение, или же все произошло совершенно неожиданно для поляков. Во всяком случае, путники были настигнуты сильным отрядом конницы. Нападающие без труда отбили Мнишеков от их охраны и передали их в руки Сапеги, который отправил их в Тушино. Таким образом, вместо того чтобы попасть в Польшу, Марина с отцом опять вернулись к Москве.

Это событие было чревато весьма серьезными последствиями. Между прочим, краковский нунций был убежден, что все было заранее подстроено хитрым Мнишеком. Король был того же мнения. По крайней

мере, в декабре 1608 года он следующим образом объяснял Рангони намерения Сандомирского воеводы. «Мнишек остается при Дмитрии, чтобы придать ему больше весу, — заметил король, — он хочет женить его на своей дочери, как только новому претенденту удастся достигнуть престола. Присяга, принесенная когда-то Марине народом, должна облегчить выполнение этого плана». С другой стороны, подлинность известного письма Дмитрия II к Мнишеку от 22 августа 1608 года вызывает решительные сомнения у историков. Вот почему все они в один голос обвиняют воеводу в том, что он сам содействовал похищению Марины Тушинским Вором. Как бы то ни было, если даже со стороны Мнишека и допущены были некоторые ошибки, он, во всяком случае, искупил их своим возвращением в Польшу. В речи, произнесенной в заседании сейма в 1611 году, он более или менее удовлетворительно объяснил свои мотивы. Речь эта говорилась в присутствии короля. Конечно, Сигизмунду очень легко было внести поправки в заявления оратора и, если нужно, изобличить его во лжи. Однако, по своему обыкновению, король предпочел не вмешиваться: пусть сенаторы сами разбираются в своих спорах.

Те же сомнения возникают и относительно Марины. Была ли она только жертвой? Сама ли обрекла себя на жизнь, полную превратностей? По собственной ли воле делила дочь магната свое ложе с самозванцем? Или же, может быть, ее принудили к этому угрозами или насилием? Эта бурная эпоха в жизни Марины более всего покрыта тайной. Свидетелем первой встречи ее с Тушинским Вором был Ян Сапега. Он вынес из этой сцены самое тяжелое впечатление. По его словам, бывшая царица крайне холодно приняла нового претендента. Один из слуг Олесницкого после возвращения из Тушина рассказывал об этом же сви-

дании, приводя самые драматичные подробности. Он изображал, как Марина, оскорбленная в своем женском достоинстве, движимая непреодолимым отвращением к самозванцу, схватила нож. Занеся его над своей грудью, она в отчаянии кричала раздирающим голосом: «Лучше смерть!..» Впрочем, Мартин Стадницкий ничего не говорит об этом благородном, хотя и слишком недолгом сопротивлении Марины; он ничего не знает о том, чтобы в груди ее гордость боролась с отчаянием. Вообще, этот царедворец забывает о прежней своей угодливости. Почти без всяких доказательств он утверждает, что во всем своем позоре виновата сама же Марина. Она первая начала отношения с Тушиным. Она же условилась с ним о месте засады... После этого, переодетая гусаром, она бросилась в объятия Дмитрия. Пусть все это — вымысел; во всяком случае, нельзя отказать ему в известном романтизме.

Как бы то ни было, остается несомненным, что Марине пришлось пережить жестокий кризис. После него она совершенно преобразилась. Ее называют любовницей Вора. Едва ли вполне справедлив столь категоричный приговор. В сущности, и Марина, и Лжедмитрий II были совершенно свободны. Канонические правила не ставили их союзу никаких преград. Наконец, при Марине находился бернардинец отец Антоний. В качестве духовника бывшей царицы, располагая широкой властью запрещать и разрешать, он мог, конечно, благословить ее союз с Дмитрием II. Впрочем, в глазах некоторых судей законный брак бывшей царицы с Тушинским Вором еще больше отягощает ее вину; с точки зрения самой Марины, это было, пожалуй, непоследовательностью... Но мы сказали уже, что дочь Мнишека была совершенно неузнаваема. По-видимому, несчастья ничему ее не научили. Превратности судьбы лишь нарушили ее душевное равновесие. В одиночестве

и изгнании ее страстность обратилась в экзальтацию. Марина вся ушла в свои переживания. Но в себе самой она обрела могучую силу сопротивления. Поэтому, когда новым капризом судьбы или же собственным порывом она опять была брошена в вихрь событий, она не уклонилась от выпавшей ей роли: напротив, она приняла ее смысл, рискуя погубить себя навеки. Прежде она была воплощенной покорностью по отношению к своим родителям и дяде, кардиналу Мацейовскому; как известно, он должен был стать ее советником и руководителем. Теперь Марина решительно противится отцу; ничто не может сломить ее упрямой воли. В январе 1609 года воевода расстался с дочерью. Он уехал из Тушина, даже не благословив Марину. Что произошло между бывшей царицей и ее отцом? Никто не знает этого. Некоторое время спустя бедная Марина написала сандомирскому воеводе письмо. Она просила у него прощения; она каялась в своей вине перед ним... Но и здесь к чувствам дочери примешивалось неистребимое легкомыслие женщины: обещая исправиться, Марина просит отца прислать ей черного бархата на платье. Так странно, так причудливо сочетались в этом сердце противоположные влечения! И все-таки привязанность к семье пережила в душе Марины всяческие разочарования. Это ясно из писем несчастной женщины, относящихся к 1609 году. Впрочем, так же цепко держалась Марина и за иллюзию своего царственного величия. Она писала краковскому нунцию в таком тоне, как будто бы еще находилась в Кремлевском дворце; казалось, она все еще собирается осуществить те великие планы, которые намечались когда-то до ее отъезда из Польши. Еще в 1609 году самборские бернардинцы украшают жертвенник своей церкви серебряными светильниками, присланными царицей (Czarowa) Мариной. Сам воевода Мнишек в

разлуке с дочерью хранил к ней горячую отеческую любовь. На сейме 1611 года он подвергся жестоким нападкам со стороны членов собрания. Они обвиняли старого воеводу в честолюбии и эгоизме. Отвечая им, он говорил, как отец, болеющий душой за свое дитя. По его словам, ему самому нужно немногое. Он хотел, чтобы Марина пала к ногам своего короля. Взамен московской короны, которую она повергла бы к стопам своего государя, она охотно приняла бы какую-нибудь область в пределах родной Польши; после этого она снова вернулась бы к мирной частной жизни. В Тушине воевода будто бы не изменил долгу совести: он сорвал личину с вора-самозванца. Но дочь не последовала его советам. После возвращения в Польшу он тем не менее поддерживал с ней переписку. Но кто же осмелится упрекнуть его за это? В заключение, воевода горестно сетовал о доле Марины, которой он хотел пожертвовать ради блага родины... Неужели отчизна забудет свою несчастную дочь? К сожалению, до нас не дошло письмо воеводы к Марине. Что касается посланий Лжедмитрия II к сандомирскому воеводе, то они живо воскрешают перед нами образ авантюриста, который старается каким угодно путем достигнуть трона. Он щедро сыплет обещаниями денежных наград и земельных пожалований, хотя в руках у него еще нет ничего.

Что касается Рима, то сведения о Лжедмитрии II дошли сюда лишь со значительным опозданием. Кардинал Боргезе получал самые разноречивые сообщения. Он не знал, чему верить. Во всяком случае, ему все еще хотелось надеяться, что царевич Дмитрий рано или поздно вновь появится на сцене; разумеется, он докажет, что пережитые испытания сумели научить его многому; тогда с новым жаром он примется за свое дело. Как многого можно ожидать от кающегося неофита! В

этом смысле кардинал писал Рангони, а после отъезда его из Кракова и новому нунцию. По-видимому, по большей части тон этой переписке давали донесения обоих уполномоченных римской курии. И тот, и другой нунций, несомненно, находились под воздействием самых противоположных слухов.

В конце 1606 года по Австрии проезжал новый нунций, Симонетта, направляясь к месту своего назначения, в Краков. Дорогой он узнал, что Дмитрий благополучно избег смерти и готовился нанести своим врагам неожиданный удар. Миновал почти год пребывания нунция в Кракове: однако сведения, полученные им, ничем не подтверждались. Напротив, порой до Симонетта доходили совсем иные слухи. В октябре 1607 года король получил письмо из Москвы от Олесницкого. Посол заверял Сигизмунда, что Дмитрий жив. Это произвело в Кракове известное впечатление. Но не прошло и месяца, как настроение опять стало изменяться: большинство, по-видимому, проникалось убеждением, что, вероятнее всего, Дмитрий погиб 25 ноября. Симонетта вновь пересматривает данные за и против смерти царя. Он убеждается, что они, положительно, уравновешивают друг друга. Тогда он слагает с себя всякую ответственность в этом вопросе. «Дай Бог, чтобы Дмитрий был жив, — пишет он, — но мне кажется, что этот слух имеет под собой недостаточно твердую почву».

Проходит еще несколько недель. В самом конце 1607 года — новое сенсационное известие. В Рим приезжают двое сыновей сандомирского воеводы, Николай и Сигизмунд. С ними прибыл их воспитатель. Молодые люди пожелали представиться папе. Здесь они предъявили любопытный документ. Супруга воеводы сообщала, что она получила собственноручное письмо Дмитрия. Конечно, такое свидетельство при-

ходилось признать чрезвычайно важным. Тем не менее кардинал Боргезе продолжал свои расследования. Что касается Павла V, то он по-прежнему напоминал Сигизмунду о злополучных пленниках, т. е. о воеводе Мнишеке с дочерью, которые все еще томились в Ярославле. Папа находил, что они заслуживают лучшей доли. Поэтому дважды, 5 июля 1607 года и 1 июля 1608, он в деликатной форме просил короля принять участие в их судьбе. Весь 1608 год прошел в бесплодных переговорах и столь же напрасных розысках. Только в 1609 году Мнишек получил свободу. Что касается истинной роли Дмитрия, то она выяснилась лишь тогда, когда Сигизмунд решился, наконец, высказаться более или менее определенно. Теперь он готовился к войне с Россией. При таких условиях было весьма своевременно разоблачать в лице Дмитрия самого вульгарного обманщика и темного искателя приключений.

# КНИГА ПЯТАЯ

# ПОЛЯКИ В КРЕМЛЕ

# Глава I

# ВОЙНА С РОССИЕЙ 1609–1618 гг.

## I

1609 год ознаменован был в Польше резким поворотом внешней политики на новый путь. Эта перемена отразилась и на настроении Ватикана. Римская курия последовала примеру Кракова. Почти всегда попытки договора или союза между державами завершались враждебным столкновением заинтересованных сторон. Такой исход имела и проблематичная дружба короля Сигизмунда с Дмитрием I. В конце концов, она разрешилась войной.

Никогда, казалось, обстоятельства не были более благоприятны для поляков. Сперва, как будто сами, русские шли навстречу Сигизмунду, желая сближения обоих государств. Как помнит читатель, уже в конце 1605 года соответствующие шаги были предприняты от имени группы бояр Безобразовым; лица, уполномочившие этого посла, стремились возможно скорее избавиться от Дмитрия. С тех пор отношения такого рода не прекращались. Конечно, они велись тайком, причем направление их было совершенно противоположно официальным нотам. В то время не существовало

еще секретной дипломатии. Людовик XV не успел дать ее образца. Тем не менее весьма нередко одни и те же лица без зазрения совести вели двойную игру. Другими словами, одно они заявляли публично, и совершенно иное говорили с глазу на глаз. Именно такое положение создалось в 1606 г., когда князь Волконский прибыл к польскому двору с уведомлением об избрании Василия Шуйского, которого Польше предлагалось признать законным государем. Что могло быть естественнее подобной миссии? Однако кое-кто из поляков узнал об истинной ее цели. В тесном кругу посвященных в тайну Волконского заявили, что бояре решили низложить Василия Шуйского; вместо него они готовы избрать Сигизмунда или его сына Владислава. Сам посол заявил себя горячим сторонником польской кандидатуры. Он только просил показать ему королевича. В конце концов, все устроилось к его удовольствию.

Некоторое время спустя в Краков прибыл новый уполномоченный. Его прислала та же самая группа бояр; на этот раз она подтверждала уже известные свои предложения. С удивительным простодушием доверенный бояр признавался, что Лжедмитрий II является только орудием, которым они пользуются против Шуйского. Он просил короля двинуть свои войска к границе. По его словам, Сигизмунду помогут завладеть всем Русским государством без всякого сопротивления и излишнего шума. Королю не стоило бы большого труда припомнить, что то же самое обещали когда-то московские люди первому самозванцу. Конечно, это могло быть для него весьма важным предостережением... Обо всем этом мы узнаем от нунция Симонетта. Источником его сведений был, несомненно, сам король.

Приглашения со стороны москвичей соблазняли Сигизмунда. В довершение всего, наиболее авторитет-

ные люди из среды самих поляков изображали ему Русское государство, как добычу, которая только ждет смелых рук. Эти советники уверяли, что в России царит анархия. По их словам, могучую некогда державу раздирают партийные распри, заливают кровью иноземцы... Какое же сопротивление может оказать она победоносному натиску Польши? Томившийся в плену Олесницкий также старался воздействовать на короля. Он утверждал, что за последние годы благодаря непрерывным смутам, свирепствующим в Русском государстве, там погибло более ста тысяч человек. Целые города обезлюдели и опустели. У Шуйского нет ни войска, ни денег. Враждебная ему партия явно берет верх и склоняется в пользу кандидатуры польского короля [1]. Другие подходили прямо к практической стороне вопроса. По их мнению, нужно немедленно завладеть Смоленском. Это была значительная крепость, которая постоянно манила к себе поляков, пока находилась в русских руках. Теперь многие были убеждены, что этот город сам откроет перед Сигизмундом свои ворота, видя в короле своего желанного освободителя.

В сущности, в глазах самого Сигизмунда война с Москвой была простым вопросом времени и формы. По матери будучи связан с династией Ягеллонов, польский король нисколько не сомневался в своем неотъемлемом праве на русский престол. Правда, только недавно он заключил перемирие с Василием Шуйским. Однако никто не склонен был придавать этому договору какое-либо значение. В особенности повредил ему союз нового московского царя со Швецией, в лице Карла IX. В довершение всего, на помощь Сигизмунду приходила идея великой религиозной миссии католичества на

[1] Письмо Симонетта к Боргезе.

православном Востоке. Таким образом, все дело сводилось к материальному вопросу. Располагает ли Польша такими средствами, которые дали бы ей возможность довести начатую войну до желаемого конца? Ведь в самом лучшем случае кампания, предпринятая для приобретения русского престола, должна потребовать весьма значительных расходов. А что, если нация откажется доставить нужные средства? Где тогда взять их? Единственным прибежищем при таких условиях представлялась римская курия. Правда, Павел V ничего не дал Дмитрию. Но ведь и царевич ничего не просил у папы. Неужели из-за этого королю нужно отказаться от своего замысла? И почему бы ему, во всяком случае, не позондировать почвы у нунция?

При дворе Сигизмунда III Симонетта пользовался далеко не такими симпатиями, как Рангони. Очевидно, король не мог простить папе его упорного нежелания пожаловать прежнему нунцию мантию кардинала. Этим и объяснялось, надо думать, некоторое охлаждение между Ватиканом и Краковом. Новому представителю курии, назначенному к польскому двору, приходилось расплачиваться за чужую вину. Тем не менее порой Сигизмунд как будто забывал свою обиду. Тогда он становился откровеннее с Симонетта и посвящал его в свои планы относительно будущего. Конечно, он беседовал с ним и о московских делах. Было совершенно ясно, что король питает какие-то воинственные намерения: зоркий глаз опытного дипломата безошибочно уловил это настроение. Уже в 1607 году нунций был совершенно убежден, что Сигизмунд готовится к войне; мало того, по мнению Симонетта, эта мысль занимает короля уже давно. В 1608 году король окончательно открывает Риму свою тайну. Одновременно с войной против Москвы он предпринял мирную кампанию на Ватикан. Его явной целью было по-

лучить от папы материальную субсидию. Ближайшими союзниками короля в этом деле являлись его супруга Констанция и маршал Николай Вольский.

Впрочем, к своей задаче Сигизмунд приступал осторожно и издалека. Очевидно, ему не хотелось сразу начинать разговор о деньгах. В начале декабря 1608 года он излагает нунцию свои планы. Он разъясняет ему свои права и напоминает кое-какие факты прошлого. Всего каких-нибудь 25 лет назад Сикст V щедро наделил деньгами Стефана Батория. При этом он даже не коснулся тех сумм, которые хранились в папской кассе, в замке св. Ангела. Всем известно, как бережлив был этот папа в обыкновенных случаях. Однако для великих дел он не жалел средств; напротив, он всегда готов был поддержать их с царственным великодушием. Обращаясь к восседающему на римском престоле первосвященнику, представителю дома Боргезе, Сигизмунд надеялся найти в его лице нового Сикста V. Может быть, материальные средства папы уже не те, что были раньше; однако величием души он, конечно, нисколько не уступит своему знаменитому предшественнику. Себя самого Сигизмунд во что бы то ни стало хотел изобразить продолжателем дела Батория. Ведь и его задача заслуживает всяческого сочувствия. Мало того, теперь ее легче осуществить, чем когда бы то ни было. Вот почему король смело обнажает свой меч. Пусть же знают все, что руководит им в этом предприятии. Слава Божия — вот единственная цель, которой он готов служить, не щадя своей крови. В устах Сигизмунда это не было банальными и пустыми разговорами. Мы знаем, каковы были религиозные убеждения этого короля. На них и основывалась вся его программа.

Король несколько раз возвращался к своей теме. При этом он вводил Симонетта в подробности намечаемых

планов. Несколько позже, в письме к папе Сигизмунд сжато, в нескольких строках, выясняет мотивы, заставляющие его объявить войну России. Перед нами как будто новый крестоносец; однако устами короля говорят судья и мститель. «Я не сомневаюсь, — писал король Павлу V 30 октября 1610 года, — что Вашему Святейшеству известны побуждения, вынуждающие меня начать войну против русских. Тем не менее для полной ясности я считаю необходимым в немногих словах напомнить их здесь. Мотивы мои таковы. Я намерен содействовать распространению истинной христианской веры. Я стремлюсь к благу моего государства, защищая его исконные земли и охраняя пограничные города, на которые, по-видимому, намерен посягнуть враг, тайно кующий свои козни. Уже Василий Шуйский занес вероломно свою руку на наследственные области польских королей. Наконец, я выступаю против тирании тех обманщиков, которые, в ослеплении своим честолюбием, выдавали себя за потомков князей московских. Подобно разбойникам, вооруженной рукой опустошали они всю страну, покрывая землю могилами бесчисленных жертв своих. Все это сопровождалось всяческими насилиями над моими верноподданными, к тяжкому ущербу для моих наследственных прав на те же владения великих князей русских».

Сколько сказано в этих немногих словах! Письмо короля касалось и национальной истории, и династических вопросов, и законных прав Сигизмунда, и необходимости возмездия ввиду известных событий прошлого и настоящего. Все это имело целью оправдать воинственные намерения польского короля. Но, по правде говоря, ни фактическая, ни юридическая стороны дела особенно не интересовали Рим. Все, что писал Сигизмунд, было принято на веру без колебаний и возражений. Никто не вспомнил о правиле —

audiatur at altera pars. Правда, что, вопреки примеру Годунова, и сам Шуйский не позаботился осветить папе создавшееся положение. В Риме решительно ничего не знали о том, что творится в Москве. Поэтому Ватикан рассматривал все события сквозь польскую призму. Конечно, столь односторонняя осведомленность была на руку Сигизмунду; к этому надо добавить, что польский король пользовался в Риме большими симпатиями. В конце концов, курия резко отступила от своей традиционной политики. Папские дипломаты оставили всякую мысль о союзе России с Польшей, забывая о том, что сам Павел V не раз возвращался к этой идее. Из-за чего столкнулись оба государства, было для Рима довольно безразлично. Ватикан примирился с объявлением войны, как со свершившимся фактом, и без колебаний стал на сторону Сигизмунда. Польский король утверждал, что сами русские избрали его на московский престол. Характер и принципы этого государя внушали полное доверие. Задача, которую ставил себе Сигизмунд, входила в планы римской политики. Вот почему курия так же горячо желала ему успехов, как некогда сочувствовала Дмитрию. Именно на такую почву стал кардинал Боргезе. Устраняя из обсуждения национальный вопрос, он писал 3 января 1609 года, что ни одно предприятие не заслуживает большей симпатии, нежели покорение Москвы. Он выражал свой восторг перед великой душой того, кто задумал это святое дело. На его голову он призывал благословение Всевышнего. Два года спустя воцарение Сигизмунда на московском престоле казалось кардиналу самым верным залогом обращения русских людей к истинной вере. Тем же настроением были проникнуты и папские послания. В ночь на Рождество Христово в 1609 году Павел V, по обычаю, благословил меч и шлем; затем он отослал эти предметы

Сигизмунду. Это значило, что римский первосвященник благословляет рыцаря церкви Христовой на победоносную борьбу.

Конечно, польский король делал вид, что его глубоко трогают все эти знаки внимания и милости. Однако сочувствие Рима казалось ему слишком платоническим. Между тем Сигизмунд уже нес огромные расходы. Собственные средства его были более чем скромны... Вообще, ему нужны были не слова, а деньги, и притом в большом количестве. Вот почему при всяком свидании с нунцием он настоятельно просил его о материальной помощи. Потом королю пришлось уехать. Тогда за дело принялась супруга.

Несмотря на свое австрийское происхождение, королева Констанция была горячо привязана к своей новой родине. Немудрено, что и поляки платили ей любовью. В лице этой государыни воскресли добродетели ее знаменитой матери Марии Баварской; дочь не уступала своей родительнице ни в упорной энергии, ни в уме. Симонетта скоро убедился, что имеет дело с крупной силой. Королева убеждена была, что папа не откажет Сигизмунду в помощи. Она считала это совершенно неоспоримым; она подчеркивала, что не допускает никаких сомнений на этот счет. При таких условиях к чему же сводилась в ее глазах вся задача? Остается только убедить святейшего отца, что возлюбленный сын его действительно нуждается в поддержке, находясь в критическом положении. Стоило нунцию нерешительно высказать некоторые сомнения, как королева начинала ласково упрекать его в том, что он не беспристрастен. Затем она опять принималась развивать свои доводы. В конце концов, ее речь неизменно заключалась одним и тем же доводом. «Всякому ясно, — говорила королева, — какую огромную важность имеет великая борьба, начатая моим супругом,

для всего христианского мира, для истинной веры и для святого престола. Я не могу допустить и мысли, чтобы папа мог отказать Его Величеству в поддержке. Ведь столько раз, и притом в гораздо менее важных случаях, он великодушно и щедро помогал другим государям». Исчерпав словесные доводы, королева не прочь была прибегнуть и к другим, более действенным аргументам. Однажды в разговоре с нунцием ее глаза наполнились слезами, которые она, видимо, сдерживала с трудом. В другой раз, к великому изумлению Симонетта, почтительная дочь папы нетерпеливо дернула плечом. Эта женская атака продолжалась весь 1610 год. От нежных просьб королева переходила к настоятельным требованиям и обратно. Но уже с февраля 1611 года Констанция больше не заикается о субсидии. Она просит папу только о молитвах, подчеркивая, однако, что во всех своих замыслах король стремится к славе Божией, возвеличению, торжеству и распространению католической веры. Нунцию оставалось только делать вид, что он ничего не понимает и не чувствует в словах королевы ни обидных намеков, ни горькой укоризны.

Но не одна королева Констанция хлопотала о папской субсидии. Не меньше сил тратил на это и маршал Николай Вольский, одно из самых доверенных лиц Сигизмунда. Ему также хотелось так или иначе заставить папу раскошелиться. С этой целью Вольский предпринял поездку в Рим. На приеме у папы он устно изложил Павлу V те мотивы, которые вынудили короля начать войну с Москвой. Он постарался пояснить его святейшеству, на чем основывались притязания Сигизмунда, и почему этот государь надеется на счастливый исход своего дела. Маршал подробно распространялся о великой важности этого предприятия для всего христианского мира вообще и, в частности, для

самой Польши. Папа принял Вольского чрезвычайно любезно. Он осыпал его знаками самого милостивого внимания. Передавая ему меч и шлем для вручения Сигизмунду, Павел V, однако, не заикнулся о денежной помощи со своей стороны. Он только обещал воздействовать в этом направлении на Венецию, Флоренцию и отдаленную Лотарингию. Отказ в субсидии был заявлен в такой изысканно любезной форме, что Вольский не оставил своих надежд. Едва успев покинуть Рим, он уже с дороги надоедает папе и кардиналам письмами. Как и королева Констанция, маршал действует по определенному плану. Он прежде всего выдвигает идею промысла. «Перст милосердного Бога виден во всем, что творится, — пишет Вольский Павлу V из Флоренции 15 марта 1610 года. — Недаром столь легко, без пролития крови и, можно сказать, в добровольном порыве всего народа склоняется перед Его Величеством вся Русская держава». Мы знаем, что истерзанная и изнемогающая Россия не в силах была противиться натиску врага. Но Вольский как будто не видел этого. Он патетически изливал свой восторг, говоря о том, как мерами «кротости» было достигнуто трогательное соединение двух славянских народностей. Сделав это изумительное открытие, он уверял, что единственной заботой его является приобщить папу Павла V к великим делам и славе Сигизмунда. Как же этого достигнуть? Очень просто: пусть папа даст польскому королю денег. Вольский приходил в отчаяние при виде того, насколько равнодушно относится глава римской церкви к вопросу своей чести: он не мог понять, как могут христианские государи так мало помнить о благе истинной веры. Лишь одно служило ему утешением. Он был убежден, что тем или другим путем, но владыка поможет святому делу.

Настойчивость Сигизмунда повергала папу и его правительство в великое смущение. Конечно, Павел V не отказывал в своем сочувствии смелым замыслам короля. Мысль о том, что католик завладеет московским престолом, естественно, улыбалась римскому первосвященнику. Папе хотелось лишь, чтобы Польша на свой собственный счет вела всю эту кампанию, не обращаясь за помощью к Ватикану, финансы которого были далеко не в цветущем состоянии. Павел V нередко жаловался, что при своем вступлении на престол он нашел папскую кассу почти совершенно пустой. Помимо того, по его словам, он был кругом в долгах. Главные его доходы поглощала так называемая «турецкая опасность». Приходилось держать Германию и Италию в боевой готовности против ислама. С другой стороны, нельзя было оставить без помощи и Авиньон, которому после убийства Генриха IV, угрожали гугеноты. Отовсюду обращались в Рим с просьбами о денежной помощи. Папа не знал, как выполнить старые свои обязательства. Можно ли было при таких условиях принимать на себя новые?

Прежде всего в Риме попробовали дать понять Сигизмунду, что ему нечего ссылаться на прецеденты. «Стефан Баторий обещал воевать с турками, а не с русскими, — писал кардинал Боргезе нунцию 10 января 1609 года, — вот почему Сикст V оказал ему поддержку и даже прислал королю 25 000 червонцев». Конечно, в данном случае автору этих строк несколько изменяла память. Так или иначе, но Баторий далеко не упускал из виду и Москвы. Но, по правде говоря, Риму было в то время не до истории. Ему нужно было как-нибудь мотивировать свой отказ в субсидии и представить его в более или менее приличной форме. Павел V откровенно признавался, что у него больше искренней готовности помочь Сигизмунду, чем финансовых

средств, необходимых для этой цели. За неимением лучшего, он не переставал ободрять короля добрыми пожеланиями и всяческим выражением сочувствия. В том же смысле давались инструкции и нунцию Симонетта; при этом кардинал Боргезе упрашивал его не сдаваться. Таким образом, Краков и Рим твердили каждый свое. Поляки просили денег, а папское правительство отвечало отказом.

В 1611 году эти отношения как будто прерываются. Несомненно, однако, что они скоро возобновились. Это случилось тогда, когда Сигизмунду III пришлось снаряжать в Рим специальное посольство. Король с году на год откладывал это дел. Он знал, что с подобной миссией были связаны весьма значительные расходы. Кода же нунций напоминал королю о его обязанности, Сигизмунд давал ему уклончивый, а порой лукавый ответ. «В качестве посланника я отправлю в Рим каноника», — заявил он однажды. Разумеется, Симонетта вежливо отклонил подобное предложение. В конце концов, в 1613 году на епископа житомирского Павла Волуцкого была формально возложена королем почетная миссия в Рим. При этом вместе с выполнением традиционной формы послу было предписано разрешить некоторые практические задачи. Нескромные друзья выдали тайну данных Волуцкому инструкций: полномочия, которыми он был снабжен, стали известны задолго до его прибытия в Рим. Что касается войны с Москвой, то король во что бы то ни стало желал убедить Павла V в формальной и внутренней правоте своих притязаний. Помимо того, он всячески стремился доказать папе, что с его предприятием связаны интересы высшего порядка. Опасаясь завистников, которые могли в ложном свете представить его намерения, король уверенно заявлял, что защищает правое дело. Невзирая на все препятствия, он решил довести

войну до конца; он надеется сломить сопротивление русских и принудить их к заключению мира. Король мягко предупреждал папу, что, может быть, придется сделать некоторые уступки побежденным в области веры. Но, во всяком случае, это будет допущено только для начала; впоследствии, наверное, все это будет покрыто с лихвой новыми победами на той же религиозной почве. Сигизмунд ни словом не упоминал о субсидии со стороны папы. В грамотах Волуцкого король лишь испрашивал разрешения приостановить на время посылку в Рим ежегодных сборов в пользу курии и взыскать с польского духовенства некоторую сумму для покрытия военных расходов. Впрочем, папа нисколько не выигрывал от подобной скромности короля. Ибо тут же было условлено, что Волуцкому будет дана возможность в устных переговорах коснуться некоторых вопросов.

Действительно, посол Сигизмунда сумел вернуться к самому важному вопросу своей миссии. Мало того, он успел достигнуть здесь довольно крупных положительных результатов. Уступая желаниям короля, папа охотно согласился на требуемые финансовые льготы. Он этим не ограничился и обратился к богатейшим польским епископам с приглашением по мере сил оказать своему государю необходимую поддержку. В довершение всего, дабы подкрепить свои слова благим примером, Павел V сам пожертвовал королю 40 000 червонцев. 10 августа 1613 года эта сумма была переведена на имя кардинала Монтальто. К сожалению, признательность короля далеко не соответствовала щедрости римского первосвященника. Дело в том, что Волуцкий опять возбудил вопрос о даровании нунцию Рангони кардинальского сана. Как и раньше, папа отказался пойти на это. Такое упорство Павла V настолько обижало Сигизмунда, что за своим горьким

чувством он забывал обо всем остальном. Душой его все более и более овладевало раздражение против римского первосвященника. Он настойчиво вновь и вновь рекомендовал папе своего кандидата... Наконец, чтобы прекратить это давление, папа счел необходимым напомнить польскому королю об исключительных знаках внимания, которые уже выпали на его долю со стороны римского престола. При этом Павел V не упустил случая сказать несколько слов и о тех денежных суммах, которые от него лично или при его посредстве получил Сигизмунд на свои военные расходы. В сущности, подобное напоминание было не чем иным, как упреком. Это ясно обнаружилось некоторое время спустя. 8 апреля 1617 г. по поводу некоторых слухов, ходивших в Кракове, кардинал Боргезе писал нунцию следующее: «Король выказал слишком мало благодарности к нам за субсидии, которые он получил. При таких условиях было бы весьма странно, если бы он вновь обратился в Рим с подобными просьбами». Вслед за этими укоризненными словами кардинал выражал свое горячее одобрение нунцию, который сумел умерить слишком развязных просителей. Очевидно, теперь королю приходилось оставить всякие надежды на Ватикан. И, действительно, о денежной помощи Сигизмунд больше не заговаривал. Однако он никак не мог забыть о столь милому его сердцу Рангони. Конечно, благочестивый монарх был слишком преданным сыном церкви и чересчур верен своим принципам, чтобы открыто возмутиться против папы. Зато все свое неудовольствие он перенес на ближайшего доверенного папы, кардинала Боргезе. По возвращении из Рима отец Бембо даже не решился представить королю подарки, присланные этим сановником. Он отлично знал, что Сигизмунд не пожелает их принять [1].

[1] Депеша кардинала Боргезе.

## II

Итак, папа оказывался более щедрым на словах, нежели на деле. Так же скупы были и поляки. Когда в 1609 году король объявил Москве войну, большинство сенаторов одобрили его решение. Однако сейм не пожелал вотировать какие-либо чрезвычайные налоги для покрытия военных расходов. Таким образом, Сигизмунд начал кампанию на свой собственный страх и риск. Можно как угодно относиться к такому образу действий; во всяком случае, ему нельзя отказать в смелости. «Единственной надеждой моей, — заявлял король нунцию накануне выступления в поход, — является помощь Всевышнего».

Может быть, впрочем, Сигизмунд полагался на те благоприятные сведения, которые получал он от своих агентов; вполне вероятно, что его ободряли также заманчивые посулы со стороны бояр, его сторонников. Сигизмунд видел перед собой только двух противников — Василия Шуйского и Лжедмитрия II. Первый, царь, уже шатался на своем троне. Другой, самозванец, еще только протягивал жадную руку к короне. Конечно, одолеть того и другого было не слишком трудно. Но подобный триумф отнюдь не знаменовал собой победы над всей страной. Напротив, это было только началом дела. В ослеплении своим эфемерным успехом король впал в тяжелое заблуждение. Он не понял, что за Шуйским и Лжедмитрием II, за боярами польской партии и за беспокойной московской чернью стоит великая страна, Россия. Верная преданиям прошлого, проникнутая непримиримой враждой к иноземцам, она была полна мощных, здоровых сил. Ее не пугали никакие жертвы: она готова была на подвиги героического самопожертвования. Вот почему война затянулась

дольше и оказалась труднее, чем можно было предвидеть; вот почему торжество Сигизмунда было более кратковременным, чем король предполагал.

28 мая 1609 года Сигизмунд выехал из Кракова, чтобы не вернуться туда целых 23 года. Вместе с супругой и с королевичем Владиславом он направился в Вильно. Этот город королева избрала своей резиденцией на все время войны. Таким образом она надеялась быть ближе к театру действий. За двором решил тронуться и нунций. Прошло более двух месяцев в последних приготовлениях к кампании. Только 18 августа Сигизмунд распростился с королевой и во главе своей армии выступил в Оршу. В сырой и туманный сентябрьский день поляки переходили московскую границу. Вдруг солнечный луч прорвался сквозь тучи и ярким светом залил королевскую армию. Раздались восторженные крики. Войско приветствовало своего государя и радовалось хорошему предзнаменованию.

Излишне воспроизводить здесь вновь всю историю этой кампании. Уже не раз о ней повествовали ученые и талантливые историки [1]. Мы коснемся лишь некоторых важнейших ее моментов, из-за связи их с политикой римской курии.

Главным героем войны с Москвой и наиболее выдающимся государственным человеком из среды короля был великий гетман Польши Станислав Жолкевский. Ветеран победоносных походов Батория, он был другом и соратником этого бессмертного завоевателя. Жолкевский не сочувствовал затее Сигизмунда. Однако, призванный королем к участию в кампании, он блистательно выполнил свой долг гражданина и солдата. На долю гетмана выпала самая трудная задача. Сам Сигизмунд принял на себя осаду Смоленска. Что

[1] Главным источником являются донесения Симонетта.

касается Жолкевского, то король отправил его с особым отрядом собрать рассеянные по стране группы поляков и дать сражение Шуйскому, а если понадобится, и Лжедмитрию II. Конечно, это было весьма рискованным предприятием. Жолкевскому приходилось углубляться в неприятельские владения, где враг, бесконечно превышающий поляков численностью, мог окружить смельчаков со всех сторон. Однако если бы план Сигизмуна удалось выполнить, шансы поляков сразу поднялись бы. Подобные предприятия были как нельзя более в духе Жолкевского. Гетман недаром прошел школу Батория. Он отлично сумел организовать разведывательную службу и воспользоваться указаниями шпионов. Благодаря этому 4 июля 1610 года он как снег на голову обрушился на московскую армию, стоявшую в Клушине. В войске Шуйского, кроме русских, находились шведы, французы и немцы. Во главе его стояли Дмитрий Шуйский и Яков Делагарди. Вся армия погружена была в глубокий сон; люди проснулись только тогда, когда польские трубачи дали сигнал к атаке. Завязался жаркий бой. Жолкевский одержал полную победу. Ему досталась огромная добыча. В диком бегстве русские бросили свой лагерь, пушки, знамена, золото и серебро, одежду, дорогие меха... Часть французских и немецких наемников перешла на службу к полякам. Что касается шведов, то с ними был заключен особый договор: с подобающими воинскими почестями они были отпущены к себе на родину. После такого поражения Шуйский остался без армии.

Клушинская победа немедленно отозвалась в Москве. Теперь столице угрожала опасность с двух сторон. Жолкевский стоял лагерем в Можайске. Лжедмитрий II опять спешил к столице, почуяв добычу. Тогда Москва восстала против Шуйского. Пробил роковой час; для

предателя близилось возмездие; измена обращалась против своего собственного героя. Вожакам заговора удалось искусно скрыть свои замыслы. В один прекрасный день на площади были созваны москвичи. У всех на устах было одно и то же — низложение Шуйского... В этом могучем крике выразилась воля народа. У царя не нашлось защитников. Сам он не оказал никакого сопротивления. Покорясь приговору, он бесславно сошел с трона, который занял напрасно, и сложил с себя знаки царского достоинства. Может быть, в его душе жила надежда, что такое смирение предотвратит грозившую ему кару... Однако он ошибся. 7 июля, в 4 часа дня, в дом к Шуйскому пришли бояре. Они заявили бывшему царю, что он должен принять монашество и поселиться в качестве чернеца в обители. Это было равносильно гражданской смерти [1]. Внезапно к Шуйскому вернулась его энергия. Он бурно протестовал против жестокого решения бояр. Пришлось пустить в ход силу... Существует рассказ, что, пока монах совершал над царем пострижение, другой, мирянин, читал за Шуйского сакраментальные слова: сам постригаемый ни за что не хотел произнести эти страшные обеты. Отныне над общественной деятельностью Шуйского был поставлен крест. Насильно оторванного от мирской жизни, его ждала самая горькая судьба. Вслед за мужем была заточена в монастырь и жена Василия Ивановича. Двое братьев его, Дмитрий, разбитый при Клушине, и Иван, были посажены в тюрьму.

В то время как москвичи столь бесцеремонно старались избавиться от своего царя, Жолкевский поддерживал со столицей самые живые отношения. Это

[1] По свидетельству Симонетта, опирающегося на показания Жолкевского, Шуйский был низложен и заточен в монастырь в один день, 7 июля.

позволяло ему быть в курсе всех событий. В начале августа, по сведениям гетмана, в Москве образовалось три партии. Одна высказалась за выборы русского царя; другая поддерживала Лжедмитрия II. Что касается третьей, то, по свидетельству Жолкевского, она была готова грудью стать за Владислава. Душой этой последней группы был князь Мстиславский. Это был наиболее видный представитель московского боярства, превосходивший всех своей знатностью и богатством. Нельзя сказать, что сторонники Владислава представляли собой наибольшую силу. Тем не менее они занимали самое благоприятное положение. Дело в том, что Мстиславский стоял во главе того временного правительства, которое приняло в свои руки власть после низложения Шуйского. Нетрудно было предвидеть, каков будет исход завязавшейся в Москве борьбы. Между столицей и лагерем Жолкевского началась переписка. Затем установились личные отношения и переговоры между сторонами. Словом, кандидатура Владислава с каждым днем приобретала все больше и больше шансов. Впрочем, москвичи предлагали королевичу трон на определенных условиях. Прежде всего, вступая на московский престол, Владислав обязан был принять православие. Государя иной веры Россия никогда не согласилась бы признать. Не желая упереться в тупик, гетман сознательно избегал ответа на такое требование. Он предоставил решение столь деликатного вопроса самому королевичу и его отцу. Однако в свои отношения с Москвой он вложил столько такта, что в конце концов ему удалось выработать условия мирного договора. Правда, этот первоначальный проект еще должен был удостоиться утверждения Сигизмунда. Но, так или иначе, по самому своему существу предполагаемый договор знаменовал собой целый переворот в истории славянских народов. Судьба великой России

вручалась поляку, который должен был воцариться в Кремле. Что же делали москвичи? Недожидаясь ответа Сигизмунда, они начали присягать Владиславу. Только после этого они отправили посольство в Смоленск, чтобы подробнее договориться с королем Сигизмундом.

Между тем великого гетмана ждал новый триумф. Движимая страхом перед шайками Лжедмитрия II и мятежной московской чернью, польская партия предложила Жолкевскому занять столицу. Конечно, только этого и домогался гетман. 9 октября 1610 года он уже пишет королю из Кремля, уведомляя Сигизмунда о своей неожиданной и бескровной победе. Очевидно, Жолкевский чувствовал себя настоящим господином положения. Достаточно сказать, что он добился выдачи ему Василия Шуйского с обоими братьями. Теперь судьба их всецело зависела от него. Надеяться на помощь соотечественников Шуйским было уже нечего.

Несомненно, присутствие Жолкевского в Москве было крайне необходимо. Тем не менее ему пришлось самому отправиться в Смоленск к Сигизмунду. Пока король не утвердил договора и условий избрания Владислава, было преждевременно торжествовать победу. А гетман опасался колебаний и даже предвидел возможность серьезных осложнений с этой стороны. Опасаясь таких препятствий, он и хотел во что бы то ни стало лично переговорить обо всем с Сигизмундом. 8 ноября Жолкевский прибыл в лагерь короля. Вместе с собой он привез Василия Шуйского. Бывший «тиран», как называл его Симонетта, ехал на простой телеге. Это было лучшим свидетельством превратностей судьбы, которая в то время была так немилостива к злополучной России. Последующие дни были посвящены деловым беседам. Сигизмунд осыпал Жолкевского самыми горячими похвалами. Однако победитель

Москвы увидел довольно скоро, что его договор с Москвой едва ли удостоится должного внимания.

В конце того же 1610 года сошел со сцены и другой противник Сигизмунда, Лжедмитрий II. Правда, он был бедствием и для Русского государства. Во всяком случае, от его гибели русские выигрывали больше, нежели поляки. Дело в том, что после смерти Вора процесс национального объединения России пошел ускоренным ходом. Как известно, Лжедмитрий женился на Марине. Однако этот союз не возвысил ни внешнего престижа, ни нравственного авторитета темного искателя приключений. Сами сторонники Вора признаются, что он остался тем, кем и был. Другими словами, Лжедмитрий II был круглый невежда, человек ограниченный и, в довершение всего, пьяница. В конце концов, его презирали все окружающие. Добро бы он отличался хоть какой-нибудь воинской доблестью, способной увлечь массы! Но, оказывается, Вору не хватало самого элементарного мужества. Явные доказательства этого мы видим в тактике Лжедмитрия II. Когда Сигизмунд перешел московскую границу, он не пожелал вступать в переговоры с этим авантюристом. По крайней мере, агенты короля, явившиеся в Тушино, решительно отказывались о чем бы то ни было толковать с самозванцем. Они предпочитали иметь дело либо со своими соотечественниками, которые его поддерживали, либо непосредственно с русскими. Под впечатлением такой обиды у Вора, наконец, открылись глаза. Он понял, что ему нельзя положиться ни на бояр, ни на войско. Каждый день приносил ему все новые и новые унижения. Подозрительность сменилась в его душе ужасом — и вот, не сказав никому, без ведома самой Марины, он решился 6 января 1610 года бежать в Калугу. Впрочем, в стратегическом смысле это место было избрано им весьма удачно.

Бегство Лжедмитрия II вызвало в Тушине скорее удивление, нежели какие-либо чувства. Только для Марины это было тяжким ударом. Теперь она оставалась совсем одна, без всякой поддержки. Что готовила ей судьба среди разнузданного и мятежного войска? Почти сейчас же злополучную царицу осенила мысль просить защиты у своего бывшего государя. В сердце Марины жива была благодарная память о королевской ласке. Дочь Мнишека верила в благородство человеческих чувств... И вот 16 января 1610 года она шлет Сигизмунду письмо, взывая к его великодушию. Изнемогая под тяжким бременем несчастий, молодая полячка, заброшенная в воровской лагерь, покорно склоняется перед волей Провидения. Однако в слова, обращенные к королю, Марина сумела вложить своеобразную силу и гордость. «Я все потеряла, — говорит она королю, — нерушимы лишь справедливость моего дела и права мои на московский престол. Залогом их является мое венчание на царство. Их же получила я и по наследству; наконец, двукратно они освящены присягой». Марина не нуждается в оправданиях. Она возлагает свои надежды на милосердие короля, на его правосудие и благость. Она просит лишь вознаградить ее с семьей за все, что она теряет; и пусть король, как угодно ему, продолжает войну с Москвой[1]. Несомненно, это письмо было доставлено Сигизмунду; однако нам неизвестен ответ короля. Да, в сущности, и задача была не из легких. Дело в том, что, обращаясь к Сигизмунду, Марина одновременно уже задумывалась над тем, как бы соединиться с Лжедмитрием II. В Тушине почуяли это и стали наблюдать за ней; но Марина сумела обмануть бдительность своих сторожей. 2 марта, в военной форме, она, подобно мужу, бежала

[1] Латинский текст этого письма Симонетта переслал к папе.

из лагеря. Царицу сопровождали несколько верных слуг. Сперва Марина направилась в Дмитров. Оттуда она поехала дальше, к Яну Сапеге. Несчастия придали ей мужества. В своем странном наряде, она, с разрешения Сапеги, предстала перед войском и обратилась к нему с речью. Страстный тон царицы, ее слезы и мольбы оказали на слушателей сильное впечатление. Марина составила себе новый отряд и, в конце концов, благополучно достигла Калуги.

В то же время, т. е. в марте 1610 года, тушинский лагерь окончательно опустел. После бегства Вора начатые с королем отношения не прервались. Напротив, пока Марина готовилась скрыться, они завершились формальным договором. По его смыслу, московский престол переходил к Владиславу. Однако обязательная сила этого договора была весьма проблематична. В Тушине воцарилась сначала полная анархия; затем весь тамошний сброд стал рассеиваться в разные стороны. Большинство казаков двинулось к Калуге в поисках нового счастья и новой добычи. Что касается поляков, то они предпочли вступить в соглашение с Сигизмундом и подчиниться его власти. Тушино покинули все; вся жизнь и деятельность его хищного населения сосредоточилась теперь в новой резиденции Лжедмитрия II, т. е. в Калуге.

Несмотря на все свои разочарования, самозванец не пал окончательно духом. Напротив, он уже собирал вокруг себя новые силы. После клушинской победы Вор не потерял мужества. Пока Жолкевский шел к Москве по можайской дороге, он выступил из Калуги, чтобы стать лагерем в Коломенском. При том смятении, которое царило в Москве, сраженной неожиданным ударом, казалось, могли осуществиться самые необычные мечты. И в самом деле, не вмешайся Жолкевский, кто знает, что случилось бы? Однако после

низложения Шуйского бояре условились с великим гетманом, что он даст битву Вору. Самозванец узнал об этом вовремя, чтобы убраться подобру-поздорову. Он поспешно вернулся в Калугу. Тут ждала его трагическая смерть.

22 декабря 1610 года Лжедмитрий II был вне себя от радости. Несколько незначительных крепостей заявили ему, что сдаются. Кроме того, вернулся Петр Урусов с известием, что по пути он разбил несколько разъездов. Решено было как следует отпраздновать столь счастливый день. Для этого в окрестностях города была устроена охота. Дмитрий выехал туда из Калуги. Его сопровождал отряд русских. К ним присоединились еще три сотни татар под начальством того же Петра Урусова. Под личиной преданности этот монгол таил мстительные чувства. Случилось как-то, что Лжедмитрий посадил его в тюрьму. Здесь татарин задумал свести с Вором свои счеты. Правда, вскоре он был прощен и даже получил видное назначение. Однако Урусов не забыл обиды. Случай отплатить Вору представился в этот роковой день. Охотники сделали привал; началась попойка. Вдруг Урусов, который, очевидно, все обдумал и рассчитал раньше, подал татарам условленный знак. Свирепая банда кинулась на Лжедмитрия и искрошила его саблями. Затем убийцы умчались прочь, смяв и перерезав русских, которых было слишком мало, чтобы оказать шайке Урусова какое-нибудь сопротивление. Радуясь, что им самим удалось унести ноги, спутники Вора вернулись в Калугу с печальной вестью.

Сторонники Лжедмитрия пришли в ярость, узнав о предательском убийстве. Бросившись на татар, оставшихся в городе и, очевидно, ни в чем не повинных, они перебили их около сотни. После этого они решили приняться и за поляков. Еле-еле удалось успоко-

ить это возбуждение. Никто не был поражен смертью Вора сильнее, чем Марина. Нежданная беда застигла ее врасплох. В довершение всего, несчастная женщина скоро должна была стать матерью... Марина горько жаловалась на свою судьбу; она умоляла, чтобы ей позволили разделить участь злополучного супруга. Некоторым утешением для бывшей царицы явилось рождение сына. Марина поручила его заботам и охране своей русской свите. Было решено, что он явится наследником отцовского престола. До нунция дошли вести, что младенец был крещен по греческому обряду; при этом ему было наречено имя Ивана Дмитриевича.

Между тем Жолкевский, покрытый славой, все ближе и ближе подходил к Москве. Что касается короля, то он еще не мог похвалиться ни одним сколько-нибудь крупным успехом. Кратковременного пребывания под стенами Смоленска было для него достаточно, чтобы убедиться в слишком малой своей осведомленности о действительном положении дела. Король надеялся, что эта крепость сама откроет ему свои ворота. Оказалось, что она менее всего склонна к капитуляции. Перед Сигизмундом высились толстые каменные стены. Над ними царили 38 башен. Эта твердыня была почти неприступна, ибо путь к ней перерезывался холмами и оврагами. Поляки потребовали было добровольной сдачи. Гарнизон Смоленска отверг эту мысль с самым великолепным презрением. Пришлось готовиться к длительной осаде. Войско Сигизмунда принялось за земляные работы; время от времени делались попытки штурма. Потянулись месяц за месяцем. Осажденные не сдавались. Наиболее благоразумные из советников короля предлагали ему снять осаду и идти прямо на Москву. Там его войско соединится с Жолкевским, который успел уже завладеть Кремлем. Таким образом, вместе с королевичем Владиславом Сигизмунд

утвердится в самом сердце страны. Смелость этой идеи говорила в ее пользу. Однако для короля было, очевидно, вопросом чести — не двинуться с места, пока он не возьмет Смоленска. Не меньшее упорство проявляли и осажденные. Сколько раз пытались поляки пробиться в ворота крепости, взобраться на ее стены или хотя бы поджечь Смоленск! Русские неизменно отбивали их с тяжким уроном. Они гибли от неприятельского огня, от болезней и лишений всякого рода, и тем не менее крепость держалась. Лишь изредка в лагерь поляков являлись перебежчики. Это были люди с желтыми, истомленными лицами, опухшие от голода и других физических страданий. Все они свидетельствовали, что, несмотря на ужасы осады, гарнизон Смоленска героически выполняет свой долг. Однако к концу 1611 года Сигизмунд решил сделать попытку генерального штурма. Несомненно, королю не хотелось предстать перед сеймом с пустыми руками. Поляками была искусно подведена мина к Смоленску. При ее взрыве часть стены рухнула, открыв широкую брешь. Тотчас со всех четырех сторон войско Сигизмунда бросилось на приступ. Полякам удалось прорваться в город. Немедленно Смоленск обратился в море огня и крови. Теперь сопротивление было уже невозможно. Впрочем, воевода Шеин, засевший в одной из башен, сдался врагу лишь после отчаянной обороны. Вскоре над твердынями Смоленска развевались польские знамена. Во всяком случае, русские потерпели почетное поражение. Полякам помогло лишь счастье. Сигизмунд был чрезвычайно доволен. 25 июня он шлет к Павлу V грамоту, на которой стояла пометка: ex arce mea Smolensco. Получив это послание, папа горячо поздравлял и короля, и супругу его Констанцию [1].

[1] Копия королевского письма помечена 26 июня 1611 г.

Теперь Сигизмунд мог вернуться победителем. Прежде других городов его приветствовала Вильна. Королева и Владислав выехали к королю навстречу. Город украсился триумфальными арками. Нунций Симонетта произнес в честь короля целую речь, а ученики иезуитских школ декламировали стихи, прославляя своего государя. Торжество закончилось в церкви бернардинцев, где исполнено было великолепное Te Deum. Впрочем, все это было только прелюдией. Еще более восторженный прием оказан был Сигизмунду в Варшаве. Кульминационным моментом здешних оваций было представление королю пленного Василия Шуйского и его двух братьев. В трогательной речи Жолкевский вверял несчастного русского царя милосердию Сигизмунда. Со своей стороны, король выразил радость по тому поводу, что его пленники попали в руки христианина, а не какого-нибудь варвара. Конечно, это было слабым утешением для Василия Шуйского. Ведь этот человек видел, как рушилось все его дело. Сам он служил трофеем для победителя. В лице своего бывшего царя Россия униженно склонялась перед торжествующей Польшей.

Все это происходило 19 октября 1611 года на глазах сейма, который заседал в Варшаве уже с 27 сентября. Высокому собранию предстояло высказаться о русских делах. От него же зависел вопрос и о новых налогах. Понятно, что Сигизмунд уже давно и усердно старался подготовить для себя с этой стороны благоприятную почву. Обращаясь к сеймикам, он стремился представить свои планы в самом заманчивом свете. Подчеркивая свои успехи, он внушал депутатам мысль, что достигнутые им результаты являются залогом окончательного и полного покорения России. Тут же Сигизмунд оговаривался, что завоеванное им государство отнюдь не должно явиться личной собственностью его

самого или королевича Владислава. Все, что будет приобретено, сделается достоянием Речи Посполитой. Конечно, от Польши потребуются известные жертвы, зато выгоды ее будут неисчислимы [1].

Слова короля произвели свое действие. Общественное мнение склонилось в его пользу. Этот поворот сказался и в вотуме сената. В 1605 году в ушах у сенаторов еще звучала громовая речь Замойского. Вот почему большинство сановников высказалось тогда против войны с Москвой. 8 октября 1611 года все 23 сенатора, с Мнишеком в том числе, единодушно выразили свое одобрение действиями Сигизмунда. После всяческих восхвалений своего государя сановники решили, что impesa di Moscovia (выражение нунция) необходимо продолжать во что бы то ни стало. Разумеется, об этой кампании нужно сообщить другим христианским государствам, и особенно Его Святейшеству. Для успешного же ведения дела надобно собрать возможно большие суммы налогов, уплатить войску задерживаемое жалованье и позаботиться об изыскании средств на будущее время.

Некоторые из сенаторов пошли в своем рвении еще дальше. Они напомнили собранию, что король истратил на ведение войны миллион сто тысяч из собственных средств (эту цифру сообщает нунций); разумеется, государство должно вернуть Сигизмунду эту сумму. Это был весьма щекотливый вопрос. Он имел серьезное принципиальное значение. Разве сам король не превысил своей власти, когда объявил войну без согласия сейма? Не лучше ли было предупредить на будущее время подобные злоупотребления, установив новые нормы конституционного права для Польши?

[1] 1611 г., 12 июня, Сигизмунд III к Вольскому; 1611 г., 2 августа, Вольский к Павлу V.

Ригористы сената стояли именно на такой точке зрения. Однако среди их коллег нашлись более миролюбивые люди: они не хотели никаких нововведений и всецело оправдывали образ действий короля. При этом они ссылались на данную королем клятву — вернуть Польше захваченные у нее области; помимо того, приведено было «много других серьезных доводов в пользу короля», как несколько неопределенно выражается нунций. Во всяком случае, большинство депутатов были вполне на стороне короля и его политики. Блестящим доказательством этого явилась речь великого канцлера и сами результаты голосования. Обращаясь к делегатам сеймиков, епископ Лаврентий Гембицкий убеждал их последовать примеру сенаторов. Пусть они единодушно поддержат идею войны с Москвой. Пусть, таким образом, исполняются неисповедимые предначертания Промысла. Может быть, плодом всего этого дела явится создание великой сарматской державы: во главе ее станет один государь; господствовать в ней будет единая, святая католическая вера. Однако эти громкие слова смогли убедить слушателей лишь наполовину. Сейм одобрил войну с Москвой; что касается субсидий, то они были вотированы в очень скромных размерах. Притом же известная часть этих сумм должна была пойти королю, в погашение понесенных им расходов. Тем не менее impesa продолжалась [1].

## III

Свою кампанию против России Сигизмунд вел с двух сторон. Не слагая оружия, он действовал и путем

[1] 8 октября Симонетта к Боргезе, две депеши.

дипломатии. Военные операции не мешали ему сноситься с польской партией московских бояр. Впрочем, здесь шансы короля на успех были невелики. Камнем преткновения для обеих сторон являлось избрание Владислава. Как мы знаем, москвичи уже успели дать ему присягу; теперь они требовали его прибытия в столицу. Однако Сигизмунд не хотел отпускать сына. Король твердо решил сам стать на место Владислава, хотя бы лишь на первых порах, и таким образом временно захватить власть в свои руки. Еще менее спешил Сигизмунд высказаться определенно относительно условий, поставленных Москвой вновь избранному царю. Король запросил по этому поводу папу в самый последний момент. Ответ римского первосвященника представляет большой интерес. Он бросает яркий свет на всю политику курии.

Уклоняясь от прямых решений, король вел опасную игру. В этом его скоро убедили события. После отъезда Жолкевского, на Святой, в апреле 1611 года в Москве разыгрались кровавые сцены. Москвичам надоели поляки: они хотели сами быть хозяевами у себя дома и желали отделаться от постылых гостей. Поляки подметили это настроение. Очевидно, они были не так беспечны, как Названый Дмитрий. При первых признаках мятежа они вышли из Кремля, зажгли город и начали избивать и грабить население. Затем они вернулись в крепость и заперлись там с богатейшей добычей и большим запасом всего, что нужно для пропитания. После этого польский гарнизон оказался как бы во вражеской стране. С минуты на минуту ему приходилось ждать расплаты. Между тем волновалась не одна Москва. Во всей России начиналось грозное национальное брожение. Центром его являлась Троицкая лавра. Недаром сумела она отразить победоносно приступы Сапеги и Лисовского и выдержать продол-

жительную и страшную осаду. Пламенные послания расходились из монастыря во все стороны: повсюду, не исключая самых глухих углов, зажигали они огонь патриотического воодушевления. Лавра призывала всех добрых людей взяться за оружие и изгнать иноземцев. Пора положить конец смуте; время прийти на помощь измученной родине. Эти слова находили живой отклик в сердцах. Их обаяние еще крепло благодаря обращению к религиозному чувству народа, встревоженного слухом об избрании католика на московский престол. Казалось, сама земля родит несметные рати защитников родины. Все наперерыв спешили пожертвовать собой для блага отчизны. Эти грозные силы стягивались вокруг Минина и Пожарского. В Варшаве поляки торжествовали свою эфемерную победу. Между тем около Москвы собиралась стихийная народная сила. Поддерживая мужество москвичей, она железным кольцом охватывала поляков, засевших в Кремле.

Национальное движение принимало угрожающие размеры. Однако Сигизмунд не беспокоился. Ему все еще казалось, что справиться с народом для него не представит никакого труда. В конце концов, впрочем, король убедился, что имя Владислава звучит для русского уха привычнее, нежели Сигизмунд. Решив, что пора избраннику явиться к своим избирателям, польский король приказал гетману литовскому, Ходкевичу, подойти к Москве: в конце 1612 года он уже совсем было собрался сам отвезти туда сына. Насколько далек был король от понимания серьезности положения, свидетельствует то, что, отправляясь в Москву, он вместо армии взял с собой небольшой отряд. Эту охрану король содержал на свой собственный счет. По прибытии Сигизмунда в Вязьму, он получил весьма неприятные вести: истомленные усталостью, голодом и лишениями всякого рода поляки, засевшие в Кремле,

сдались. Столица вместе с крепостью была теперь в руках русских. Таким образом, поставить народное ополчение между двух огней было уже немыслимо. Мало того, приходилось отказаться от всяких отношений с московскими единомышленниками.

И что же? С упорством, которое всегда характеризовало Сигизмунда, он неуклонно шел вперед. Так он достиг Волоколамска. Здесь, наконец, король прозрел. Прибытие Владислава совсем не напоминало собой победоносного вступления государя в свои владения. Какая разница с триумфальным шествием Дмитрия! Вместо того чтобы встречать своего царя, народ запирался в города; а эти города преграждали полякам дальнейший путь к Москве. Сигизмунд послал в столицу своих агентов. Их без дальних слов выпроводили оттуда. Очевидно, договариваться было не с кем: бояре, сторонники Владислава, куда-то исчезли... Таким образом, Сигизмунд стоял перед враждебной ему столицей; при нем была самая жалкая охрана; тут же находился новый царь, отвергаемый своими подданными. Начинались холода; припасы войска истощались. Король понял, что он — на краю пропасти. Он измерил взором ее глубину и, наконец, решился. Ясно было, что нужно немедленно вернуться в Польшу вместе с Владиславом. Намеченные планы приходилось пока оставить: к ним Сигизмунд надеялся возвратиться при иных, более благоприятных обстоятельствах.

Отступление Сигизмунда спасло Россию от гибели. Среди ужасной смуты, несмотря на жестокую борьбу партий и отчаянное соперничество личных страстей, русский народ избрал себе государя и тем положил конец междуцарствию. Он был коронован в Москве в июле 1613 года.

Воцарение Михаила рушило все мечты королевича Владислава о московском престоле. Разумеется, боя-

ре не замедлили дать это понять Сигизмунду; при этом они предложили ему заключить мир и произвести обмен пленными. В числе последних находился отец молодого царя, Филарет. Как мы знаем, он был отправлен в Варшаву в качестве посла; там его задержали, как военнопленного. Конечно, это было тяжким ударом для любящего сына.

Отношения с Польшей завершились, в конце концов, новой войной. Прежде чем она привела к более или менее определенным результатам, Михаилу пришлось считаться с новым соискателем престола, бывшим еще в колыбели. В Калуге провозгласили царем младенца — сына Марины. Теперь его мать была заодно с Заруцким. А мы знаем, что этот человек был способен на все и не останавливался ни перед какими препятствиями. Мы уже упоминали о нем несколько выше. Заруцкий был атаманом донских казаков; его единственным богатством была сабля. За помощь, оказанную Лжедмитрию II, он был обласкан и осыпан милостями со стороны самозванца. В пору междуцарствия ему пришлось играть довольно заметную роль. Затем, после избрания Михаила Романова, Заруцкий объявил себя сторонником сына Марины. Новому правительству удалось настигнуть его и нанести ему поражение. Тогда он бежал в Астрахань, откуда начал агитировать против молодого царя среди татар и персов. Однако защитники законного порядка вытеснили его и отсюда. Заруцкий бросился дальше на восток, захватив с собой Марину, маленького Ивана и несколько сотен казаков. Правительственные войска пустились за ним в погоню: им было приказано захватить его живым или мертвым. Очевидно, беглецы не слишком торопились. Скоро они были настигнуты и, видя себя окруженными, решили выдать самого Заруцкого, Марину, младенца Ивана и какого-то монаха Николая,

как сообщает нам один памятник той эпохи. Конечно, не могло быть и речи о пощаде таких пленников. Заруцкий был посажен на кол в Москве. Что касается Марины, то с тех пор ее следы теряются. Настигла ли ее насильственная смерть? Пришлось ли ей влачить плачевное существование в глубине темницы или в келье какого-нибудь монастыря? Никто не знает этого. Среди бернардинцев сохранилось предание, будто несчастная дочь Юрия Мнишека была утоплена в реке. Такая же судьба выпала будто бы на долю всей ее свиты, не исключая отца Антония. Очевидно, духовник несчастной царицы до конца остался ей верен.

Впрочем, уже со времени брака Марины с Лжедмитрием II вся жизнь ее одета покровом тайны. Вероятно, пережитые потрясения оказались роковыми для юного существа, измученного скитаниями вдали от родины и испытавшего на себе жестокие удары судьбы. Надо заметить, что история была столь же беспощадна к Марине, как и сама действительность. Как польские, так и русские писатели осыпали ее самыми тяжкими обвинениями. В глазах этих судей детище самборских бернардинцев оказывается существом без стыда и совести. Сам патриотизм Марины подвергается сомнению. Зато ей приписывается необузданное честолюбие, готовое на всевозможные жертвы во имя миража царской власти, предназначенной ее сыну. В ослеплении своими тщеславными мечтами Марина будто бы пренебрежительно отвергла милостивые предложения Сигизмунда III. Мирной, но безвестной жизни она предпочла отчаянную погоню за счастьем. Говоря по правде, действия Марины свидетельствуют скорее против нее, нежели в ее пользу. Так ясно мы представляем себе эту наездницу в мужском платье, со свитой из лихих казаков. Героиня больших дорог, она бешено скачет, собирая вокруг себя темных искателей приключений...

Но кто скажет, в какой мере Марина была свободна или, напротив, связана чужой волей в своих поступках? Являлась ли она жертвой собственных страстей, или же ее просто подхватил и унес вихрь событий? Мы уже знаем, какое рассудительное и полное достоинства письмо она отправила к королю 16 января 1610 года. После этого голос несчастной царицы замолкает. Никому, в сущности, неизвестно как следует, какие речи вела с тех пор Марина; никто не может сказать, какими обещаниями или угрозами старались пленить ее или запугать. Во всяком случае, между Самбором и Астраханью лежит целая бездна. По этому страшному пути пришлось пройти молодой, одинокой женщине. Условия, среди которых она жила это время, были самыми ужасными. Неужели, испытав все это, Марина не может рассчитывать на снисхождение ввиду обстоятельств, смягчающих ее вину? Нет, справедливость требует, чтобы судьи считались с этими данными — по крайней мере, до тех пор, пока не будет произведено дополнительное следствие.

Каков бы ни был конец Марины, ее исчезновение избавило Михаила Романова от одной из многих опасностей или, по крайней мере, забот. Власть молодого царя, созданная самим народом, пережившим глубокий кризис, мало-помалу укреплялась. Вся Россия смыкалась вокруг него, как около национального стяга. Однако Сигизмунд ни за что не хотел примириться с утратой столь богатой добычи. В глазах польского короля Михаил был едва ли не поповичем — вообще, человеком далеко не блестящего происхождения. Сигизмунд считал его ребенком, не способным к управлению государством. Он был убежден, что на московский престол этого государя возвела чернь против воли знати. Король открыто говорил, что подобное избрание он считает величайшим беззаконием. Единственным

правомочным царем является Владислав. Ведь народ уже присягал ему, а знатнейшие бояре и доныне продолжают звать его в Москву. Во всех неудачах своего сына Сигизмунд винил враждебных ему интриганов. Не будь их, Владислав уже давно носил бы русскую корону и трудился бы над приобщением своей новой державы к семье европейских государств.

Таковы были представления Сигизмунда о России, едва пережившей ужасы междуцарствия. Между тем никогда ненависть русских к полякам и к латинству не достигала такой силы, как именно в эту пору. В том же духе высказывался польский король и при свиданиях своих с императором Матвеем, которого русские избрали как бы третейским судьей для прекращения изнурительной борьбы с Польшей. Император самым серьезным образом отнесся к своей роли. Распространяясь на тему о коварных случайностях войны, он осторожно давал понять Сигизмунду, что лучшим средством восстановить мир между обоими державами было бы признание Михаила законным государем. Но при одной мысли об этом Сигизмунд выходил из себя. Он слал в Вену одно письмо за другим; он заставлял королевича Владислава вести такую же переписку; ему казалось, что император не обнаруживает достаточного беспристрастия в решении спора. В конце концов, впрочем, Сигизмунд согласился на посредничество Матвея, хотя и сомневаясь в действительности такого способа уладить дело. Как нарочно, дипломатические переговоры между сторонами завершились полной неудачей. 6 апреля 1616 г. Сигизмунд не без самодовольства заявляет, что все его предсказания оправдались. Чего же ждать от этих варваров с неверной душой — как он называет русских! В этих словах уже таилась угроза. Действительно, четыре месяца спустя, 23 июля того же года, Сигизмунд объявил импера-

ру, что сейм санкционировал войну Речи Посполитой с Москвой.

В среде польской молодежи царило воинственное возбуждение. Цвет ее последовал за Владиславом, который на этот раз сам стал во главе армии. Надо заметить, что королевич был счастлив избавиться от отцовской опеки. Расправив свои крылья, королевич заявил, что он скорее умрет, чем вернется к однообразию варшавской жизни. Стремясь мечом приобрести себе царство на севере Европы, Владислав имел в виду двоякую цель. Во-первых, он уходил от семейных неприятностей; во-вторых, он создавал себе независимое и блестящее положение. Честолюбивые мечты королевича залетали далеко. Очевидно, он разделял иллюзии своего отца. Во всяком случае, он счел долгом открыть свою душу папе и испросить у него заранее кое-какие разрешения. Удивительно, как торопился Владислав с этим делом!

Королевич, столь неожиданно принявший на себя роль завоевателя, был непоколебимо уверен в том, что ему придется короноваться в Кремле. Из-за этого он заранее хочет предусмотреть все подробности предстоящего ему обряда. Владислав находился почти в таком же положении, что и злополучный Лжедмитрий I. Разница заключалась лишь в том, что один был тайным католиком, тогда как другой открыто исповедовал эту веру. Подобно своему предшественнику, королевич опасался оскорбить религиозное чувство православных русских людей демонстративным выполнением в Москве обрядов католического культа. Ему хотелось вступить на царский престол, не афишируя своих вероисповедных симпатий и ничем не омрачая радости своих новых подданных. Где же найти золотую середину? Таков был вопрос, который старались разрешить и сам Владислав, и вся его свита. Одни советники

королевича обнаруживали непреклонный ригоризм. Другие, напротив, высказывались за необходимость самых широких компромиссов. К последнему мнению примыкал, между прочим, проповедник короля отец Бембо. Обе стороны согласны были в одном, а именно, что необходимо представить данный вопрос на благоволение папы и затем подчиниться его решению. В сущности, так же действовал и Мнишек, когда ему нужно было улаживать дело Лжедмитрия I. Инициатива обращения в Рим, естественно, должна была принадлежать Владиславу. Случай для этого представлялся сам собой. Королевич готовился принять огненное крещение войны. При подобных условиях было как нельзя более уместно заручиться благословением римского первосвященника, как это приличествовало отпрыску династии, исповедующей католицизм. 6 апреля 1617 года молодой завоеватель обратился с соответствующей просьбой в Рим. Он заявлял, что намерен послужить своим мечом вере и родине. За первым посланием Владислава в тот же день было отправлено второе. Оно касалось предстоящей Владиславу коронации. Редакция этого письма принадлежит самому королевичу. Однако в его словах ясно чувствуется влияние отцовских настроений. В главных чертах содержание этого документа сводилось к следующему.

«Предки мои, — пишет Владислав, — понимали, какую великую важность имело бы возвращение русских в лоно христианской республики и католической церкви. Но, по большей части, у них не было средств осуществить это дело. В настоящее время условия действительности слагаются более благоприятным образом для нас. Прежняя династия московских государей прекратилась. Все классы русского общества высказались за мое избрание. Правда, дело сильно затянулось; тем не менее значительное число московских людей и

поныне сохраняют мне верность. Вот почему мы решили использовать столь удобный момент. При этом мы надеемся не только расширить границы Польши, но и раздвинуть область христианской республики и распространить католическую веру. Со своей стороны, я спешу выполнить предначертания Промысла и повинуюсь воле моего отца».

Однако, стоя на рубеже, за которым открывается столь блестящее будущее, королевич видит перед собой весьма серьезные затруднения. Как известно, русские всей душой преданы своим религиозным обычаям. Владислава ожидает коронование в Москве. По этому поводу его будущие поданные могут предъявить некоторые требования, с которыми необходимо заранее считаться. Принимая тон человека, прекрасно осведомленного о значении обрядов церкви и об отношении их к догматам веры, Владислав вполне определенно формулирует сущность своей просьбы. Прежде всего он высказывает категоричное желание, чтобы ему было предоставлено как угодно сообразоваться с обрядами греко-униатской церкви. Ведь короновать его будет, наверное, епископ-униат; в таком случае, королевич вкусит причастие под обоими видами. Впрочем, допуская, что обряд коронования может совершить, по требованию русских, какой-нибудь православный иерарх, Владислав в этом случае просит папу о разрешении пойти на уступки. Так или иначе, он обращается к нему за советом и указанием.

Письмо Владислава поднимало национальные и религиозные вопросы чрезвычайной важности. Обращение к обрядовым формам греко-униатской церкви могло знаменовать собой новую эру в истории отношений латинского Запада с православным Востоком. При таких условиях между главой римской церкви и великой Русской державой сразу устанавливалось вполне

определенное общение. Конечно, как та, так и другая сторона должны были бы сойтись на одних и тех же формах культа; такое богослужебное единство, конечно, могло бы облегчить и дело догматического примирения. Подобный компромисс был вполне в духе Флорентийского собора, решения которого подготовлялись уже в Бресте. Однако, по-видимому, в Риме не поняли, какие широкие перспективы открывались при такой постановке вопроса. То, о чем просил Владислав, принято было за казус чисто вероисповедного свойства, который приходится рассматривать исключительно с богословской точки зрения. Впрочем, Павел V решил сам заняться этим делом. По его распоряжению, были собраны требуемые справки, после чего вопрос был передан на заключение св. Инквизиции. Это было в июле 1617 года. Членам высокого судилища было предложено высказаться по трем пунктам. Во-первых, может ли Владислав согласиться на коронование при участии православного иерарха, принимая во внимание благо всего христианского мира? Во-вторых, дозволительно ли разрешить ему причащение под обоими видами? В-третьих, наконец, допустимо ли, чтобы, в крайнем случае, королевич выполнил и все другие обряды восточной церкви?

Вопросы, поставленные таким образом, не заключали в себе, собственно говоря, ничего нового или неожиданного. Для того чтобы решить их, нужно было только справиться, какие резолюции были еще так недавно приняты в аналогичных делах Сигизмунда III или Названого Дмитрия. Несомненно, отвечая папе, инквизиционный трибунал руководился этими данными; впрочем, он подкреплял их ссылками на постановления церковных соборов — Лаодикийского, Карфагенского и Латеранского. Выходило так, что вся позднейшая практика слагалась в соответствии с этими

каноническими традициями. В том же смысле высказывались и знаменитые авторитеты богословской науки; наконец, те же истины были запечатлены кровью мучеников... Во всяком случае, вопросы Владислава могли служить темами целых трактатов. И надо отдать справедливость Инквизиции. Она позаботилась о возможно более солидном документальном обосновании своих выводов, хотя по всем трем пунктам ее заключения были непримиримо отрицательного свойства. Впрочем, члены трибунала кое-что оставили и без ответа. Как мы видели, Владислав исходил из двоякого предположения: с этим, однако, совершенно не считались его судьи. Они все время имели в виду, что иерарх, совершающий коронование, будет православным, между тем как королевич допускал в этом случае и участие греко-униатского епископа.

Ответ самого папы был гораздо полнее и уже не оставлял ничего недоговоренного. Конечно, с первых же слов Павел V в самой категоричной форме поддерживал резолюцию инквизиторов, касавшуюся того случая, когда обряд коронования будет совершать православный иерарх. При таких обстоятельствах, заявлял папа, мы воздерживаемся давать какие бы то ни было разрешения или санкции. Другое дело, если венчать Владислава на царство будет греко-униат. Его участие папа признавал весьма желательным, причем допускал, чтобы Владислав причастился под обоими видами. Так или иначе, подобное разрешение Рим давал всего-навсего на один раз, да и то скрепя сердце. Папа и не думал скрывать своих желаний. Разумеется, все его симпатии были на стороне католического ритуала; если бы это было возможно, папа предпочел бы, чтобы помазание Владислава на царство было совершено католиком; пусть королевич примет святое причастие по правилам западной церкви и, вообще, не будет

допущено никаких отступлений от начал римско-католического обряда. Имея в виду такой исход, Павел V заранее указывал и лицо, которое должно будет совершить коронование в Кремле: это был епископ житомирский Андрей Липский, которому папа предоставлял все необходимые полномочия. По-видимому, римский первосвященник не находил ничего невероятного в том, что на московский трон сядет католик, который будет царствовать над православной страной. Напротив, папе казалось, что осуществить все это не так трудно: стоит только как следует взяться за дело. Однако, как и римские инквизиторы, Павел V не выходил за пределы данного вопроса. То, о чем ходатайствовал Владислав, представлялось ему казусом совершенно частного свойства, не имеющим никакой связи с общими задачами будущего соединения церквей. Таким образом, в самом существенном пункте польский королевич сталкивался с теми же неодолимыми преградами, перед которыми пришлось остановиться и Лжедмитрию I.

Пока в Риме рассуждали о богословских вопросах, Владислав уже выступил в поход. Папа не пожелал прямо и непосредственно ответить королевичу на его вопросы. Он ограничился извещением, что заключения курии будут сообщены Владиславу через нунция. При этом были пущены в ход все средства, чтобы дать понять молодому завоевателю невозможность дальнейших уступок. Особенно старались внушить Владиславу мысль о неуместности излишней настойчивости с его стороны. Краковскому нунцию Франческо Диоталлеви, епископу Сант-Анджело, было предписано никому не показывать текста папской депеши. Пусть он составит извлечение из нее и передаст его Владиславу — на отдельном листе и даже без подписи. Конечно, нашлись посредники-добровольцы, которые охот-

но взялись пояснить королевичу, каковы границы и сущность сделанных Римом уступок. Таким образом, все обошлось как нельзя лучше. В это время Владислав находился в Вязьме. Первые шаги его на военном поприще оказались довольно удачными: королевич был преисполнен самых радужных, хотя и несколько преждевременных надежд. При таком настроении все представлялось ему в розовом свете. Так же отнесся он и к решениям, сообщенным ему от лица папы [1].

Впрочем, Владиславу так и не пришлось воспользоваться уступками, которые сделал для него Ватикан. Несмотря на помощь казаков, вооруженные силы королевича были слишком незначительны. В денежных средствах он также ощущал недостаток. При таких условиях, естественно, ему не удалось овладеть Москвой. Наступательные действия его встретили могучий отпор. В конце концов, Владиславу пришлось начать с русскими переговоры. 1 декабря 1618 года, по старому стилю, в Деулине был заключен мир на четырнадцать лет. Условия его были более выгодны для поляков, чем они сами могли рассчитывать. За Польшей остались столь важные укрепленные пункты, как Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и др. Очевидно, русские были слишком истощены для того, чтобы вести дальнейшую борьбу. Зато со своей стороны они добились освобождения Филарета Романова и получили обратно несколько захваченных поляками крепостей. Честь обеих сторон была соблюдена. Однако историческая тяжба двух славянских народностей далеко еще не была окончена.

[1] 1617 г., 1 сентября. Диоталлеви к Боргезе.

# Глава II

# НЕМНОГО КРИТИКИ

Первые годы XVII века именуются, обыкновенно, Смутным временем. В самом начале этой мрачной поры центральную роль на исторической сцене играла загадочная личность, называвшаяся царевичем Дмитрием. На предшествующих страницах мы уже постарались изобразить ее необычную судьбу. Кто же был этот человек? Являлся ли он подлинным сыном Ивана IV или был гениальным авантюристом? Одно ли он лицо с пресловутым Гришкой Отрепьевым, или, напротив, не имел с ним ничего общего? Этот вопрос остается открытым вот уже целых три столетия. И в настоящее время мы еще не можем решить его окончательно. Пусть так. Как бы ничтожны ни оказались положительные результаты его исследования, как бы ни трудно нам было избежать повторений, мы, во всяком случае, должны еще раз пересмотреть эту историческую проблему. Сам факт существования Названого Дмитрия представляет капитальную важность. Это явление не могло не наложить своего отпечатка на ход тогдашних событий.

Порой кажется, что Дмитрий Угличский самой судьбой был предназначен для того, чтобы мистифицировать историков. Несколько лет спустя после его гибели, когда со смертью царя Федора московский престол опять остался вакантным, один польский агент доносил в 1598 году канцлеру литовскому Льву Сапеге, что

Борис Годунов держит у себя в доме мальчика, отличающегося поразительным сходством с царевичем Дмитрием: очевидно, этот ребенок должен был играть роль безвременно погибшего сына Ивана IV. В связи с этим, по словам польского шпиона, какого-то несчастного подвергли пытке. Некоторым боярам, беспокоившимся о будущем, удалось вырвать у него признание, что, по приказу Годунова, он умертвил маленького царевича. Во всяком случае, смерть законного наследника Грозного считалась свершившимся фактом. Странные толки о нем уже давно стали забываться... Вдруг в Польше появился таинственный Дмитрий. Как же отнеслось к нему русское общественное мнение? Взгляды соотечественников царевича разделились. Одни готовы были признать в лице претендента законного и полноправного сына Грозного. Другие называли его вором и самозванцем. Однако наступил момент, когда перед Дмитрием склонилась вся Россия. Европа заговорила о нем с изумлением. Затем разразилась катастрофа. Реакция против всеобщего увлечения была тем сильнее, что к делу примешались чисто партийные счеты. Обнаружилось, что погибший царь вел переговоры с папой, краковским нунцием и с иезуитами. Враги Дмитрия захватили всю его корреспонденцию. Она была предана гласности, и, конечно, получился скандал. Вслед за русскими за Дмитрия принялись протестантские авторы. В изображении этих немцев, голландцев и англичан злополучный царь оказывается каким-то чудовищем, которое создал католицизм в надежде утвердить свою власть в России. Всякий изобретал то, что ему было нужно. Немудрено, что на некоторое время о Дмитрии, как о подлинном сыне Ивана IV, почти не было речи. Однако скоро на сцену опять выступили защитники этой загадочной личности. По их словам, дело Дмитрия еще далеко не проиграно. Рано или

поздно, они представят такие свидетельства в его пользу, перед которыми противникам придется окончательно капитулировать. Следует заметить, впрочем, что в настоящее время нам известны такие данные, из которых приходится вывести совершенно противоположное заключение. По-видимому, они неопровержимо свидетельствуют о том, что Названый Дмитрий и не думал быть сыном Ивана IV.

Попробуем же, наконец, разобраться в этом вопросе. В сущности, все данные, говорящие в пользу тождества Дмитрия I с жертвой угличской катастрофы — последним отпрыском династии Рюриковичей, — сводятся к одному главному источнику. Мы имеем автобиографию Дмитрия, которую тот рассказал князю Адаму Вишневецкому; как известно, последний в особом донесении сообщил ее королю. До сих пор этому документу не уделялось должного внимания; никто не оценил достойным образом его исключительной важности. Правда, рассказ Дмитрия был известен Костомарову, который пользовался несколько искаженной версией Товиановского. К сожалению, автор монографии не дал себе труда обратиться к первоисточнику, т. е. к ватиканской редакции, изданной Новаковским, хотя и с некоторыми сокращениями и неверной датой — 1606 год. Вообще, историческое значение автобиографии Названого Дмитрия представлялось Костомарову весьма второстепенным. А между тем дело обстоит иначе. Впрочем, условимся первоначально относительно предмета спора. Конечно, мы не говорим о достоверности показаний Дмитрия. То, что он сообщает Вишневецкому, представляет местами слишком очевидный вымысел. Совсем не намерены мы и полемизировать из-за личности автора. Мы вполне допускаем, что весь этот рассказ мог придумать за Дмитрия кто-нибудь другой. Нас занимает совсем иной вопрос. Мы хотим

знать, можно ли отождествить автобиографию Дмитрия с теми данными, которые были представлены Сигизмунду, сообщены затем сенаторам и впоследствии послужили основой для всех дальнейших споров по этому поводу? Если этот вопрос решается утвердительно, мы располагаем документом огромной важности. Перед нами, так сказать, паспорт Дмитрия, или свидетельство о его гражданском состоянии. Пусть даже в нем есть доля вымысла. Во всяком случае, мы узнаем, что говорил о себе пресловутый претендент.

Как раз по этому поводу мы можем сослаться на вполне определенное свидетельство Рангони. 8 ноября 1603 года нунций раздобыл себе донесение Вишневецкого, возможно точнее перевел его с польского языка на латинский и немедленно отправил в Рим. В своей депеше от 2 июля 1605 г. Рангони вновь воспроизводит этот документ, но уже на итальянском языке и со значительными купюрами и вариантами. Впрочем, он оговаривается, что его текст слово в слово совпадает с рассказом самого Дмитрия, сообщенным Сигизмунду князем Вишневецким.

Возникает вопрос, пользовались ли Рангони и польский король одним и тем же первоисточником? На этот счет не может быть никаких сомнений. Обратимся к циркулярному письму Сигизмунда, разосланному сенаторам 15 февраля 1604 года; как известно, здесь Сигизмунд резюмирует вкратце всю историю Дмитрия. Припомним, какой ответ дали сенаторы, в особенности Барановский, епископ плоцкий. Сопоставим с этим материалом тот рассказ, который Рангони приписывает Дмитрию. Мы неминуемо придем к заключению, что везде речь идет об одних и тех же данных. Очевидно, обе стороны пользовались одним документом, до такой степени разительно совпадение их сведений.

Какой же вывод должны мы сделать прежде всего? Несомненно, приходится признать существование известной версии рассказа о жизни и приключениях Дмитрия, которая циркулировала в официальных сферах Польши. Именно ее и сообщил Рангони в Ватикан 8 ноября 1603 года. Уже одна эта дата представляется в высшей степени знаменательной. Опираясь на нее, мы можем заключить, что хронологическое старшинство между всеми версиями, не исключая редакции Товиановского, принадлежит первоначальному тексту, препровожденному в Ватикан. Это обстоятельство сразу упрощает задачу критики. Мы как будто поднимаемся на горную высь, откуда взгляд наш беспрепятственно проникает в долины. На наших глазах из земли бьет родник, воды которого струятся вдаль. И, действительно, все позднейшие рассказы, отождествляющие Названого Дмитрия с царевичем, жившим в Угличе, являются, в сущности, не чем иным, как лишь воспроизведением известного рапорта, представленного Вишневецким королю. Стоит сравнить между собой все эти сообщения, и мы тотчас признаем между ними существование некоторой родственной связи. Все они носят на себе печать общего происхождения и, по большей части, рабски следуют своему оригиналу. Где он многословен, там не скупятся на подробности и они; где изложение его сухо и сдержанно, и они, видимо, взвешивают каждое выражение. Таким образом, достаточно проанализировать первоисточник, т. е. автобиографию Дмитрия, чтобы тем самым подвергнуть той же операции всех позднейших авторов, которые переписывали, резюмировали, где нужно, по-своему дополняли или несколько видоизменяли первоначальный материал. Итак, какова же ценность этого документа? Если мы примем во внимание только его происхожде-

ние, то нам придется произнести над этим памятником уничтожающий приговор. Ведь Дмитрий свидетельствует в нем в свою собственную пользу. Можно ли допустить, что при таких обстоятельствах он окажется совершенно беспристрастным? Во всяком случае, чего бы ни стоила в этом отношении автобиография будущего московского царя, она заслуживает ближайшего изучения.

Припомним прежде всего, при каких условиях возник указанный нами документ. Как мы знаем, поводом к его составлению явился запрос короля Сигизмунда, который хотел выяснить себе дело Дмитрия. Это было в тот самый момент, когда претендент только что успел объявить себя царевичем и больше всего нуждался в помощи польского царя. Ничто, казалось, не препятствовало ему раскрыть свою тайну тесному кругу лиц, заинтересовавшихся его судьбой; напротив, все, по-видимому, побуждало его высказаться вполне чистосердечно и представить неопровержимые доказательства своего высокого происхождения. Все будущее Дмитрия зависело от этих признаний. Итак, можно было ожидать, что претендент представит самый полный и убедительный рассказ о своей судьбе. И что же? Перед нами документ, в котором все окутано тайной, где на каждом шагу чувствуется нечто недоговоренное, где смысл затемняется риторическими ухищрениями и слишком очевидными, сознательными недомолвками.

С самого начала весьма странное впечатление производит на читателя явное отсутствие в автобиографии Дмитрия не только сыновнего почтения, но и самой элементарной сдержанности по отношению к памяти отца. Мнимый наследник Ивана IV оказывается беспощадным судьей его деятельности. Он видит в ней лишь тиранию и служение низменным страстям. Он

осыпает горькими упреками Грозного, который собственноручно убил старшего сына, надругался над святостью брака, заточал своих многочисленных жен в монастыри и попирал в прах добродетель. Трудно спорить с Дмитрием. Обвинения, выдвигаемые им, вполне правдоподобны. Однако, казалось бы, без всякого ущерба для дела можно было бы на сей раз и не повторять их.

С исторической точки зрения, странностью этой автобиографии является сочетание в ней грубейших фактических ошибок с такими подробностями, которые не многим были известны и в самой России и оставались безусловной тайной для поляков. Сюда относится, между прочим, сообщение о горе, постигшем Ивана IV в 1553 году. В это время погиб в водах Белоозера первенец Грозного, Дмитрий, который, по-видимому, явился жертвой какой-то случайности.

Указания на этот счет мы находим у дьяка Тимофеева. Тот же факт упоминается у Масса. Другие авторы говорят о нем весьма редко. Наряду с этим автор рассказа приводит имена нескольких жен Ивана IV. Он называет Анастасию Романовну, Марию Темрюковну, Марфу Собакину, Анну Колтовскую, Марию Нагую. Он знает, что Грозный затевал какой-то фантастический брачный союз в Англии. Наконец, ему прекрасно известно, какие три города были даны в удел царевичу Дмитрию. С тем большим удивлением читаем мы на следующей же странице, что Федор отказался от престола; после этого он будто бы удалился в монастырь св. Кирилла, а его воспитатели были преданы смерти Борисом Годуновым.

Допустим, все эти ошибки были сделаны автором рассказа вполне сознательно. В таком случае их можно объяснить ненавистью к Годунову. Ведь ясно, что все усилия «царевича» были направлены против этого

царя. Погубить его — такова заветная цель Дмитрия. Немудрено, что в его изображении преемник Федора наделяется теми же самыми чертами, с какими выступает он у позднейших летописцев и в официозной литературе эпохи Василия Шуйского. Как там, так и здесь Борису приписываются те же коварные замыслы, те же мстительные побуждения и злодейства. Заметим, впрочем, что наряду с этим все авторы признают за ним выдающиеся дарования и гибкий, лукавый ум. Возвысившись благодаря влиянию своей сестры Ирины, Годунов сделался всемогущим правителем государства в царствование Федора. При своем ненасытном честолюбии он горел нетерпением достигнуть царского престола, который вскоре должен был освободиться. На пути смелого авантюриста стояло лишь одно препятствие — законный наследник Грозного Дмитрий Угличский. Тогда Годунов решил устранить его.

Дойдя до этого момента, рассказ сразу меняет свой характер; в нем все яснее и яснее начинают проступать риторические уловки. До той поры автор охотно называл действующих лиц по именам. Теперь он всячески старается избегать этого. В каждом слове его чувствуется боязнь вызвать у читателя недоверие. Мы знаем, в чем обвиняли впоследствии Годунова русские летописцы. Претендент на московский престол рассказывает, что перед тем, как обратиться к содействию наемных убийц, царь Борис попробовал отравить Дмитрия. Однако попытка не имела успеха. Что касается самой картины убийства, то она воспроизводится рассказчиком со всеми подробностями. Дело происходит ночью. Воспитатель царевича, не называемый по имени, был вовремя предупрежден о грозящей опасности. Тогда в постель Дмитрия положили какого-то его двоюродного брата. Убийцы умертвили его, а Дмитрия

удалось спасти. Конечно, автор рассказа не мог не знать о следствии, произведенном в Угличе по распоряжению Годунова. Тем не менее он не упоминает об этом ни слова. Напротив, Борис немедленно выступает на сцену. Он хочет обмануть царя Федора. Он убеждает его, что Дмитрий сам умертвил себя в припадке черной немочи. Как известно, к этому же сводилось заключение следственной комиссии, во главе которой стоял Василий Шуйский. Но и это имя почему-то обходится молчанием. Автор оставляет в стороне личность князя и факты, связанные с его деятельностью. Что касается Клешнина и митрополита Геласия, то о них он упоминает. Правда, они выступают в его рассказе не как члены следственной комиссии, а в качестве лиц, которым было поручено присутствовать при погребении Дмитрия. Пока происходят эти события, безымянный воспитатель царевича хранит и воспитывает ребенка, которого Борис считал уже погибшим. Чувствуя приближение своей кончины, он поручает царственного младенца верному человеку. Его имени автор опять-таки не сообщает читателям. Умирает и верный человек. Перед смертью он советует своему питомцу, уже достигшему юношеского возраста, облечься в рясу и скрываться, странствуя по монастырям. Дмитрий так и делает. Он столь усердно старается уйти в безвестность, что следы его исчезают совершенно. Затем, словно deux ex mahina античной трагедии, он появляется в Польше. Автор указывает только три последних этапа на пути Дмитрия до этого момента. Это были Острог, Гоща, Брагин. Мы увидим впоследствии, что это сообщение послужит нам некоторой точкой опоры.

Во всяком случае, автор рассказа прекрасно чувствовал, что положение его далеко не неуязвимо. Он предвидит те возражения, какие могут ему сделать. Он пре-

дупреждает их заранее заготовленными ответами, стараясь ослабить удары своих противников. Впрочем, это ему не удается, так как несостоятельность его слишком очевидна для каждого. В самом деле: он изображает нам, как мать царевича обнимала труп своего ребенка. Встает вопрос, каким образом не заметила она, что в руках у нее находится тело чужого ребенка? Убитый уже посинел, объясняет нам рассказчик, а мать была вне себя от горя. Далее, допустим, что подмена царевича действительно произошла и что вместо Дмитрия убит был какой-то другой мальчик. В таком случае он должен был исчезнуть из среды живых. Как же это осталось незамеченным? В суматохе было перебито около 30 детей, отвечает нам автор рассказа, к ним отнесли и погибшего двоюродного брата царевича. В заключение нельзя не отметить весьма странного объяснения, которое дается бегству Дмитрия в Польшу. Оказывается, какой-то монах, словно осененный свыше, узнал царевича по его осанке. После этого пребывание в России стало для Дмитрия опасным. Потому-то он и решился скрыться за рубеж.

При всех своих недостатках автобиография Дмитрия имеет несомненную историческую ценность. Конечно, претендент на московский престол знал содержание того донесения, которое готовил Вишневецкий королю Сигизмунду III. Очевидно, он решил сам воспользоваться этими данными. Однако, прибегая к ним в целях самозащиты, он тем самым открыл свои карты. Действительно, мы имеем полное право заключить, что, кроме доказательств, приводимых князем Адамом в пользу царственного происхождения претендента, сам Дмитрий не мог сослаться ни на одно. Вот почему он старается не столько выяснить, где и когда он был в России, сколько замести всякие следы, оставленные им на родине. При таких условиях становится

вполне понятным заявление Льва Сапеги в сейме года. «Подлинный цесаревич, — говорил канцлер, — нашел бы иные средства для доказательства своих прав».

Надо заметить, что Дмитрий никогда не изменял своей политике умолчаний. Напротив, в течение всей своей жизни он оставался ей верен. Его излюбленная формула сводилась, в сущности, к следующему: сперва он чудесным образом избег козней Годунова; затем его хранила неисповедимая сила благого промысла. Все остальное он обходит молчанием. А между тем сколько раз представлялся ему случай выступить с неотразимыми доказательствами своих прав! И что же? Он неизменно старается отделаться несколькими незначительными словами, говоря о событиях своей прежней жизни. Когда Дмитрию пришлось вступить в переговоры с папой, он предоставил нунцию Рангони сообщить в Рим все, что касалось личности претендента. Сам же в письме от 24 апреля 1604 года он ограничился общими местами. Пока на московском престоле восседал Борис Годунов, подобную тактику еще можно было объяснять соображениями осторожности, желанием предупредить кары, которыми царь мог поразить лиц, связанных с претендентом. Однако вскоре враг Дмитрия умер. Почему же накануне своего полного триумфа или в момент торжественного венчания на царство не раскрыл Названый царевич столь долго хранимой тайны? Мы обращаемся к грамотам этого царя, рассылавшимся по всему государству. Мы вспоминаем речи самого Дмитрия I. Что же мы видим? И здесь так же мало конкретных указаний, как и во всем, что говорилось раньше. Хотя бы один намек на людей, оказавших услуги законному наследнику Ивана IV! Хотя бы какое-нибудь упоминание о тех монастырях, где он искал себе убежища!

Что касается воеводы Мнишека, то он так же мало откровенен, как и его зять. Мы знаем, что этот польский вельможа являлся самым горячим адвокатом Названого Дмитрия. По-видимому, им руководила скорее слепая вера в высокое происхождение зятя, нежели вполне сознательное убеждение в его правах. По крайней мере, всякий раз, когда сандомирскому воеводе приходилось объясняться по этому поводу подробнее, он высказывался в положительном смысле. И что же? Всегда слова его отличались расплывчатостью и были лишены конкретного содержания. Как известно, тотчас после катастрофы 27 мая 1606 года московские бояре потребовали от захваченного ими Мнишека сознания во всем. Каким бы торжеством для сандомирского воеводы было сразить своих судей! Как счастлив был бы он, если бы мог вполне оправдать свой образ действий и подтвердить права Марины на власть! Для этого нужно было только представить неопровержимые доказательства царственного происхождения Дмитрия. Что же сделал Мнишек? Ничего. Он лишь ссылался на самих русских, утверждая, что почин в деле царевича принадлежал им. Ему говорили: «Докажите, что Дмитрий был настоящим сыном Ивана IV». «Вы же сами признали его таковым», — отвечал воевода. К этому он не мог прибавить ничего. Несколько лет спустя Мнишек подвергся новой атаке, но на этот раз со стороны поляков. Впрочем, соотечественники еще менее церемонились с престарелым воеводой, нежели чуждые ему московские бояре. Это второе объяснение Мнишека происходило в 1611 году, в собрании сейма. На одном из заседаний московская экспедиция Мнишека подверглась самой жестокой критике. Застрельщиком явился кастелян калишский Адам Стадницкий. Он выступил против сандомирского воеводы с чрезвычайно резкой речью. Его поддержал

вице-канцлер Криский. Ораторы обвиняли Мнишека в себялюбии и алчности. Они почти называли его изменником, не желая простить ему того, что он покровительствовал самозванцу и подвергал риску все государство. На собрании присутствовали король и крупнейшие польские магнаты. Тяжкие оскорбления были брошены Мнишеку прямо в лицо. Конечно, он не пожелал оставить это безнаказанным. Между Стадницким и воеводой сандомирским произошла горячая схватка. Но когда Мнишеку было предоставлено слово для самозащиты, он прибег к тому же приему для посрамления своих противников, каким когда-то воспользовался в Москве. Ведь обручение Марины происходило в Кракове? Ведь отправлялись же в Москву послы из Польши, чтобы засвидетельствовать Дмитрию дружеское расположение короля и Речи Посполитой? Вот каким оружием оборонялся Мнишек против своих врагов. И надо отдать ему справедливость: удары его были неотразимы. Однако центральный вопрос — о правах Дмитрия на московский престол так и остался открытым.

Учитывая все эти факты, исследователь нащупывает под собой более твердую почву. Перед ним — показания ближайших свидетелей. Все это — лица, наиболее осведомленные и к тому же более всего заинтересованные в успехе предприятия Названого Дмитрия. Какой же вывод приходится сделать из этих данных? Совершенно очевидно, что ни Дмитрий, ни воевода Мнишек, ни князь Вишневецкий ни разу не смогли представить не только решительных, но хотя бы просто более или менее веских доводов в пользу царственного происхождения того, кто сделался московским государем в 1605 году. Почему же не удалось им доказать это? Потому, что в их распоряжении не было фактов. Почему же их не было? Надобно думать, потому,

что их нельзя было добыть. Если так, то при теперешнем состоянии исторической науки мы должны признать, что наследственные права Дмитрия доказаны далеко не в достаточной степени. Напротив, все склоняет нас к тому выводу, что Названый царевич был совсем иным лицом, нежели Дмитрий Угличский.

Конечно, для того, чтобы такое заключение было совершенно непоколебимым, нужно было бы вполне точно определить личность и подлинное имя того, кто выдавал себя за наследника Ивана IV. Но тут-то и начинается главное затруднение. Сколько перьев было поломано из-за этого! Сколько смелых догадок было высказано с разных сторон! Было бы скучно и бесполезно повторять их здесь. Ведь утверждали же некоторые, что Дмитрий был незаконным сыном короля Стефана! Ведь ссылались же на его страсть к охоте, как на характерную черту наследственности! По правде говоря, если принять всерьез такие доказательства, можно совсем запутаться в деле отыскания отца. Ведь столько государей прославилось своей любовью к охоте! К счастью, в нашем распоряжении имеются другие данные. Они гораздо лучше помогают нам разобраться в вопросе, нежели произвольные и бесплодные гипотезы.

Прежде всего, разумеется, мы должны задаться вопросом, какова была национальность Дмитрия? Был ли он русским или поляком? Уже по этому поводу показания расходятся. Мы знаем о письме Названого царевича к Клименту VIII от 24 апреля 1604 года. Оно хранится в архиве св. Инквизиции в Риме и лишь в недавнее время было предано гласности. Пожалуй, это единственный документ, опираясь на который, можно решить интересующий нас вопрос. Указанное письмо представляет собой автограф на польском языке. Оно переслано было папе нунцием Рангони. Написано оно

18 апреля, на Пасху, но помечено 24-м того же месяца. Другими словами, Дмитрий составлял свое послание немедленно после перехода в католицизм. Опасаясь выдать свою тайну, Дмитрий не хотел присутствовать в церкви, на богослужении. Вместо этого свой досуг он посвятил сочинению письма папе, которое и передал затем нунцию 24 апреля, скромно прося извинить ему погрешности каллиграфии и стиля. Со своей стороны, Рангони добавляет, что латинский перевод польского оригинала был сделан отцом Савицким, который «по доброй воле и по поручению нунция» следил за всем эти делом. Таким образом, Рангони вполне определенно констатирует, что в составлении письма Дмитрия принимал участие поляк; тем самым объясняются некоторые особенности и даже странности упомянутого документа. Каждая фраза, каждая буква этого письма были подвергнуты самому тщательному научному исследованию. С ним сопоставлялись другие русские и польские памятники той же эпохи. Можно сказать, исчерпаны были все средства филологии. Результатом всего этого явилось совершенно определенное заключение. Нет сомнения, что послание Дмитрия к папе есть дело рук не одного автора. Над ним трудились, по крайней мере, двое — писец и редактор. Это, во всяком случае, разные лица. Первый из них — русский, второй — поляк.

И в самом деле, мы убеждаемся, что редактор письма Дмитрия вполне владеет польским языком. Мало того, он знает все его тайны. Излагая свою мысль, он всегда находит соответственное слово в своем обширном и богатом лексиконе. Он передает самые тонкие оттенки чувств. В его выборе выражений нет решительно ничего случайного. Напротив, форма у него как нельзя лучше соответствует содержанию, причем стиль его носит печать определенной индивидуальности. Язык

его богат. Преувеличенное стремление к точности выражается в некотором нагромождении синонимов и эпитетов. Наряду с этим заметна склонность к витиеватости изложения; фраза всегда закруглена, даже если бы от этого и страдала иногда ясность мысли. Обращаясь к синтаксической стороне письма, мы не найдем ни одного оборота, который был бы неправильным; кое-где попадаются выражения, свидетельствующие о глубоком теоретическом и практическом знании языка. Очевидно, что редактор письма превосходно чувствовал дух польской речи: так свободно распоряжается он в области грамматики, так умело владеет он формами, так безукоризненна его орфография. Словом, в смысле композиции послание Дмитрия является несомненным произведением литературно образованного человека, и притом поляка.

Совсем иное впечатление выносим мы из анализа чисто внешней, технической стороны письма. Тот, кто держит перо и пишет буквы, выводит их самым старательным образом; однако в руке его нет достаточной уверенности. Он постоянно подправляет и изменяет написанное. Очевидно, он не привык писать по-польски. Несомненно, он очень старается писать безукоризненно, однако ему не удается преодолеть затруднения, и перо его делает самые элементарные ошибки, которые ясно обнаруживают национальность пишущего. Как бы по инерции, его рука невольно воспроизводит привычные формы языка; инстинктивно она передает бумаге то, что подсказывает слух, воспитанный на вполне определенном произношении. В большинстве случаев писец пользуется русскими оборотами речи; вся его фонетика также чисто русская. Эти особенности мы отмечаем во всем письме, от начала до конца: они повторяются в нем постоянно и систематически. Очевидно, это явление не случайное: наоборот, перед нами

следствие неистребимой привычки. Против своей воли писец выдает свое русское происхождение.

На помощь филологии приходит история. Отец Савицкий, который, по свидетельству Рангони, следил за работой Дмитрия, был настоящим знатоком польского языка. Об этом свидетельствуют и его ораторские успехи в Кракове, и некоторые из его литературных произведений. Ясно, что ему принадлежала редакция письма к папе. Что касается графической стороны, то она была делом рук самого Дмитрия. По свидетельству того же Рангони, именно царевич писал свое послание и скрепил его своим именем. Однако мы видели, что послание к папе было написано русским человеком. Несомненно, Дмитрий также был русским по происхождению.

Столь же достоверны еще два обстоятельства, относящиеся к жизни Названого Дмитрия. Мы говорим, во-первых, о его связи с монашеством и, во-вторых, о его ясном понимании значения патриаршеской власти. 24 апреля 1604 г. царевич сам признавался Клименту VIII, что ему долго пришлось жить в монастырях. Припомним те речи, которые вел Дмитрий в Путивле относительно монахов, их образе жизни и необходимости реформ в этой области. Все выдавало в лице Дмитрия бывшего странника по монастырям. В самом деле, нужно было часто наблюдать эту среду, чтобы обнаружить такое детальное знакомство с ней. Будучи суровым цензором иноческой жизни, Дмитрий являлся, однако, сторонником патриаршества в России. Любопытно, что никто и не говорил ему об уничтожении этого института. Церковная уния вовсе не требовала этого. Царевич по собственному почину высказался перед краковским нунцием за сохранение патриаршеской власти. Невольно навязывается любопытное сопостав-

ление. Мы знаем, что патриарх Иов играл видную роль в царствование Бориса Годунова. Дмитрий всячески старался заручиться содействием Игнатия, и мы знаем, что он сумел извлечь пользу из угодливости этого иерарха. Разумеется, если Дмитрий столь задолго заговорил о необходимости патриаршеской власти, очевидно, он отлично знал, насколько полезен может быть глава русской церкви своему государю.

Руководясь всеми этими соображениями, мы, может быть, легче нападем на след того, кого ищем. В январе 1605 г. московское правительство, напуганное призраком самозванца, поручило патриарху Иову произвести о нем официальное расследование. Результатом этого явилась известная версия, утверждавшая, что мнимый царевич есть не кто иной, как Гришка Отрепьев. Нашлись и свидетели, которые восстановили всю биографию этой загадочной личности; эти данные оказались весьма интересными. Сведущие люди говорили, что когда-то Гришка служил у Романовых; затем, желая избегнуть грозившей ему смертной казни, он постригся в монахи и после долгих странствий из одной обители в другую поселился, наконец, в московском Чудове монастыре. Здесь он был посвящен в дьяконы и исполнял обязанности писца при дворе патриарха. Однако скоро в нем опять пробудились его порочные влечения. Отрепьев оказался замешан в темных делах и, спасаясь от кары, вновь бежал — на этот раз в Польшу. С ним ушли Варлаам Яцкий и Мисаил Повадин; оба они были монахами того же самого Чудова монастыря. Всех этих беглецов видели в Киеве, где они посетили князя Острожского. В конце концов, Гришка Отрепьев оказался в Брагине; тут он и объявил себя царевичем Дмитрием.

Выводы следствия, произведенного патриархом Иовом, были утверждены Борисом Годуновым; затем

царь принял соответствующие меры. Встает, однако, вопрос: как действовал царь? Шел ли он наобум или, напротив, руководствовался глубоким и непоколебимым убеждением в своей правоте? По мнению Костомарова, имя Гришки Отрепьева было пущено в оборот совершенно случайно. Конечно, наилучшим средством дискредитировать претендента было отождествить его с какой-нибудь сомнительной личностью. Так и поступило растерявшееся московское правительство: для своей цели оно воспользовалось именем бродячего монаха. Известное посольство Смирного-Отрепьева в Кракове должно было подкрепить позицию московской власти, которая сама стояла на распутье. Борис Годунов даже не решился назвать своего уполномоченного дядей пресловутого Гри́шки, хотя Смирной-Отрепьев и находился с беглым монахом именно в таком родстве. Послу было просто поручено, насколько возможно, позондировать почву в Польше.

Рассуждения Костомарова едва ли можно признать достаточно убедительными. Как русские летописи, так и донесения Рангони единодушно свидетельствуют, что Смирной открыто объявлял себя дядей Гришки. Злополучный посол Годунова не только не боялся очной ставки со своим племянником, но, напротив, всячески добивался этого случая. Если же такое свидание и не состоялось, то виной тому были, исключительно, сами поляки, которые решительно воспротивились требованиям Смирного. С другой стороны, поведение «царевича» в этот момент было не менее странно, нежели образ действия самого Годунова. Дмитрий знал, что Смирной караулит его в Кракове. Нужно было во что бы то ни стало опровергнуть московские инсинуации. И что же? Претендент ограничился двусмысленными заявлениями. По его словам, Смирной совсем не дядя «царевичу». Впрочем, и со стороны Бориса Годунова

было заметно некоторое колебание. Правда, он ни разу не назвал другого имени, кроме Гришки, — и это очень характерно; однако порой им овладевали, по-видимому, смущение и тревога. Он задавался мучительным вопросом — да умер ли в самом деле Дмитрий? Вот почему Годунов заявлял императору Рудольфу, что если бы даже претендент был подлинным сыном Ивана IV, он все же не имел бы никаких прав на московский престол, ибо это противно каноническим требованиям. Между тем Смирной заявлял, что если «царевич» докажет свою кровную связь с московскими государями, он первый покорится ему и всячески поддержит. Очевидно, Годунов признавал одно из двух: претендент, объявившийся в Польше, или Гришка Отрепьев, или Дмитрий. Впрочем, такую альтернативу царь допускал только в своих отношениях с иностранцами, в целях самозащиты, да и то изредка. При этом он избегал точно формулировать ее и вообще старался представить ее в виде курьезного и невероятного предположения.

Если забыть об этих колебаниях Годунова, то окажется, что, по мнению всех русских источников, Названый Дмитрий был не кем иным, как расстригой, Гришкой Отрепьевым. Возникнув при Борисе Годунове, эта версия благополучно дожила до наших дней. Среди памятников, где она воспроизводится, особого внимания заслуживает так называемый Извет Варлаама. Он относится уже к эпохе Шуйского. Костомаров дважды исследовал этот документ. Во второй раз он исправляет некоторые свои ошибки. Тем не менее ему так и не удалось стать на правильную научную почву.

Но кто же такой этот Варлаам? Это был монах, неизвестно какого монастыря. Во всяком случае, он был большим любителем паломничества. Вместе с Мисаилом Повадиным он сопровождал Гришку Отрепьева,

когда последний переходил московскую границу. Так говорит, по крайней мере, патриарх Иов; Варлаам, со своей стороны, подтверждает это свидетельство: все трое отправились вместе. После Киева первая их остановка была в Остроге у князя Константина.

Оказывается, что путешествие Гришки с Варлаамом и Мисаилом и посещение ими Острога есть несомненный факт. Неоспоримое свидетельство в пользу этого имеется в Загоровском монастыре на Волыни; к счастью, его пощадило время. Здесь хранится славянский перевод книги св. Василия, архиепископа кесарийского. Издание это напечатано в Остроге в 1594 г. Оно украшено гербами князя Константина; помимо того, на нем можно прочесть драгоценную для нас надпись следующего содержания: «Лета от сотворения мира 7110 месяца августа в 31 день, сию книгу Великого Василия дал нам, Григорию с братьями Варлаамом да Мисаилом, Константин Константинович, нареченный во св. крещении Василий, Божиею милостью пресветлое княже Острожское Воевода Киевский». Под словом «Григорий» приписано другой рукой, — очевидно, в позднейшие времена: «Царевичу Московскому». Конечно, нельзя придавать этой вставке особенно важное значение; однако если даже оставить ее в стороне, указанная надпись имеет для нас крупную ценность. Мы узнаем из нее, что Варлаам действительно совершал паломничество с Гришкой и Мисаилом и что в августе 1602 г. все трое были у князя Острожского.

Еще большую важность представляют те выводы, которые вытекают из сопоставления Извета Варлаама, с донесением князя Вишневецкого Сигизмунду. В самом деле, несомненно, что Названый Дмитрий — одно лицо с тем человеком, который, побывав в Гоще и Остроге, объявил себя царевичем в Брагине. Опираясь на показания самого Дмитрия, Вишневецкий со-

вершенно определенно отмечает эти три этапа на его пути. Между тем, по-видимому, также не подлежит спору, что странник, побывавший в Гоще, Остроге и Брагине, — не кто иной, как Гришка Отрепьев. На этот счет свидетельство Извета в достаточной мере категорично. Нам кажется, что согласие между Варлаамом и Дмитрием по вопросу о трех важнейших этапах на их пути имеет исключительную важность. Таким образом устанавливается связь между историей Названого Дмитрия и судьбой Гришки Отрепьева. Восполняется чувствительный пробел загадочной одиссеи будущего московского царя; Дмитрий I оказывается на одно лицо с монахом-расстригой. Здесь — соединительное звено, в котором переплетаются обе биографии. До сих пор этому обстоятельству не придавали должного значения. Зависело это от недостаточного внимания к донесению Вишневецкого. Отмеченное нами совпадение покажется еще более разительным, если мы вспомним, что оба свидетельства исходят от диаметрально противоположных сторон. Как известно, Варлаам считал Лжедмитрия Гришкой Отрепьевым; сам Названый Дмитрий выдает себя за настоящего царевича. И тот, и другой, совершенно независимо друг от друга, отождествляют загадочную личность претендента на московский престол со странником, побывавшим в Остроге, Гоще и Брагине. Конечно, когда Варлаам писал свой Извет в 1606 г., он и не подозревал, что его показания подтверждаются свидетельством самого Дмитрия, данным еще в 1603 г. По крайней мере, ничто не говорит о том, чтобы Варлааму было известно донесение Вишневецкого. Нельзя не согласиться, что в таком случае совпадение обоих источников имеет для нас чрезвычайную важность.

Отметим далее еще одно обстоятельство, которое увеличивает в наших глазах значение Извета, придавая

ему самостоятельную ценность. Именно на эту сторону дела Костомаров и не обратил должного внимания. По словам Варлаама, он сам предупредил Годунова о замыслах мнимого царевича. Тогда Борис отправил его в Самбор вместе с неким Яковом Цыхачевым. Здесь Дмитрий выдал их за убийц, подосланных Борисом. Якова казнили. Что касается самого Варлаама, то его будто бы посадили в тюрьму, откуда его освободила Марина лишь после отъезда Дмитрия. Конечно, весь этот рассказ неясен. Однако в основе своей он подтверждается свидетельством самого Мнишека. 18 сентября 1604 г. сандомирский воевода пишет Рангони, сообщая ему, что Борис подослал было убийц к царевичу. Кто-то из русских открыл заговор и был казнен в Самборе. Фраза Мнишека построена крайне неудачно. Разумеется, никто не казнил доносчика; ясно, однако, что этой жертвой был русский человек. По этому поводу необходимо заметить следующее. Русские летописи ничего не говорят о казни. Не упоминают о ней и польские свидетели, за исключением Мнишека. Почему же знает о том Варлаам? Очевидно, в распоряжении его были источники, недоступные для других.

Впрочем, можно быть хорошо осведомленным и в то же время недостаточно беспристрастным свидетелем. Как раз с этой стороны Варлаам внушает некоторые подозрения. В нем чувствуются какие-то задние мысли; приемы его аргументации натянуты; к тому же у него вполне определенные связи с правительством. Вот почему мы ссылались лишь на те его показания, которые могут быть проверены. Оставим этого единомышленника Шуйских. Обратимся к свидетелю другой стороны. Мы подразумеваем князя Катырева-Ростовского. Как известно, он был в родстве с Романовыми и разделял их политические взгляды. Официальное

положение его было блестящее. Князь Катырев-Ростовский подписывал избирательную грамоту Бориса Годунова. Он же играл видную роль при бракосочетании Дмитрия с Мариной в 1606 г.; два года спустя точно так же ему пришлось фигурировать на венчании Василия Шуйского с одной из своих родственниц. Однако новые связи нисколько не изменили образа мыслей Катырева-Ростовского. Он остался верен своим прежним убеждениям. За это он впал в немилость и после целого ряда испытаний вернулся в Москву только в 1613 г., когда на престол был избран его шурин, Михаил Романов. Князь Катырев-Ростовский оставил после себя записки, которые имеют для нас чрезвычайную важность. Особенностью этого документа является уже сам его стиль. Он серьезен и строг. Изложение ведется в умеренном тоне; автор, очевидно, старается стать выше партийности. Во всяком случае, перед нами свидетельство интеллигентного и заслуженного человека, которому отлично известна закулисная сторона событий. Его не так легко заподозрить в недобросовестности или сознательном извращении фактов. Только однажды Катырев-Ростовский дает себе волю и разражается длинной и страстной тирадой: это тогда, когда он оценивает деяния Дмитрия. Князь осыпает Самозванца проклятиями. В его глазах Вор — не кто иной, как монах-расстрига из Чудова монастыря, Гришка Отрепьев... Вообще, в суждениях своих о Названом Дмитрии Катырев-Ростовский выражает господствующие взгляды противников Самозванца.

Обращаясь к русским летописям, мы должны отметить, что, при всех своих различиях в области политических и всяких иных симпатий, они сходятся в вопросе о личности Самозванца. В самом деле, независимо от того, сочувствуют ли их авторы Шуйским или

Романовым, все они — разумеется, с известными вариантами — повторяют то, что впервые было заявлено еще при Борисе Годунове устами его креатуры, патриарха Иова. Конечно, между Годуновым, Шуйским и Романовыми не было ничего общего и в смысле партийных интересов. Почему же в этом вопросе все они держатся одного взгляда? Разумеется, не потому, что ими руководила какая-либо предвзятость.

Сама жизнь Названого Дмитрия поясняет нам многое из летописных данных. Припомним, что еще до своего прибытия в Москву «царевич» принял меру исключительной важности, явившуюся некоторым отступлением от его обычной программы. Мы говорим о ссылке патриарха Иова. Конечно, для Дмитрия было необходимо сохранить добрые отношения с духовенством; с другой стороны, он постоянно заботился об интересах православия. Почему же, спрашивается, решился он на столь непопулярный шаг? Несомненно, на это у него были весьма серьезные основания. Очевидно, Названому царевичу хотелось избегнуть встречи с патриархом. Невольно встает вопрос: не боялся ли Дмитрий, что глава церкви узнает в нем самозванца? Любопытно, что кары постигли и Чудов монастырь. Впрочем, на этот счет показания источников расходятся. Одни говорят, что монахи этой обители были переселены; другие же утверждают, что с иноками поступили более жестоко. Мы знаем, каким надежным свидетелем является для нас архиепископ Арсений. Он сообщает, что вместе с патриархом Иовом отправлены были в ссылку двое архимандритов; один из них был игуменом Чудова монастыря. В настоящее время невозможно проверить все эти данные; нельзя и сделать из них какого-либо окончательного вывода. Как бы то ни было, общее впечатление таково: по-видимому, Дмитрий опасался Чудова мо-

настыря и не очень-то стремился встретиться с его архимандритом[1].

Свидетелем по делу Названого Дмитрия является, между прочим, род Отрепьевых. Правда, его выступление по этому поводу произошло значительно позднее. Тем не менее важность самого факта остается неоспоримой. Со времени самозванца имя Гришки Отрепьева было покрыто позором. Каждый год церковь торжественно предавала его анафеме. В глазах народа он был отступником, еретиком и злейшим врагом родины. Прошло более полуторастолетия со времени катастрофы 1606 года. Однако род Отрепьевых все еще находился под гнетом общественного презрения; ему не могли простить того, что из его среды явился такой злодей. Подобное отношение казалось Отрепьевым тем более жестоким и невыносимым, что они гордились своей преданностью законным государям; помимо того, они помнили о своих выдающихся заслугах перед родиной на поле брани. Самым лучшим средством оградить себя от обиды была бы перемена имени. Весьма кстати Отрепьевы вспомнили, что у них не одно родовое имя. Поэтому в 1671 году они обратились к царю Алексею с просьбой разрешить им зваться по-старому. Челобитная Отрепьевых проникнута горечью и печалью. По-видимому, они глубоко удручены несправедливостью, жертвой которой являются. Конечно, они стараются парировать направляемые против них удары. Но замечательно, что им и в голову не приходит отрицать свое родство с Гришкой, превратившимся впоследствии в царевича Дмитрия. Очевидно, сам факт был слишком несомненен и общеизвестен. Они

[1] По-видимому, в это время в Чудове монастыре сменен был архимандрит.

принимают его без всяких оговорок. Все их усилия направлены лишь на то, чтобы отделить себя от самозванца и даже вменить себе в заслугу преследования, которым они подвергаются. Отрепьевы заявляют, что Смирной был отправлен в Краков для очной ставки с племянником. По их словам, некоторые члены их рода сами, и притом открыто, изобличали царя-самозванца. За это они были жестоко наказаны, подверглись гонениям и ссылке в Сибирь, откуда их вернул только Василий Шуйский. Такая самозащита Отрепьевых была как нельзя более на руку правительству. Понятно, что просьба их была удовлетворена. Царь Алексей разрешил им именоваться впредь по-старому, Нелидовыми. Время и забвение довершили остальное.

До сих пор свидетелями перед нами выступали русские люди. Послушаем, что скажут теперь поляки. Как известно, король Сигизмунд заявлял, что Названый Дмитрий не был сыном Ивана IV. Обратимся к Льву Сапеге: от него мы узнаем, что претендент был подлинным царевичем. А между тем канцлер литовский был прекрасно осведомлен обо всех политических делах. К его услугам была внутренняя полиция. Ему были открыты всякие дипломатические тайны. С ним же сносились Смирной и Огарев по поводу данных им инструкций. Правда, что Сапега вел двойную игру. На сейме 1605 года он был, как мы знаем, в оппозиции; напротив, при обручении Марины он превозносил Дмитрия самыми восторженными похвалами. Впоследствии, когда на сцену выступил Лжедмитрий II и между Москвой и Польшей началась война, канцлер снова вернулся к тому же предмету. При этом раскрылся истинный смысл его речи, произнесенный на сейме. Все, что относится к этому вопросу, мы находим в трех записках Сапеги. Один из этих документов особенно достоин внимания. Он представляет собой автограф и

адресован Сапегой королю. Здесь подробно излагается вся история Дмитрия. Нельзя не отметить разительного совпадения между взглядами канцлера и суждениями русских людей. Это согласие настолько полно, что порой кажется, будто Сапега ничего не принимает без предварительной проверки. Следы этой критической работы мы видим в самой его записке. Между прочим, Сапега отождествляет Дмитрия с неким Григорием Богдановичем Отрепьевым. По его словам, последний был монахом не столько по призванию, сколько поневоле. Во всяком случае, в течение двух лет он состоял дьяконом Чудова монастыря и одновременно служил у патриарха Иова. И тут же канцлер добавляет, что Отрепьев был из сыновей боярских; таким образом, вопреки утверждению некоторых лиц, он не имел ничего общего с простонародьем. О донесении Вишневецкого Сапега прямо не упоминает. Однако, несомненно, он имеет в виду именно этот документ, говоря о «грубых ухищрениях», которыми Дмитрий подтверждает свои наследственные права на русский престол. По мнению Сапеги, сами русские создали ореол вокруг личности претендента. Из ненависти ли к Борису Годунову или же в силу слепой преданности своей прежней династии, но они радостно приветствовали в его лице подлинного сына Ивана IV. Далее Сапега приводит ряд фактов, изобличающих самозванство Лжедмитрия. Он напоминает, что еще до вступления мнимого царя в столицу, еще, может быть, в Туле, некоторые из русских людей уже признали в нем беглого монаха и бывшего дьякона, Гришку Отрепьева. Затем, уже тогда, когда Дмитрий утвердился на престоле, кое-кто из духовенства и мирян открыто говорил о нем, как о воре и обманщике. В числе этих лиц был родной дядя царя. Конечно, Дмитрий не остался в долгу. Защищая себя, он подверг виновных казням и

ссылке. Что касается дяди, то царь попытался привлечь его на свою сторону соблазнительными обещаниями. Когда же это оказалось напрасным, он отправил его в отдаленную ссылку, где несчастный и пропал бесследно. По-видимому, в глазах Сапеги, эти доказательства были достаточно вескими. Во всяком случае, он пользовался ими, убеждая короля в самозванстве московского царя. Между прочим, известный панегирист канцлера, иезуит Ян Рывоцкий, вменял ему в особую заслугу то, что он был постоянным противником Дмитрия. По свидетельству этого писателя, Сапега все время старался противодействовать замыслам самозванца и советовал правительству ни в каком случае не оказывать ему поддержки. Упомянем, кстати, что историк иезуитского ордена в Литве отец Ростовский точно так же считает царя Дмитрия одним лицом с Гришкой Отрепьевым.

Что же можем мы противопоставить столь единодушным показаниям поляков и русских? Одно из самых веских свидетельств в защиту Дмитрия исходит от капелланов, отцов Николая и Андрея. 8 марта 1605 г. они сообщают главе польских иезуитов Стривери следующую новость: «Сюда привели Гришку Отрепьева. Это — опасный чародей, известный всей Московии. Годунов распространяет слух, будто царевич, явившийся из Польши с ляхами и стремящийся завладеть московским престолом, — одно лицо с этим колдуном. Однако для всех русских людей теперь ясно, что Дмитрий Иванович совсем не то, что Гришка Отрепьев». Капелланы рассказывают об этом эпизоде с полнейшим спокойствием. Тон их свидетельствует о том, что они нисколько не сомневаются, достоверности сообщаемого факта. Вероятно, все дело происходило на их глазах... О Гришке Отрепьеве упоминает и Маржерет.

И он отнюдь не считает его одним лицом с Дмитрием. По его свидетельству, Отрепьев был сослан в Ярославль, а потом и совсем исчез со сцены. На первый взгляд, эти показания достаточно убедительны. Однако, основываясь на летописях, мы можем значительно ослабить их силу. Дело в том, что сам Дмитрий будто бы выдал кого-то за Гришку Отрепьева. Таким образом, и капелланы, и Маржерет могли вполне естественно стать жертвой обмана со стороны хитрого самозванца. Справедливость требует, впрочем, известной оговорки. Сами летописи не вполне согласны между собой относительно того лица, которым сумел воспользоваться Дмитрий. Здесь самый темный пункт всего вопроса; впрочем, и не единственный.

Допустим, однако, что тождество Дмитрия и Гришки Отрепьева является окончательно доказанным фактом. В таком случае неизбежно возникает вопрос — каким образом беглый монах, против которого был сам патриарх, мог увлечь за собой всю Россию и возложить на голову себе царский венец? Мы уже отметили выше, мимоходом, некоторые общие условия, облегчающие понимание этого феномена: повторим здесь, что самозванство было продуктом социального распада. Гораздо труднее установить точно, кто, собственно говоря, руководил Дмитрием и скрывался за его спиной. Несомненно, дело самозванца явилось следствием обширного и искусно выполненного заговора. Кто же был его душой? Вожаки так ловко замели свои следы, что волей-неволей нам приходится ограничиться одними догадками. Впрочем, имеется еще один источник сведений о Названом Дмитрии; к сожалению, им пользовались пока еще слишком мало. Мы говорим о собственных признаниях «царевича». Правда, данные эти не очень-то богаты; во всяком случае, на их стороне

непосредственность и подлинность. Как мы знаем, Дмитрий умел и любил поговорить. Однако при этом он прекрасно владел собой. Ни разу он не выдал себя. Только в Кракове, в 1604 г., он позволил себе некоторую откровенность с нунцием Рангони. Наступал самый благоприятный момент для начала кампании против Москвы. Между тем Сигизмунд ни сам не спешил принять в ней участие, ни давал действовать претенденту. Дмитрий сгорал от нетерпения. Желая выяснить у нунция, какие печальные последствия может иметь политика короля, он заговорил с ним о своем критическом положении. По словам царевича, в Москве у него имеется целая партия. Она уже давно настоятельно, хотя и тайно, призывает его к себе. Дальше уклоняться от исполнения этих просьб невозможно. Иначе грозит одно из двух: либо сторонники царевича устанут от напрасного ожидания и охладеют к делу, либо замысел их будет раскрыт правительством, и участники его подвергнутся наказанию. Еще более заботила Дмитрия возможная смерть Бориса Годунова. «Если царь умрет в то время, пока я еще нахожусь в Польше, — рассуждал претендент, — кто-нибудь другой может занять мое место». Поэтому необходимо торопиться. Нужно предупредить события, не дожидаясь, пока явятся соперники. Чем скорее действовать, тем лучше... И Дмитрий уже мечтал о том, как он идет прямо на Москву, вступает в Кремль и принимает венец и скипетр своих отцов. Эти картины преследовали его неотступно; они приобретали яркость настоящей галлюцинации. Претендент говорил о своем будущем торжестве с совершенной уверенностью, как о деле, уже решенном. Он предусматривал все его подробности и заранее взвешивал предстоящие мероприятия. Он был убежден, что стоит только кликнуть клич и развернуть свое знамя на рубеже — и все сделается

само собою. Словом, он твердо надеялся, что победа обеспечена за ним вполне, и притом обойдется почти без всяких жертв.

В своих донесениях курии Рангони добросовестно сообщал все то, что передавал ему Дмитрий. Однако он не слишком вникал в слова претендента и даже, по-видимому, не был в состоянии проверить их должным образом. Конечно, отнюдь не следует заходить чересчур далеко и приписывать «царевичу» то, чего он не говорил сам. Но, сопоставляя некоторые его намеки с дальнейшими событиями, невольно приходишь к заключению, что вся деятельность Названого Дмитрия развивалась по заранее выработанному плану. Этот план, очевидно, составлен был скорее в Москве, нежели в Польше. Недаром в его выполнении русские принимали гораздо большее участие, нежели поляки.

В самом деле, обратимся к неообыкновенной истории претендента, как рассказывает ее Вишневецкий. В ней слишком ясно чувствуются внушения, идущие из Москвы. Но урок заучен плохо и рассказан неудачно. Отсюда это смешение правды с вымыслом, это сочетание исключительной осведомленности с самыми грубыми фактическими ошибками. Конечно, настоящий автор биографии царевича отлично знает, что можно и чего нельзя сказать. Вот почему он обходит молчанием всю историю правительственного следствия по угличскому делу. По его словам, участники известной комиссии были отправлены в Углич для присутствия на погребении царевича. Характерно, что при этом он называет только Геласия и Клешнина. Что касается Василия Шуйского, который, как мы знаем, играл главную роль в комиссии, то его имя совсем не упоминается. Естественно, спрашиваешь себя, что это такое? Невольное упущение или сознательная попытка оставить в тени истинного вдохновителя всей интриги?

Мы помним, какова была первоначальная мысль Дмитрия. Она была весьма проста, даже элементарна. Царевич намеревался набрать казаков и татар и с ними идти на Москву. В этом плане чувствуется русский дух; тем самым обнаруживается и его происхождение. Претендент не имеет в виду ни поляков, ни единения церквей; он отправляется от чисто политической, если угодно, даже династической идеи. Разумеется, король Сигизмунд и канцлер Замойский не могли сразу понять, в чем дело. Естественно, что в их глазах весь замысел Дмитрия был чем-то химерическим и даже нелепым. Поэтому польские друзья «царевича» постарались раздвинуть рамки его проекта. Мы уже видели, в чем заключалась эта переработка. Несомненно, только поляки могли внести в программу Дмитрия начала общеевропейской политики. Только благодаря их влиянию претендент заговорил о распространении истинной веры на Востоке и о крестовом походе против турок. Но лишь только приступил к делу, произошла новая метаморфоза. Поляки куда-то исчезают. Их проекты остаются в области утопии. Напротив, то, что ранее признавалось безумием, осуществляется на глазах у всех при содействии русских. Далее все происходит так, как предвидел Дмитрий. Его осторожные намеки оказываются настоящими пророчествами... При первом же известии о «царевиче» народ приходит в движение. Никто почти не сопротивляется претенденту, Борис Годунов умирает. Путь на Москву открыт, и, наконец, самозванец торжественно венчается на царство в Кремле. Все эти сказочные успехи были предсказаны заранее и дались нашему герою без всякого труда. Не значит ли это, что между ним и Москвой уже давно установились связи?

Впрочем, если москвичи и дали Дмитрию руководящую идею и снабдили его необходимыми средства-

ми, то он внес в свою деятельность и кое-что личное, индивидуальное. В смелом предприятии «царевича» обнаружились свойства блестящего авантюриста. По-видимому, голова претендента была устроена не так, как у других. В ней мирно и, пожалуй, бессознательно уживались самые удивительные противоречия. Дмитрий был богато одаренной, хотя и не слишком глубокой натурой. Его способности и таланты были скорее внешними. Наиболее характерной его особенностью, порой принимавшей уродливую форму, была склонность к ассимиляции. С ней сочеталась замечательная душевная гибкость. В самом деле, мы не видим, чтобы Дмитрий заронил на ниву народную хотя бы одно плодоносное зерно; он был чужд широких идеалов, которым мог бы предаться с настоящей страстью. Правда, он мечтал об императорском сане, о крестовом походе на турок, о будущих своих подвигах завоевателя. Отчасти все это являлось продуктом чрезмерно возбужденной фантазии, отчасти же было навеяно влияниями среды и традициями московской политики. Был у Дмитрия еще один проект, о котором он говорил постоянно и который он даже пытался осуществить. Мы имеем в виду распространение образования в России и насаждение школ. Однако ни в самой идее, ни в приемах ее практического осуществления мы опять не находим ничего оригинального или широко задуманного. В сущности, и здесь Дмитрий следует чужому примеру. Недаром побывал он в Польше. Он хотел, чтобы те же иезуиты явились и в Россию, дабы создать здесь коллегии и академии. Конечно, нужно отдать должное царевичу. Он ясно понимал важность просвещения и твердо решил приобщить к нему свою державу. Но для этих обширных планов не нужно было обладать гениальным умом. В голове Дмитрия просто-напросто еще были живы впечатления, вынесенные из Польши.

Мы уже отметили необычайную душевную гибкость Дмитрия. Это свойство особенно ярко обнаружилось в религиозной эволюции «царевича». Было бы, однако, слишком поспешно судить о нем, как о человеке лицемерном и безразличном к вопросам религии; было бы несправедливо утверждать, что всю свою жизнь он играл какую-то кощунственную комедию. Подобное суждение грешило бы излишней категоричностью; оно не мирилось бы с конкретными фактами, относящимися к истории религиозного развития Дмитрия. Конечно, при первом появлении претендента в Польше одним из лучших средств приобрести расположение короля и папы было для него отречение от православия. Однако, с другой стороны, такая политика «царевича» была чрезвычайно опасна. Ведь за каждым его шагом внимательно следили русские люди; а мы знаем, какое отвращение они питали к католикам. Таким образом, весь расчет Дмитрия мог оказаться ложным. По-видимому, в этот период своей жизни претендент руководствовался не одними эгоистическими побуждениями. Вспомним, какая среда его окружала, какие примеры видел он перед своими глазами... Он слышал речи благочестивых и ученых людей; в довершение всего, он был страстно увлечен прекрасной полячкой. Все это должно было действовать на его душу. Кажется, Дмитрию самому была свойственна та слабость, в которой он укорял соотечественников: в сердце его жила какая-то суеверная преданность внешним, обрядовым формам. В самом деле, в чем, по преимуществу, выражалось его благочестивое настроение? В паломничествах, в благословениях, в знамениях креста, в почитании икон, мощей и других святынь... Находясь в критических обстоятельствах, он мог видеть в своем переходе в католичество залог спасения и будущего торжества. Ведь сердце человеческое склонно под-

час поддаваться самым странным иллюзиям: стоит взяться за безумное дело, и тотчас захочется уверовать в него, и всячески стараешься успокоить свою совесть...

Все время, пока Дмитрий стремился к своей цели, он оставался верен тем чувствам, которые в трогательном сердечном порыве обнаружил когда-то перед Рангони, накануне своего отъезда из Кракова. Это настроение держалось в нем в течение всего похода на Москву. Особенно ярко проявлялось оно в некоторые критические моменты, когда над головой претендента собирались тучи. Вспомним, что после отъезда Мнишека около «царевича» не оставалось никого, кто мог бы поддержать его и руководить им. В эту пору Дмитрий часто виделся с капелланами. Он просил их молиться за него, благоговейно принимал от них святыни, обещал построить в России католические церкви и исповедоваться накануне венчания на царство. Покинутый людьми, он прибегал к Богу... И кто скажет нам, где в этом религиозном экстазе кончалась искренность и начиналось притворство?

Но немедленно после торжества наступила реакция. Баловень судьбы превратился в вольнодумца; сквозь замашки свободомыслящего человека стал проглядывать скептицизм, граничащий с полным безразличием к вере. Несомненно, эти склонности уже давно дремали в душе Дмитрия. Но пробуждению их все время мешали впечатления другого рода. Теперь, в Москве, царь был ослеплен собственным величием; скрытые дотоле инстинкты прорвались наружу... Та же самая гибкость Дмитрия сказалась в его удивительном балансировании между католиками и православными. По свидетельству архиепископа Арсения, за немногими исключениями, русское духовенство было вполне довольно своим новым государем. Царь относился к

иерархам со всяческим вниманием, осыпал их почестями и щедрыми дарами. А иезуиты во всем этом видели только осторожность Дмитрия. Кармелитов он совершенно очаровал оказанным им приемом... Александр Рангони уехал из Москвы, полный самых светлых надежд... Очевидно, Дмитрий так хорошо рассчитывал свои слова и действия, что обе стороны поддались обману и питали всяческие иллюзии.

Особенно характерно проявилась эта ловкость самозванца в отношениях с римской курией. Здесь Дмитрию не только принадлежала инициатива: он сразу упростил дело, предложив папам свои услуги и приняв без всяких оговорок их программу. Бывало порой, что московские цари искренне или ради видимости заявляли о своей готовности к сближению с Римом. Однако еще ни один русский государь не примыкал так решительно к Ватикану. Дмитрий явился первым, кто сделал этот шаг: тем самым он приобрел расположение курии. И здесь самозванец действовал с удивительным искусством. Нунция Рангони он манил за собой кардинальским пурпуром, который должен был вознаградить прелата за его энергию. Иезуитам он рисовал в перспективе Россию, усеянную костелами и коллегиями. Кармелитам он обещал свободный проезд в Персию. С папами он неутомимо рассуждал о мире всего мира и о единении всех под властью римского первосвященника...

Понятно, что курия не устояла перед этой тактикой. Как известно, Климент VIII сперва заподозрил в Дмитрии нового Лже-Себастьяна Португальского. Но это первоначальное впечатление изгладилось, когда папа узнал о неожиданном переходе претендента в католичество. Затем последовали друг за другом два конклава. Они отвлекли внимание курии от восточных дел. Когда же Павел V вспомнил о Дмитрии, то на стороне

последнего было уже общественное мнение, склонившееся в его пользу благодаря сказочным успехам самозванца. При виде того, как легко он завладел престолом и с каким энтузиазмом встречал его народ, естественно, возникала мысль, что только законный государь мог добиться столь блистательных побед. Немудрено, что со всех сторон в Рим приходили самые благоприятные сведения о Дмитрии. Папа был тем более склонен отнестись к ним с доверием, что переход Дмитрия в католичество, по-видимому, служил гарантией его искренности. Мог ли оказаться наглым обманщиком или темным искателем приключений тот человек, который так заботился о спасении своей души и дал столько свидетельств своего благочестия? Для этого он должен был родиться настоящим чудовищем... Таким образом, все поддерживало в Риме приятные иллюзии. Этому содействовали и заявления самого претендента, и прием, оказанный ему соотечественниками, и сообщения о нем третьих лиц.

В деле Названого Дмитрия значительная доля ответственности падает на Сигизмунда III. Правда, невозможно определить с точностью, когда и как изменилось мнение польского короля о претенденте. Во всяком случае, несомненно, что в 1606 году, когда произошла катастрофа, колебаниям со стороны Сигизмунда уже не было места: король прекрасно выяснил себе все дело, причем, по всей вероятности, взгляды его определились еще раньше. И что же? До аудиенции венецианского посланника Сигизмунд ни разу не выдал своей тайны и ни словом не предупредил римскую курию об обмане, жертвой которого она являлась. Раньше король втихомолку предоставлял претенденту свободу действий и даже оказывал ему негласную поддержку. Впоследствии, когда Дмитрий стал царем, король встречался с ним, как равный с равным;

он обменивался с ним посольствами и ничем не проявлял своих подозрений. Ту же скрытность наблюдаем мы и в письмах его к Павлу V; и эта политика умолчания проводилась в то самое время, когда папа превозносил претендента до небес и горячо призывал польского короля поддержать московского государя. Что же отвечал Сигизмунд папе? Он лишь напоминал ему о своей преданности римскому престолу и церкви и заверял в своей готовности сделать все, что будет необходимо. Таким образом, исконная программа Ватикана, казалось, близка была к осуществлению.

Что же притупило проницательность курии? Что ослепляло тех, кто так легко мог раскрыть обман? Совершенно очевидно, что Рим был слишком увлечен надеждами на скорое и беспрепятственное заключение унии.

Что касается Дмитрия, то мраком покрыта не только его личность. Весьма неопределенный характер носит и вся его деятельность. В частности, было бы совершенно бесплодно строить какие бы то ни было догадки о том, к чему могли привести связи этого царя с Римом. Бесспорно, почва для союза была недостаточно подготовлена. Затруднения возникали со всех сторон. Сам Дмитрий только в начале своей карьеры обнаруживал благочестивое рвение; впоследствии главными мотивами его политики стали личные интересы и нужды Русского государства. Впрочем, будем говорить только о фактах. С такой точки зрения, как бы ни оценивали мы замыслы Дмитрия, приходится признать, что конечные результаты его царствования оказались весьма печальными. Пропасть, разделявшая и раньше Кремль с Ватиканом, разверзлась еще шире и глубже.

Пошли толки, будто самозванец-царь дал клятву обманным путем обратить русскую землю в латинство.

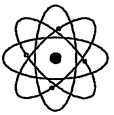
Проекты церковной унии были истолкованы в смысле насильственного искоренения православной веры. Присутствие поляков в столице еще более усилило подозрения. Когда же в руках противников Названого Дмитрия очутились письма папы и Рангони, все отнеслись к ним, как к неопровержимому свидетельству против самозванца. Память об этой попытке Вора слилась с мрачными преданиями Смутного времени. Грубые исторические ошибки укрепились на почве вековых предрассудков... И вместе с самим Лжедмитрием анафеме подверглись действительные или мнимые его подстрекатели и сообщники.

**Феникс**

*Торгово-издательская фирма*

***Приглашаем к сотрудничеству авторов***

**НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ:**



– ***СОЦИАЛЬНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК***

– ***ЮРИСПРУДЕНЦИИ***

– ***МЕДИЦИНЫ***

– ***ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ***

***Все финансовые затраты берем на СЕБЯ, высокие гонорары выплачиваем согласно договорам***

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются*

**Наш адрес:**
**344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17**
**Тел.: (8632) 62-51-94**

Феникс

Торгово-издательская фирма

✓ *Оптовая и розничная торговля книжной продукцией*

✓ *Издание книг и финансирование издательской деятельности своих партнеров*

✓ *Быстрообновляемый разнообразный ассортимент*

✓ *Своевременная доставка книг контейнерами и автотранспортом в любую точку России*

✓ *Разумные цены*

**Надежность, качество, оперативность**

**Наш адрес:**
**344007, г. Ростов-на-Дону,**
**пер. Соборный, 17**
**Тел.: (8632) 62-55-27, 62-47-07**
**Факс: 62-38-11**

*Серия «След в истории»*

**Пирлинг**

Дмитрий Самозванец

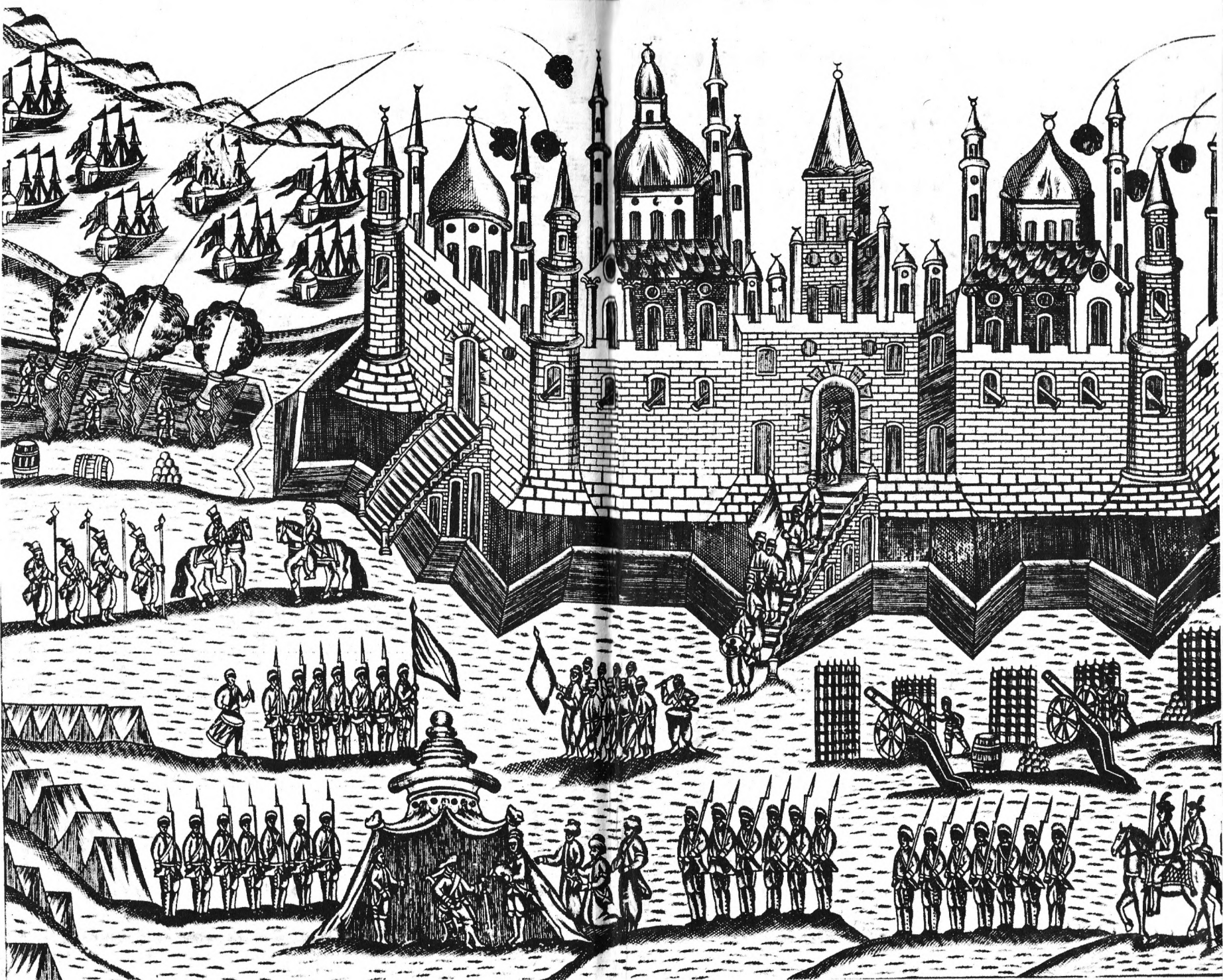

| | |
|---|---|
| Корректоры: | *Лазарева Т.,* |
| | *Пономарева В.* |
| Художник: | *Чубина Ю.* |
| Компьютерный дизайн: | *Петров А.* |

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.

Сдано в набор 11.08.98. Подписано в печать 21.09.98 г.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Петербург.
Тираж 10000 экз. Заказ № 284.

**Издательство «Феникс»**
**344007, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, 17.**
**т. 62-44-72, 62-38-11, 62-45-94, 62-58-34.**

Отпечатано с готовых диапозитивов на
полиграфическом предприятии «Офсет»
400001, г.Волгоград, ул.КИМ, 6.



*Книга ученого патера Пирлинга посвящена Лжедмитрию I. Свой взгляд на события того времени автор основывает на твердом фундаменте исторических документов, найденных в хранилищах Рима, Венеции, Вены, Кракова, Стокгольма, Петербурга и Москвы. Пирлинга интересовали отношения России с римской католической церковью. Своего героя он рисует на широком историческом фоне раннего периода смутного времени.*

ISBN 5-85880-378-4